

ISSN 0132-0637

2001

8

Октябрь

Октябрь

8 2001

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

2001

АВГУСТ

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олег ПАВЛОВ. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней	3
Татьяна ЩЕРБИНА. Антивирус. Стихи	74
Юлиу ЭДЛИС. Черный квадрат. Роман. Окончание	79
Андрей КУЧАЕВ. В германском плену. Рассказы	109

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Анатолий НАЙМАН. No comment	134
--------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Валерий ШУБИНСКИЙ. Неразлучные понятия. Русская интеллигенция и тайные службы	140
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Владимир БЕРЕЗИН. Биографический проект. Начало (Солдаты XX века. Многотомное издание). * Владимир ШПАКОВ. Заблудившийся среди химер (Джон Барт. Химера. Заблудившись в комнате смеха). * А. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ. Россия по-шведски (Карола Ханссон. Андрей) **154**

Отличие ямба от хоряя

Кирилл КОБРИН.
Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо пятое **159**

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Желанье славы **163**

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Железный путь русской литературы **168**

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Аркадий МИЛЬЧИН.
«В лаборатории редактора» Лидии Чуковской **173**

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора
Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 550 экземпляров журнала.

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Приемная редакции — 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 25.06.2001. Подписано к печати 06.09.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 5730 экз. Заказ № 1556. Цена 52 руб.

ИД «Медиа-Пресса».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней

Бытие

На ветру и холоде в городе еще торговали арбузами, а Караганда плыла и плыла на степных ветрах в будущую зиму... Что ни утро пугливо разбегались облака, повывлезшие за ночь как из щелей на черствые звездные крошки. Открывалось широкоэкранный черно-белое небо ноября. Из каменной глыбы дня наружу выходил холод и бродил сумрачно по улицам, проспектам, площадям, на просторах которых волны ветров качали плотами одинаковые порыжевшие шеренги деревьев.

Полк тюремно-лагерной охраны перешел на зимнее время, как бывало это и всегда: в установленный нормативом срок, по приказу. Конвоиры, караульные добрели шинельками, привыкали к исподнему белью и лучшего не ждали. Упрямо ожидали наступления каждого нового дня лишь те, кто отбывал лечение в полковом лазарете. Жители лазарета редко когда производили шум громче мышиноного. Души здесь тихушничали, лекарственные. Громко было от мышей, вечно прожорливых, серых вездесущих тварей, что к холодам перекочевали из сада, где собрали весь урожай, в подпол и в простенки этого баракоподобного здания — судьбоносного, однако, и для них. Заключенных в лазарете мыши развлекали, а то и утешали, заводя когда хочешь и с кем хочешь сердечную дружбу, если позвали дружить хоть коркой хлеба. Они рождались тут же, где-то под полом и в простенках, но редко попадали в виде трупиков на глаза, если только не на глаза того, кто со страстью охотника истреблял их день за днем, — начальника медицинской части, человека с казавшейся иностранной фамилией, болезненно ненавидящего все живое, что издавало в этом здании хоть сколько-то самостоятельный звук.

Мыши в лазарете грызли так много разных лекарств, точно болели всем сразу, но еще и про запас, чтобы не болеть когда-нибудь потом. Только одного анальгина сжирали они за год несколько мешков. От таблеток мыши то храбрились до одури, то умнели, делаясь математиками, но только вот не дошли: ведь все медикаменты когда-то и прошли проверку на них, на мышках, прежде чем получить путевку в промышленное производство. В этом отдавал себе отчет и человек по фамилии Институтов. Они были единственные, кто мог что-то вечно заявлять этому врачу в погонах, гуляя по лазарету как на свободе.

Начальник медицинской части подневольным служакой ни по складу, ни по духу своему не был. Служить когда-то завербовался как зубной техник, имея образование выше среднего, чем сильно отличал себя от остальных людей, а когда ему казалось, что приходило время напомнить, с кем здесь имеют дело, произносил внушительно: «Я как человек с образованием выше среднего...» Как всякого вольнонаемного, его произвели для однообразия и ровности ря-

дов в младший офицерский чин. Вульгарного должностного повышения своими трудами или талантами Институту добиваться так и не пришлось. Когда бесповоротно спился прежний начмед, назначили начальником лазарета трезвенника-зубодера — мужчину среднего роста, с аккуратно подстриженными усиками, матовой кожей и руками, что были коротки да неприметны, но обросли мышцами с помощью почти каждодневных силовых упражнений. Институт брезгливо, а то и пугливо не выносил ни в чем простоты, поэтому упражнения с гирей, например, назывались «гиревым спортом», а если делал простой укол, то это становилось «амбулаторной процедурой». Хотя во всей фигуре зубодера было что-то пудовое, сам он старался подчеркнуть свое изящество, красоту, но красотой и силой дышали только природно черные, сверкающие, как антрацит, глаза трезвенника. То они вдруг сжимались от злости да обиды мелкими бесенятами, то со дна их величаво всплывали два холеных, круглых, пышных беса, если начмед бывал всем доволен и почивал как на лаврах.

Институт имел привычку судить о людях, уподобляя при возмущении их личности героям литературных произведений, даже не обязательно отрицательным. Никакой человек не был для него новостью. Он как бы говорил этим с раздражением: были такие и до вас. Это не значило, что много в своей жизни читал или повидал. Однако имел представление, успел всего понемножку нахвататься, кривясь уже, как широко начитанный человек, от вида живых людей все равно что от фальши. Спиртного начальник медицинской части не терпел на дух; казалось, что трезвость жизни была одним из главных его принципов, даже, возможно, нравственных. Может, он был язвенником, но скрывал это, потому что стыдился наличия в своем организме столь заурядной, примитивной болезни. Спирт в лазарете всегда имелся в наличии. Потому бывало удивительно, что спирт в наличии есть, а начмед рассказывает, как аккуратное насекомое, хоть через улицу, где обреталось общежитие работников строгого режима и выпить всегда бывало нечего, все были безобразно пьяны и слышался вой песен, истошные вопли, детские плачи, фанфары бьющейся и небьющейся посуды.

Медицинская служба Института была одной судорожной гонкой. Лечить не успевал. Почти все время отнимали ответственные и двусмысленные дела, может быть, и схожие с болезнями, но лишь тем, что пахло от них смертельным исходом. Не ему было ведомо, что движут в подобных случаях людьми усердие, корысть или страх, — сам он желал отделаться от болезненных поручений просто как можно быстрее и всякий раз только из-за брезгливости все исполнял в лучшем виде, исхитряясь притом сверкать стерильной чистотой и оправдывая полностью одно из названий, данное врачам, — «люди в белых халатах». Институт с презрением ощущал, что его используют для своих целей в качестве чистильщика по таким делам, когда сами боялись замараться, но мог только неслышно бунтовать в душе или никчемно страдать, презирая вышестоящих. Хоть, видно, такая была его натура: страдаючи все же исполнять, а исполняючи — страдать.

Зубы он давно ленился лечить или опять же брезговал нечищенных, пропахших ртов, предпочитая выдирать начисто, особо низшим чинам, не стесняясь причинить боль. В своей работе стоматолога повседневно то причиняя боль, то избавляя от нее, сам лично мало что испытывал — работал. В таких случаях он так и говорил: «Что поделать, голубчик, терпи — я врач, а не боль». К нему шли со страхом, наверное, перед самой властной над людьми болью. Трепетали перед ним, молились на него, хоть это только зубная боль внушала страх. Зубодер временами ощущал в себе эту упоительную власть над людьми, но не знал, чего возжелать, и пристрастился разве что к истреблению мышей.

Институтов соблазнулся подсыпать этим тварям отравы или зарядить тулую мышиную гильотину не от скуки бытия — и если истреблял, то не ведал уныния. Он любил на свете только себя, но даже не той кровной слепой любовью, какой любят свою же плоть, а сладострастно, похотливо, будто одна плоть вожделела непрестанно другую, более прекрасную. Однако весь его рай на земле рушили каждодневно мыши, что движимы сами бывают разве только испугом. Особо он мучился и страдал, когда находил прямо в своих карманах свежий мышиный помет, который был не только что белого цвета, но даже по форме представлял собой таблетки.

Во всем были виноваты только эти серые вездесущие существа. То он бормотал: «Они хотят меня убить», — и глядел затравленно, исподлобья, весь жалкий да несчастный, то жалобно доносил кому-то вслух: «Они реального участия в общественной жизни не принимают!» А сам факт, что не мог он справиться с кражей, когда эти твари ежеминутно нагло что-то в лазарете воровали, окончательно сводил его с ума. Серенькие маленькие твари были причиной уже его, Институтова, мучений, наподобие именно тех, когда мучаются зубами и чудится, что вся жизнь жалко содрогаётся, подвешенная на дыбу каким-то болевым червячком, всего-то фасоном с глисту. Он понимал, о чем они пищат. Различал чуть не каждую в лицо, точно зная, что юркнула под шкаф в его кабинете именно та мышь, которую на прошлой неделе он видел в процедурной или еще где-то. Помнил в точности, какая и сколько украла, что позволила себе и какой от нее в общем и целом имеется вред. Он видел в мышах рассадник всех заразных болезней, вплоть до холеры и чумы, заявляя отчего-то, что мыши существуют и питаются только в помойках, хотя жили и питались они рядом с ним, а то прямо-таки с ним, в его кабинете и его же забытым на столе кусочком печенца. Главная же вина всех этих тварей, очевидно, состояла в том, что они, по убеждению Институтова, замышляли его убить. И ему, бывало, мерещилось как в бреду, что вскарабкаются однажды по телу, перегрызут горло или вены, а то проникнут прямо в рот, поэтому начмед в каком-то высшем смысле не столько был обуреваем живодерской страстью истребить весь их род, сколько спасал неустанно собственную жизнь.

Но редко какая химическая отравка со вкусом селитры на них действовала, будто грызуны давно открыли противоядие в лекарствах, которыми закусывали в лазарете. Институтов на свои кровные накопил мышеловок и начинал их с тех пор приобретаемой на свои же средства вкусной пахучей наживкой. Каждая вторая мышь, наученная опытом, терпеливо объедала эти капканы, угощаясь за его же счет, и она, эта каждая вторая, спешила произвести на свет что ни месяц новый и новый приплод. Получалось, что их невозможно было истребить, если только не истребить всех сразу, — к примеру, поджечь лазарет. Ближе к ночи, когда начмед покидал место сражения за свою жизнь, строем, как на парад, приходили мыши. Еще не тушили свет, хоть все лежали на своих койках и готовы были отойти ко сну. Вдруг по ровному обширному пространству линолеума, похожие серыми шкурами на солдат в шинелях, начинали плыть, как на параде, их шеренги. Наверное, в парадах участвовали самые закаленные в сражениях, движения их были решительны и слаженны. Пройдя круг, мышинное ополчение под всеобщий гогот исчезало. Потом тушили свет, в блаженной тишине засыпали, а мыши где-то сражались, отважно выживали до утра.

Кошки и коты, которых Институтов то и время подселал в лазарет для ловли мышей, долго не задерживались и бесславно сбегали через день-другой, вскарабкиваясь по яблоням в саду и с них падая вопящими кометами на родной асфальт. С тех пор, как сбежал первый из кошачьих, которого успели назвать Барсиком, такое имечко лепилось как-то само по себе и к остальным.

Барсиков ласкали. Давали молоко. Но животные все равно хотели на волю. Начмед не любил, к слову сказать, почти всех животных, как если бы все они так или иначе происходили от ненавистных ему мышей. Кошек, что тоже питались на помойках и нагло что-то у кого-то всегда крали, он бы с удовольствием душил и вешал, если бы не занимал в них нужду, — и сам отлавливал на помойках, пронося в лазарет тайком на дне своего портфеля, упакованных брезгливо в целлофан. Барсиков после удушливых мучений в его портфеле никакая сила не удерживала в стенах лазарета, где обычно пустовали все палаты, кроме одной.

Остаться без больных начмеду было никак нельзя. Кто давно выздоровел — откормился до стыдливых девичьих румянцев на пышущих щеках — осужденны оказывались на вечное лечение. Кто-то должен был ежедневно наводить стерильную чистоту, которой он любовался, а также слушать его поучения и трудиться для своего же блага, но не санитары, наглые от безделья, которых он сам боялся, и потому это были мастеровитые покорные пареньки, что числились у него не один месяц по штату заразно больных и чьи недуги плавно перетекали в хроническую форму. В своих частях они охраняли осужденных за преступления и ходили кто в конвоях, кто в караулах. Однако с тех пор, как очутились в лазарете, по месяцу и дольше не имели выхода наружу. Родились они кто где, но в одно время. Так что почти всем исполнилось по восемнадцать лет, когда пришел срок. Поначалу в массе себе подобных, замаскированных под цвет травы и земли, они то бежали, то ползли, то отборно вышагивали в одном направлении, но не различали ни себя, ни себе подобных и не понимали своей участи. Это был и не отряд, и не стадо, и не толпа — а народ, со своим заданием, но и характером. Ребячливо доверчивый — и уже порядком забытый. Неимоверно выносливый — и стонущий, изнывающий чуть что жалобой. Живучий — и ленивый. Казалось, все они вслед за теми, кто родил их, явились на свет только для того, чтобы возмужать и успеть до смерти оставить после себя по такому же доверчивому, выносливому, стонущему, живучему, ленивому ребенку. Многие из тех, кого сопроводила судьба в лазарет, уже насмешливо рассказывали одинаковые скучные истории, как едва не погибли. Помалкивал в углу лишь тот, кто хотел на себя наложить руки. И мучился один на всех настоящий герой, горевший с оружейным складом и не давший огню доиграться до взрыва после того, как сам же соорудил поджог, изобретая из рубильника высокого напряжения бытовой кипятильник.

Хоть жизнь на больничной койке была куда питательней, чем в казарме и тем более бараке, от слов «больничный режим», «больничный контингент» у вчерашних караульных и конвоиров неразумно шумело в головах, так что нестерпимо хотелось на волю. Вся здешняя блажь делалась вдруг отраженной от смрадной тюрьмы и поганого лагеря, уже с их режимами, контингентом и черной пропащей дырой. Ощущение ходьбы впереди самого себя по узкому и прямому коридору, как под конвоем, было малопривычным. Самодовольные хозяевитые взгляды забредавших с воли гнетуще стряхивали с плеч былую осаночку. Халатец, выданный в лазарете, отчего-то унижал.

Офицерская палата, что всегда была наполнена нежилой пустотой да мышами, однажды затаилась отдельно гнетущим молчанием. И с тех дней, как в лазарете поселился молоденький лейтенант, стало тягостно даже без особых причин. Нового больного в день поступления сопровождали двое офицеров, непохожие на медицинских работников, притом такие же нездешние, с панцирными от загара лицами. Все приехавшие были еще свободны от шинелей. Служили, стало быть, на краю степей, где солнце пекло как в пустыне, что весной, что осе-

ню, а от однообразия и тоски, бывало, сходили с ума. Из такого далека лейтенанта везли в Караганду почему-то под конвоем из одних офицеров, чтобы поместить в простой лазарет. Сопровождающие ждали истуканами, пока не получили выгоревший пыльный офицерский мундир, похожий на слезшую чулком шкуру. С мундиром на руках они тут же энергично исчезли во исполнение пославшей их неведомой воли. Лейтенанту, чей мундир зачем-то куда-то увезли, лишая то ли одежды, то ли свободы, выдан был в каптерке лазарета больничный халат, просторный, но такой ветхий, что смотрелся офицер побирушкой даже в огороженном наглухо забором пустынным садике, где его видели, когда проникал на воздух покурить. Видели также каждое утро в комнате быта, где он умывался с тщательностью бритья.

Начмед хозяйничал в лазарете, как у себя дома, и нельзя было ступить шагу без его домовитых попреков с понуканиями. Наверное, не родилось женщины, что могла бы осилить это злое бабство, отчего Институты, сколько ни вылезал из кожи вон, стараясь нравиться и девушкам, и женщинам, прозябал бесплодным холостяком. С въедливостью евнуха начмед не только приводил в порядок людей и предметы, но и озвучивал свой же порядок занудными речами. Появись в лазарете что живое или даже неживое, Институты заводил тут же собственное мнение, а все должны были доставлять ему удовольствие, не только исполняя его правила, но и слушая его речь. О появлении лейтенанта, однако, он хранил опасливое молчание и старательно уберегал себя от соприкосновений с этой новой личностью, как если бы странного молодого человека поместили в лазарет нарочно для того, чтобы не лечить. Какая тогда нужда была содержать его в лазарете, начмед, без сомнения, хорошо знал, отчего сторонился офицерской палаты, произнес лишь раз или два с оглядкой в ее сторону: «Тоже мне Раскольников...»

Когда Институты вздумал окружить для чего-то вновь прибывшего подобием карантина, его взгляд сам собой прицепился к одному из подневольных солдат, что уже был занят работой и одиноко возвышался на малярных козлах под потолком.

Начмед на минутку замлел, когда пронзил совестливый щекотливый холодок, но пышно глуповато произнес: «Холмогоров! Ну-ка, голубчик, спустись с небес...» Тот послушно оторвался от работы и неуклюже спустился с высоты малярских козел — полуголый и мазанный с ног до головы побелкой, похожий на садово-паркового болвана из гипса. Глядя раздраженно на статую с опущенными руками, Институты насупился, буркнул: «Ну, голубчик, будет еще работа: подавай в офицерскую палату завтрак, обед, ужин и уноси грязную посуду, когда наш новый больной поест».

Вечный зуб

Минул месяц, как эту мертвую душу — демобилизованного со службы — навязал ему принять в лазарет тоже начальник — хозяйчик полигона, глухой прапорщик Абдуллаев, по прозвищу Абдулка. Глухой непутевый вояка хозяйничал в необитаемой степи, в сотне километров от Караганды. Когда-то Абдуллаев служил в одной из конвойных рот, но однажды искалечился на учениях, устроенных по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. В тот день на воображаемой полосе вражеского огня имели место два роковых обстоятельства: первое заключалось в том, что он споткнулся и упал, второе — что на мес-

те его падения рванул как по заказу шумовой заряд, который изображал взрыв, когда сотня зеленых человечков изображала переход из обороны в атаку.

Кто-то на смотровой вышке продолжал созерцать муравьиное воинственное копошение зеленых человечков, лишь досадуя — и то короткое время, наверное, — когда один из этих человечков вопил да обливался кровью, не постигая того, за что же это все с ним произошло. Абдуллаева ждала горькая судьба никому не нужного инвалида. Спасли его собственные барашки, свое же маленькое радивое хозяйство.

Каждому, кто должен был решать его судьбу в медицинской комиссии и в части, он поднес по чьей-то подсказке барашка. Рассуждая так, что глухим во всех смыслах может быть и тот человек, который обладает слухом, и принимая во внимание, что жалоб собственно на потерю слуха со стороны контуженого больше не поступало, одариваемые по очереди признавали Абдуллу Ибрагимовича Абдуллаева годным для продолжения службы, то есть совершенно здоровым. Последний, кто на свой страх и риск оставлял глухого служить, отдал ему на прокорм как раз самое глухое местечко — полигон, вымерший, весь побитый стрельбами да взрывами каменисто-песчаный участок в степи. И так бесплодное, дикое место, где отнята была у него, будто полжизни, способность слышать, превратило оглохшего зеленого человечка тоже в начальника.

Чтобы к нему и впредь относились по-доброму, контуженый раз в год заявлялся к своему благодетелю и дарил что-нибудь вкусенькое.

Всегда в подчинении Абдулки находился один солдат, столько полагалось по штату. Наверное, не было в полку другого такого начальника, чтобы командовал всего одним человеком. Больше время года, свободное от стрельб — это могли быть когда недели, а когда и целые месяцы, — глухой жил со своей бабой в поселке городского типа и только навещал для порядка неблизкий полигон, а солдат безвылазно и летом и зимой сидел в голой дикой степи и караулил ветер. Всех своих солдатусек отеческий Абдулка любил и помнил как сыновей, каждый из которых, когда приходило время расставания, всегда становился для него последним. Странные были они у него — все равно что хозяева всего того, чем он лично командовал едва ли целый месяц в году. Они попадали к нему на полигон одинаковые — чужие, озиравшиеся в степи, как обреченные, но и уходили от него спустя годы, неотвратимо сменяя друг дружку на этом посту в степи, тоже очень похожие — родные, с просветленностью старцев в глазах, иные побеленные в двадцать своих лет сединой. Вот по осени отняли еще одного, демобилизовали. Должен он был давно отправиться домой. Но отеческий Абдулка не мог отпустить сынка просто так: вздумал одарить вечным, из железа, зубом.

Взрыв, собственный душераздирающий вопль, вид крови, что лилась из ушей, — все ужасное, что случилось когда-то на полигоне, так напугало и расстрогало Абдулку, что после всякая всячина производила на него именно это впечатление вечности. Металлические зубы он вставлял себе и в прошлом, даже один золотой, но никогда не задумывался о том, что они останутся и после его смерти. Что их, например, найдут в его могиле хоть через тысячу лет. Трогательное и пугливое желание иметь в себе что-то вечное побудило Абдулку вставить себе железные зубы взамен здоровых, после чего только и было в его жизни гордости, что эти, даже нержавеющей кусочки вечности, лучисто блестящие на солнце, когда контуженый гневался или улыбался во весь рот. Одарить своего последнего сынка таким же зубом — было для него как поделить на двоих это торжество человеческой жизни. «Без зуба ты какой человек? Так себе человек, прах от праха, песок, дунет ветер — и разлетишься!» — громко голосил Абдул-

ка; как и все глухие, он не слышал того, что произносил, и голос его выходил наружу, будто из репродуктора.

Солдат не упряился и верил, что контуженый желает только добра. Абдулка заявился к Институту с тушкой ягненка, обернутой поленцем в мешковину, — такое щедрое подношение совершил он добровольно и только по своей же наивности. Институт умаслился бы и от вида бараньей ноги, но Абдулка уже так сильно тосковал по родному солдату, что никакая другая сила или здравый смысл не могли бы его заставить умерить свое жертвоприношение.

За спиной отеческого Абдулки, будто чем-то провинился, наряженный в парадную форму, стоял тот самый солдат. Он походил на большого ребенка, что пребывал в растерянности с тех пор, как родился на свет. При нем был документ, удостоверяющий личность защитника родины, сорок пять рублей денежного довольствия, только полученные в полковой бухгалтерии, и предписание, дающее право рядовому Алексею Михайловичу Холмогорову на плацкартный билет в любой конец широкой, необъятной страны.

Все смекая, практичный начмед не расхваливал щедрость души Абдуллы Ибрагимовича, но божился вставить солдату на самом видном месте самый лучший железный зуб, что будет с ним воедино до смерти. Абдулка верил так легко не слову этого человека, а закону жизни человеческой, которому сам подчинялся, как муравей, и нарушить который, будучи человеком, мог бы, только получая тут же взамен какое-то смерти подобное наказание. Согласно этому закону, которому подчинялся, как муравей, Абдулка, никакому человеку на земле — другому такому же муравью — не дано было его обмануть, если взял тот за свою работу что-то вперед, потому что не дано было бы после этого жить. Желая обрести только такую уверенность, глухой и уготовил начмеду ягненка. Упоминание смерти, однако, растрогало Абдулку, и он прослезился неожиданно, как на похоронах; контуженый умел понимать, о чем говорят люди, по шевелению губ, но людей — если не забывали, что он глух, — всякий раз пугала эта неожиданность чувств, с которой откликнулся он вдруг на что-то обыкновенно сказанное.

В тот миг, когда заплакал отеческий Абдулка, Холмогоров едва не расплакался, чувствуя себя сиротой. «Абдулла Ибрагимович, я могу и без зуба, уйдемте, без него проживу!» — воскликнул было Алеша. Чужой человек, которому досталась оплата за труд, неприятно вздрогнул. Но глухой ничего не услышал, и солдат, чувствуя почему-то угрызения совести, остался стоять на месте. Долго прощаясь с хозяйчиком полигона, Институт поглядывал украдкой на паренька, что уже раздражал его своим глупым видом. Опасаясь, что Абдулка если и простится, то и вполне может снова нагрязнеть в лазарет, начмед сразу же по его уходу произвел удаление намеченного под железный зуба, но выждал день-другой и забыл про свой долг. Внушал поначалу, что зуб за день-другой не сделаешь, если уж делать на века. Алеша с облегчением доверился начмеду. Верить было ему всегда понятней и легче, чем не верить. Только обманутый перестал бы он верить тому человеку, что даже за это время успел бы обмануть много раз.

Холмогоров уговаривал себя: «Ничего, потерплю еще недельку, а потом сяду на поезд и уеду домой». Чтобы ожидание текло незаметней, согласился исполнять в лазарете работу, какую скажут. Хоть и здесь оказалось, что это не по доброй воле он помогает, а отрабатывает лично начмеду свой вечный зуб. Холмогоров мог в любой день собраться и уехать. Все документы были при нем. В

полку он давно нигде не числился. Начмед готов был терпеть его присутствие в лазарете, притом с пользой для себя. Просто выставить за порог не рисковал, побаиваясь, что этот факт мог бы стать известен Абдулке. И во время последнее позабыл пустяковое свое «сделаю, когда захочу», а назначал как должнику: «Отработаешь, тогда и сделаю». Или того яснее: «Тебя, дорогуша, между прочим, никто здесь не держит». Но Холмогоров как будто нарочно все терпел и ждал обещанного.

Алеша, хоть и не ведал великого закона жизни, чтимого Абдулкой, но верил ему — и вот уже надо было верить начальнику медицинской части, которому поверил Абдулла Ибрагимович. Поэтому изворотливое, ничего не стоящее обещание завтрашнего дня — отчаянное обещание суетливого, загнанного в угол человека — вдруг обрастало человеческой роковой правдой. А пока что спрашивал Алешку каждый встречный, где же потерял он зуб, и Холмогоров охотно вступал в разговор: «Вырвали, чтобы новый вставить. Думал, такой везучий, самый первый еду домой. А вот решил зубы подлечить и самый последний, наверно, уеду. Зато потом мороки не будет. Железный прослужит всю жизнь». Но эту его уверенность норовили поднять на смех: «А если заржавеет?» И он, когда над ним все смеялись, тоже улыбался, но судорожной, отрешенной улыбкой, которая так обезображивала его лицо, что смешки окружающих от отвращения начинали поневоле глохнуть, походить на покашливание и затаивались. Алеша живо вздергивался, как лягушка от удара током, и радовался, думая, что все его слушают: «Я думаю, не заржавеет и не сотрется, для этого жизнь слишком короткая, я же двести лет не проживу! Такой жизни еще и не сделали на земле!»

Ему, конечно, бывало грустно, даже тоскливо, но и сквозь грусть-тоску, как трава, пробивалось наружу, к свету, красочное удивление жизнью. Удивление это взяло над Алешей к совершеннолетию такую силу, что со стороны он казался всем сонным, ленивым и редко какой окрик не заставлял его врасплох. Тогда он просыпался — и начинал работать, но долго, сонливо. А если, бывало, начинали подгонять, портила работу и все утяжеляла природная его неуклюжесть, так что он уже начинал такой своей работой разрушать, а не созидать.

Душа у Холмогорова была что добрая каша — вместо того чтоб расплескаться, знай, береглась и тяготела теплом своим к покою. Когда наполнял ее жар, то и тогда разве что пылко раздувала по-жабьи зоб, но не пылала... И на все нужно ей было время — и если воспылать, и чтобы остыть. Он тяжело, подневольно покидал всякое насиженное хоть с часок место. А если сменялся уже ход жизни — замыкался, все еще живя красочными воспоминаниями о том, к чему было привык. Но замкнутость брала власть над ним первое время — до той поры, пока не проходило беспокойство и неизвестное делалось знакомым, а перешитое — обычным.

Алеша даже не всерьез, а с трепетом человека, причастного к тайнству, считал себя везучим и волновался, что везение может уйти так же беспричинно, как и было дадено. Но что считал он везением, то чудесным было только для него, а доставалось в последние руки. Себя он доверчиво ощущал непохожим на других, как будто награжденным, и, замечая вокруг людей с недостатками, умудрялся их жалеть, не чувствуя, что жалеть бы надо самого себя. С первого взгляда в нем видели выдающееся только неуклюжестью своей, угрюмое, себе на уме, отсталое, ущербное существо. Когда на плац выгрузили пополнение, вербовщики, набиравшие людей для своих служб, разглядели в нем только такое, и каж-

дый отмахнулся: «А этого, тупого, отправьте Абдулке. Нам такого добра даром не надо. Такого надо дальше откармливать!» И отправили — на санитарной презренной машине, рейсом в один конец, без попутчиков, а Алеша прощался с полком и, понимая, что отправлен в особенное безлюдное место, думал о том, как несказанно ему повезло и какое оказали за глаза то ли доверие, то ли поощрение; других же, которых жалко было, не иначе сослали.

Дорогу на полигон знал и помнил каждый. Каменистая, обожженная солнцем колея — летом, а зимой — узкий окоп, прорубленный трактором в мраморе сугробов. До ближайшего поселка, где жили люди, было километров пятнадцать. Оттуда и наезжал хозяйчиком на мотоцикле Абдулка.

Когда устраивались стрельбы, дня три кряду на полигон прибывали одна за другой роты. Развертывались живыми цепями, окапывались, постреливали, а после полигон вымирал, пустел. Всех его свободных земель нельзя было охватить глазом. Огородить такой простор также было невозможно, и потому границы обозначали одинокие, удаленные друг от друга на расстояние видимости посты — похожие на огромные бледные поганки «грибки», что прятали от зноя или дождей дозорных, выставляемых на то короткое время, когда от множества промахов после автоматных очередей по степи бесцельно гуляли пули, а нечаянные мирные люди, случалось, сбивались с пути и забредали на полигон, замороженные грозной оружейной канонадой.

Алешу привезли на полигон, когда уже смеркалось. Нежная темнота сумерек скрыла все, что так не терпелось ему увидеть. Из непроглядности властным холодом веяли ветра, глуховато завывая в ушах, будто в морских раковинах. Фары санитарной машины плавил сумеречное золотце из роя песчинок, видимых только на свету. Два человеческих голоса, шофера и хозяина полигона, ругались где-то в темноте, не понимая друг дружку. Шофер, такой же подневольный служивый паренек, гаркнул на прощание с мертвецкой веселостью, убегая в кабину: «Начальник-то у тебя глухой! Он такой, хоть в уши ори — не услышит. Хочешь — матери его, братишка. Эй, Абдулка... Урод! Раздолбай! Вонючка!»

Когда смерклось на том месте, где с минуту назад тепло фырчал мотор и пусто светили фары, нахлынуло одиночество. На островке, где с ясностью маяка невозмутимо росло над темной гулкой степью белое башенное строение, что горело низкими, почти вровень с землей, окошками и было увенчано на верхушке мощным прожектором с подбитым глазищем, остались стоять двое: Алеша, только что заброшенный на остров, и тот дикарь, в домашней простецкой одежде и в обутых на босу ногу шлепанцах, которого обсмеял на прощание шофер.

Коренастый, небритый, похожий то ли на банщика, то ли на могильщика, страдая громким лаем неразборчивых слов, он потащил Холмогорова в башню. Алеша попал в большую пустую комнату коробчатой формы с незаметной железной лестницей, что вводила наверх в погашенный проем в потолке. Начальник, оказалось, на ночь глядя торопился уехать. Абдуллаев все оставлял, но ругался в сердцах так, как если бы застал в помещении вопиющий беспорядок. И виной тому был он, Алеша, не понимающий, что будет здесь располагаться на ночлег. Контуженый громыхал всем, что попадало под руку, и голосил, добиваясь, чтоб тот хоть разок кивнул головой, подал знак: «Тут спать, понимаешь? Еда-вода, белье-мыло завтра привезу — понимаешь? Эй, ты, глухой? Тебе говорю!»

Уезжая, хозяин полигона запер снаружи дверь, отключил свет. Алеша лежал на койке, будто в тюремной камере, и уснул только под утро, когда в оконцах забрезжил свет и успокоил душу. Ни свет ни заря Абдулка примчался на по-

лигон и устроил побудку своему новому работнику. Прошло еще несколько дней. Холмогоров молчаливо да безропотно исполнял все, что говорил делать злой, крикливый человек, который, перед тем как исчезнуть в конце каждого дня, запирали его в башне на замок.

В один из дней Алеша вдруг осознал, что начальник не слышит его слов. Так вышло, что Холмогоров обратился к начальнику со спины, и когда Абдулка ни раз, ни другой не обернулся на его зов, а он-то звал его все громче и громче — тут-то и прошил Алешу испуг. Он постоял еще безмолвно над его спиной, а потом, одолевая боязнь, тронул за плечо: Абдулка резко обернулся и со зверским выражением лица вскочил на ноги, но тут же смущенно поник, видя растерянного, слабенького от своей догадки паренька. И утешил его, как умел: «Ты и я, мы с тобой — будем как одна душа, сынок. Если что, не бойся, толкни — глухой я, но не баба, трогать можно».

Холмогоров только и вымолвил: «Дяденька, а вас как хоть зовут? Как мне обращаться к вам? Понимаете?» «Что говоришь? Что сказал?» — раскричался опять Абдулка, но, когда уяснил, о чем спрашивают, снизошел: «Много говоришь... Какая тебе разница? Я тебе как отец. Это и знай».

Рассуждать вслух Абдулке все же нравилось. Алеша, слыша казавшийся потусторонним голос глухого, с жалостью думал о себе: «Мне-то и поговорить не с кем». Он осознал это — весь срок своего молчания — и чувствовал, что явь уже превращается в кружащее блуждание немых чувств, мыслей. Когда пожалел себя, что-то скользкое да ядовитое змейкой обвилось сердце, искушая: гляди, он голосит без умолку, ему хорошо, а тебе плохо и лучше не будет.

Абдулка еще долго выслеживал, покрикивал, не давая роздыху, желая завершить испытания. Загружал работой, самой бестолковой, чтобы тот ничего не съедал зазря, но и при каждом случае упрекал Алешу, что слишком много ест, а надо есть понемножку: поменьше класть в рот да подольше разжевывать. В другой месяц, уже на сбереженных начальником запасах, Алеша наелся вдоволь, так что был очень счастлив — и Абдулка праздновал свою правоту. Холмогоров сроднился с глухим, поневоле проникаясь тем отеческим, что было сокрыто в человеке, который сначала для его же пользы урезал рацион, а после щедро удвоил, спасая от голода.

Они уже не раз объезжали хозяйство, разбросанное по степи километров на пять. Прямо от порога смотровой башни начиналось стрельбище. Было безлюдно, пустынно, и все это рукотворное ухоженное поле боя походило на огромных размеров муляж под открытым небом. Горизонт заслоняли рыхлые рыжие сопки — в двух километрах прямой видимости. Это видимое пространство и должно было простреливаться в каждой своей точке. Его оплетали паутиной непонятные пути сообщений — узкие извилистые линии траншей. Еще дальше миражом являлся в голой степи игрушечного вида городок, состоящий из четырех панельных коробок и подобия площади. Все дома были ростом в три этажа. Оконные проемы зияли, что выколотые глазницы. Всякая дырка в стене была обязательно обожжена. Все кругом пахло гарью, хоть не было видно того, что могло бы гореть. Верно, жгли здесь то, что свозили и хотели уничтожить, превращая в пепел и сажу.

Площадки стрельб походили на пешеходный городок для детей, с асфальтовыми дорожками и разметками, отчего могло подуматься, что здесь изучали правила дорожного движения. Каждый такой объект был устроен обособленно,

отдельно, наподобие спортивного снаряда, а соединяли объекты опять же асфальтовые дорожки.

Разумность, дотошность того, как все было здесь устроено на марсианском мертвом фоне, потрясли и заворожили. Из-за отсутствия людей не верилось, что это все создано ими, а чудилось как раз, напротив, что люди аккуратно были уничтожены каким-то потусторонним разумом, могущим не только уничтожать, но и не оставлять следов, наводя свой мертвый порядок. И казалось, что жизнь здесь есть, как есть она в песке, если эта песчаная мучица — прах чего-то живого. На полигоне только песок змейками переползал асфальтовые дорожки: зримо ползли они на глазах, стоило повеять со степи хоть легкому ветерку. Тогда делалось до озноба ощутимо, что кругом дорожек кишат и колеблются песчинки, безбрежная пустынная живая земля. Но раз от раза Холмогоров привык смотреть на все как на хозяйство, обученный Абдулкой управляться с этим хозяйством, не помня о себе. В обычный день должен он был вымести асфальтовые дорожки на стрельбище и обойти сторожем все объекты. За день до стрельб проверялись и готовились к работе механизмы. А в день, когда наезжали стрелять, Алеша в поте лица ползал на брюхе по техническим траншеям, встряхивая то, что заедало, да и три стальных плоских ржавых болвана — они же стоячая, лежащая да поясная мишень — не могли без него. С ним болваны стальные вставали из траншей, как мертвые из гробов, начиная, если надо, даже двигаться на шарнирах. В нужное время рвалась пиротехника и гремели для остротки взрывы.

Погруженный в этот потешный и грозный мир, Холмогоров чувствовал себя временами призраком. А таков он и был, человек, о существовании которого здесь знал и помнил один глухой Абдулка. О нем не ведали солдаты на линии огня: им невдомек было, что под теми болванами, куда они кромешно падали, затаилась в окопчике живая душа. Абдулка затягивал на нем бронезилят, напяливал каску и посылал со вздохом в грядущий кромешный ад. Раздавались первые выстрелы по мишеням, у Алеши застывала душа. Он слышал, что не слышали там, за километр от него: как бьются в болванов пули, как, плющась и шлепая под них пометом, звякают да шипят. Слышал их вой, когда неслись градом очередь, свист, начинал глохнуть. Душа погружалась в эту адскую музыку, дрогла в утробной пустоте, рождаясь и застывая от ужаса, когда электрическое гуденье вдруг напрягало застопоренную цепь.

Если так случалось, что машинку заедало или в цепи не хватало тяги, чтобы поднять сваленного попаданием болвана, Алеша был должен подползти к железному дружку и помочь сдвинуться своими силенками. Стрельба умолкала, пока ждали, когда подымутся мишени. Алеша как будто отродясь знал о несмертельной тишине, сулящей расслабление нервов да передышку тем, кто стрелял. Она была в его воле, он же и дарил ее по минутам. Но руки во время работы все же содрогались, точно их било током, а тело корчило мучительно от каждого движения: в такие минуты в этой тишине почему-то и вселялся в него страх смерти. Линия огня молчала — люди по ту сторону не замечали ничего живого в расстрельной дали: то, что болваны вновь бесшумно являлись как из-под земли, было всегда неожиданным и будоражило кровь. Хоть они не двигались и стояли мишенями под расстрел, в людях на мгновение возникала легкая волнительная паника, а чей черед наставал — цепенели. Другое творилось с Алешей. Он стремительно, уже с живучестью таракана, убегал на четвереньках по дну траншеи в свою щель.

Бывали еще ночные стрельбы, когда мрак делал расстрел мишеней похожим на охоту. По жестяным болванам блуждал луч прожектора, вырывая их из

сумрака, и они бултыхались, как в кипящем котле, металась из стороны в сторону. Кроваво-желтый воздух ночи секли трассеры, раскаленные добела автоматные очереди. Алеша по три-четыре часа не вылезал из своего окопчика. Его будто тоже искали всей сворой, убивали каждым выстрелом — и не могли убить.

Но после стрельб неотвратимо погружало полигон в опустение и спячку. Возвращались по-птичьи пугливые ветра и постилали степь ровным прахом. Алеша собирал отстрелянные гильзы — цветной металл, что после переплавки, наверное, снова превращался в патроны — и свикался по-звериному с тишиной. Казалось, вровень с небом он бродил целыми днями по степи. Ложился на землю — сколько мог лежал. Вставал, брел силком на прогулку — сколько мог пройти. Кормился — то варил супец с тушенкой и крупой, то погуще заваривал — и получалась каша. Чтобы хоть как-то времечко потратить, налопаешься точно с голодухи — тут и воротит, и тошнит. Снова уходил в степь.

Не в силах больше заставлять себя о чем-то думать и биться о каждую молчаливую наедине с самим собой минутку, Алеша упивался легко да быстро мечтами. Чаще всего в своих мечтах он совершал подвиги, и при этом подвиг был обязательно ценой жизни. Мечтал также оказаться кому-то нужным, кого-то спасал. Или представлял себя на войне, в бою, где опять в своих мечтах погибал, спасая товарищей — о которых опять же мечтал. Забываясь в мечтах, он, бывало, день-два не притрагивался к еде, как если бы жертвовал для кого-то парцайку, и не мучился от голода. В себе он чувствовал просветление, покой, и даже Абдулка исчезал из памяти, а еда становилась чем-то невыносимым, как напоминание о жизни.

Когда вдруг наезжал Абдулка — в ней тоже ничего не менялось. Он мог разве что привезти своей домашней еды в угощение и старых газет на подтирку, из которых Алешка узнавал прошлые новости. Глухой мог бы раздобыть для него радиоприемник, о чем просил однажды Алеша, но ругался всякий свой приезд: «Забудь радио этот паршивый, слушать там нечего. Много будешь знать, дурья башка, заболеешь, пропадешь. Птица много знает, много думает? А летает высоко-высоко, далеко-далеко!»

Удивляло отеческого Абдулку и даже пугало — это что паренек жил без писем. Сам не писал своим родным и от них не получал весточек. Было, еще летом, глухой спросил: «Ты почему письмо домой не пишешь?» И услышал в ответ: «Да чего писать, Абдулла Ибрагимович, лето — значит, на огородах все мои. У нас без огорода не проживешь». Потом, уже осенью, когда спросил о том же, услышал от Алешки: «Да чего писать, картошку копают. У нас без картошки не проживешь». К зиме он все же, ничего не слушая, посадил его за листок бумаги и приказал уже как начальник написать забытым, как ему казалось, родителям. Алеша долго сидел над бумагой — и написал: «Здравствуйте, мама и папа. Я служу родине хорошо, как вы сказали, все делаю. Мама, берегите себя. Папа, и вы себя берегите. Я тоже себя берегу. До свидания, ваш сын Алексей». Под Новый год, к празднику, из родных его краев пришла посылка. Абдулка ее получил, привез на полигон. В ней были конфеты, печенье, варенье — все сладкое. И письмишко: «Здравствуй, сынок. Кушай и поделись с товарищами. Варенье съешьте первым, а то прокиснет, а конфеты с печеньем — потом. Мы себя бережем. На прошлых днях ощипала наших козочек. Платков штуки две получится и носков еще десяток. Зимой продам — будем с хлебушком. Без этого не проживешь. Служи родине хорошо, как мы сказали. Ждем тебя домой. Варенье съешьте первым, а то прокиснет».

Абдулка рассчитывал, сколько оставлял воды и хлеба, сколько задал работы, и заявлялся обычно по расчету. Снова завозил воду, хлеб, изобретал работенку, отводил душу в жалобах про все на свете да отправлялся домой. Алеша знал эту дорогу, что вела в поселок, но искать среди людей было ему нечего. Той жизни он уже сторонился.

Раз в неделю он должен был ходить в баню. Около поселка охраняла исправительную колонию шестая караульная рота. Банный день у них был по воскресеньям. Алеша приходил с утра, никуда не сворачивая, и ютился на лавке у бани, пока мылись хозяйчиками ротные. Всем чужой, терпел он насмешки да тычки, но если не отвечал, то потому, что чувствовал только удивление. Голоса, скопище людей, суета — все его удивляло, и он молчал, глухой. А все знали с каких-то пор, что в баню ходит «глухонемой», добавляя еще с усмешкой все равно как о дурачке: «с полигона».

Если бы не стрельбы, что были как падение с поднебесных прогулок на дно котлованной траншеи, то и тишь с благодатью могли бы свести с ума. А если бы не зима, то не дожил бы он, наверное, до лета. Зимой стало жить труднее. Прибавилось темноты и одиночества. Но мороз просветлял, рождал в душе покой еще ошутимей, чем голод. Разгребая в одиночку снежные горы, Алеша падал от изнеможения и блаженно-крепко засыпал в тепле печурки, а за ночь снова наваливало снегу и на том же месте вырастали, будто из того же зернышка, точно такие же по очертаниям да размерам сугробы. В башне он топил печку, жалея уголек, без чего нельзя было жить. А когда выходил что ни день разгребать снежные завалы там, где все должно было светиться к началу стрельб только ровной ледяной корочкой как на катке, неожиданно чувствовал, что и без сизифовой этой работы не было бы жизни. Ему начинало счастливо мерещиться, что кидает лопаты снега как в топку, чтобы не умереть. Сверкающий, иссиня-сумеречный зимний дворец вдруг окутывало великое земное тепло, так что Алеша скидывал душный тулуп, потом ушанку, а в завершение уже по пояс голый торжественно расхаживал по чистым, легким дорожкам, веруя, что обогрел землю. В первую же зиму с ним свершилось это чудо: каждый новый день, просыпаясь, начинал он жить как ни в чем не бывало, уже не помня вчерашнее. Все забывалось само собой, стгорало в душе, как уголек: прожил день — обогрелся, надо и дальше жить.

Простое это веление снизошло на Алешу зимним путем, когда брел он с санками по хлебу да по воде; отеческий Абдулка благоразумно отправил свой мотоцикл зимовать в сарай и доверил самому нуждающемуся обеспечивать свою первую необходимость. Ни свет ни заря Алеша снаряжался в поход. Обитаемая земля поселка достигал к полудню. На кухне караульной роты получал мешок с ржаными буханками, запасал полный бидонище питьевой воды. Хоть он и добывал воду из снега для всех остальных нужд, питьевая все равно кончалась стремительно и не на чем было здесь сэкономить. Бывало, хлеба осталось еще полмешка, а вода уже вышла. И это всегда его озадачивало: вода обычная, оказывается, драгоценней хлеба и ее волочешь не то что одинаково с хлебом, но и надрываешься из-за нее. Впрягаясь в санки, Алеша обругивал свой тяжелый груз, как, наверное, тихонько бы ругалась в своей душе лошадь на груженую телегу. Но если бы лошадь знала, что груз телеги состоит из сена, которым будет она же сама кормиться, то гнев ее сменился бы радостью. Алеша же по-человечески не удерживался от пылкой обиды, будто кто-то мог такое нарочно придумать: чтоб человек волок, надрывался, а пройдя пятнадцать километров, спустил в свою утробу то, чем надрывался, весь груз этот тяжелый, да и путь сам же превращая в ничто!

Вот по зимнему пути в никуда, груженный тем, что превращалось в ничто, Алеша и обрел простое веление жизни. Раз от раза его человеческая обида теряла пыл. Раз от раза он потихоньку забывал, что рожден все же человеком, а не лошадью. И однажды ощутил себя совсем как лошадь, которую поят и кормят только за то, что запрягают в телегу: да это ж все мое живое! это ж все превращается в меня! водичка моя, хлебушек — вот же они, теплеющие, роденькие! В тот миг, когда встал от усталости, чтобы перевести дух, Алеша бесчувственными губами словил в морозном жгучем воздухе легкое дыхание. Оно скользнуло лоскутом — и вдохнуло... свою горячую влажную слабость. Покрытый полярной волной простор, куда Алеша вонзился подобно полюсу, желая минуту отдышаться, мерцал мириадами снежинок, что были как живые; а новые и новые мириады тихо осыпались с вышины, где замершее далекое небо было похоже на стоящие под снегом леса — где все разом тряхнуло что-то властное, сильное. Но вот одна из них растаяла на его губах. Алеше даже мерещилось, что он ее видел, когда она снижалась в кружении, однако уже так одиноко, обреченно, будто кружила и кружила над ним — зная, что растает.

Настроение в него вселилось самое неразумное. Он столько до этого прошагал, что, стоя без движения, истек потом и мог простудиться, застывая на морозе. «Простужусь и умру!» Алеша вообразил, как будет метаться в простудной горячке, просить пить, умирать. Но с отвагой ребенка стоял и стоял посреди всей этой вечной мерзлоты, жалея умершую снежинку. Назло будущей простуде он уселся на санки и решил, что будет пировать: жевал мороженный ломоть хлеба и пил ледяную воду из бидона. Когда ж неспешно насытился, то чинно и благородно снова впрягся в санки и побрел дальше, будто теперь должен был жить вечно.

Но то, что с ним тогда произошло, оставило и почти физический след: теперь частенько Холмогоров забывался, и на его лице сама собой застывала улыбка. В ней было нечто уродливое, как будто смеялось лицо, посеченное шрамами. Замечая это, Абдулка поначалу только злился, думая, что Алеша молчит да улыбается как-то нарочно. Холмогоров приходил в сознание от его окриков и растерянно ничего не понимал. Абдулка думал, что с его работником случилась какая-нибудь душевная болезнь. Решая, что это зимовка сделала Алешу таким, он успокоился: зимой пришло — весной уйдет. Но задумчивость так и не проходила, и Абдулка начал опасаться, что Алешку когда-то незаметно контузило в траншее. Некоторое время Абдулка помучился страхами, смертельный это недуг или нет. С тоской пугал сам себя, что если откроется правда, то всю вину свалят быстрехонько на него, скажут, Абдуллаев не доглядел. Но было похоже, что болезнь все же не смертельная, а потому Абдулка решил молчать и делать вид, что ничего не замечает.

Иногда из него вырывалось вдруг, когда не в силах был вытерпеть этой улыбки, что казалась ему какой-то болью: «Сынок, не грусти!» Но Алеша и не думал, что грустит. «Да что вы, Абдулла Ибрагимович, не бойтесь. Это я радуюсь про себя!» «Что радуешься? Что тебе веселого?» — спрашивал начальник, читая по его губам. «Да как что... А разве грустно должно быть? Вон как все хорошо кругом». «Сбрендил ты, что ли?!» «Да так... Просто так... Хорошо-то как...»

Однажды на исходе лета Абдулка примчался на полигон уже ночью и удивил своего солдата известием: «Война. Брат на брата пошел». Глухой был потрясен и напуган, он и примчался в степь не иначе спрятаться, но Холмогоров все же не мог поверить в то, что он говорил. Ночь Абдулка не спал. Несколько раз тормозил спящего Алешу, страхась своего одиночества и тишины. «Люди озверели. Почему не живут спокойно? Что хотят? Зачем нужна война?» — то ли

жаловался, то ли спрашивал. «Поспите, Абдулла Ибрагимович...— мямлил Алеша.— Вы только усните, а жизнь сама пройдет». Но тот не смыкал глаз и чего-то ждал, мучительно слушая тишину. Войны нигде не было. На третий день из поселка за ним пришла возмущенная жена — жадноватая здоровая баба, у которой с глухим было общее хозяйство. Она увещевала, рыдала, грозила, кричала, даже дралась — и заставила сбежавшего хозяина наконец вернуться домой.

Когда пришел приказ о том, что Алексей Холмогоров отслужил свой срок, Абдулка в этот день сам полез в траншеи, а ему отдал свое место — на башне.

Все годы, живя в этой башне, Алеша не подымался наверх, куда вела железная лестница и где мог бывать только Абдулка, который ревностно берег это свое право, запрещая даже взглянуть или просто вешая замок на железную дверку люка. Когда он оказался в ее прозрачной оболочке, сомкнутой из огромных толстых стеклянных витрин, то почувствовал себя рыбиной в аквариуме. Тело само собой делалось легким, шаги по бетонному гулкому полу — плавными, сонливыми. А там, куда он удивленно глядел из своей аквариумной толщи, как в чужой неведомый мир, разворачивались живые цепи, ползли мокрицами многотонные бронетранспортеры: копошение воинственных человечков походило на муравейник, роняя строй и смешно теряя сугубую серьезность муштры, что спадала с марширующих, как штаны. Или вдруг проявлялись в воздухе реактивные белесые выхлопы автоматных выстрелов — распускались на долю секунды парашютиками из стволов,— что ощутимы были там, для стреляющих, только как прогорклая вонь.

Когда Алеша был облачен во все парадное и прощался навсегда со степью, а Абдулка усаживал его в мотоцикл и должны они были ехать напрямиком в Караганду, где обещан был Холмогорову вечный железный зуб, глухой спохватился и до испуга удивился своему открытию: «Вот и все!»

Старый новый день

Алеша не чувствовал, что был отдан в услужение. Новая обязанность оказалась куда душевней, чем можно было ожидать от начмеда, что изо дня в день прописывал однообразные неживые работы. А здесь назначено было поухаживать за больным, подать да унести, но помочь выходило не в труд. Только так и не дали знать: а чем же странный лейтенант болеет? Стоял ведь он крепко на ногах, умывался сам, в садик выходил покурить, но даже издалека выглядел так, как если бы в лазарете, где избавлять и лечить должны были от болезней, напротив, пребывал со своей болезнью один на один и не получал хоть какого-то облегчения. И на ум пришло, что гложет этого человека такой недуг, о котором никому ничего не известно. Неизвестно не только больному, но и медицине. Этот недуг позволял и ходить, и есть, и курить, однако причинял страдания, которые лейтенант отбывал уже в безысходном одиночестве, хотя мог еще их терпеть, делая все то же, что и здоровые люди.

Утром, когда в лазарет принесли фляги с едой, Алеша помнил о лейтенанте и всех опередил, чтобы порция больному досталась первейшая, погуще. С мыслью о больном — будто солянка мясная являлась лекарством — он уважительно понес в офицерскую палату все то, что добыл в обжорной сутолоке у фляг. Но ожидание встречи с больным простыло в душе, когда постучался и услышал заносчиво-повелительный голос: «Не заперто!» Холмогоров толкнул легкую дверь и застыл на пороге: в углу, на койке у окна, полулежал в расхрис-

танном халате, привалившись спиной к стене, ненужный себе человек, казалось, даже не военный. В громоздкой холодной палате — с постеленной одной койкой в отдалении у окна и с брошенными на произвол судьбы ничейными свободными местами — царило ощущение беспорядка. Раздетые, телесного цвета матрасы на свободных койках источали сильный запах лекарств, будто какой-то трупный. От проема окна падал чистый белый свет, а в деревянную раму, как холст, прямо с холода да с ветра поставлена на вид была летняя казарма: маслянисто-зеленый фанерный барак, свежие кресты досок на оконцах.

Лейтенант впился глазами в полную дымящуюся миску. «Здрасьте... Доброе утро... Вот завтрак ваш», — с трудом выговаривал Алеша. Офицер не шелохнулся. Лицо его было скуластое, с загорелой до темноты кожей. Все существо вбирали округлые непроницаемо-темные глаза — почти без белков, как у зверя. Алеша тяжеловато прошагал в палату. В одной руке нес перед собой миску, в другой — кружку с чаем и ложку. Все составил на тумбочку подле койки. Лейтенант забылся, осязая глазами только еду. Он взялся за ложку, но рука дрожала, как если бы он совершал ею молча нечто противное, болезненное. Наверное, только дрожь назойливая в своей же руке пробудила едока от забытья. Он поднял голову, впился безжалостно-жадным взглядом уже в того, кто стоял перед ним с пустыми руками, но ухмыльнулся вдруг и произнес: «Вот и он так стоял...» Это был голос повелевающий, но притворившийся отчего-то тихим. Алеша обмер, а лейтенант выждал все равно что ответа, хоть в произнесенных с ухмылкой словах его о ком-то неизвестном даже не звучал вопрос.

С языка сорвалось: «Желаю приятного аппетита».

«Вот и он так сказал...» — услышал Холмогоров в ответ.

Стало не по себе, тоскующим ненасытным облачком в офицерской палате стал блуждать сладковатый душок мясной солянки: Алеша мигом опомнился и оставил в покое умирающего — того, кто готовился, как ему это почудилось, принять смерть и поэтому был зол на весь мир. Но когда Холмогоров вышел на свободу, то чувство обреченности, отчего-то уже своей собственной, отравляло каждую минуту.

Сел завтракать, но еда казалась невкусной, словно тем временем, когда обслуживал лейтенанта, что-то случилось, и солянка прогоркла. Такой же невкусный оказался и чай — не чай, а помой. Воротило с души. Сидя еще за столом и чего-то дожидаясь, Алеша затосковал. Потом очнулся и вспомнил о лейтенанте: этот уже, наверное, налопался, и посуда грязная готова — иди за ним убирай, раз еще живой.

Лейтенант сыто развалился на койке. Но ждал прихода услуги. Миска была опустошена, чай выпит. Спокойный, с ленцой, разумный голос заполнил неожиданно похожую на склеп палату: «А воняет это все солярой. Столько сала ем первый раз. И эта блевотина у них называется солянкой. Они ее готовят на завтрак, на обед, на ужин... Осенью, летом, весной, зимой... И кормят этим круглый год. Что, дурик, тебя еще не тошнит? Или ты всем доволен? Ого как глядит — прямо убивает взглядом, а это мне очень нравится! Что? Не доволен?! Тебя как звать? Ну? Ну хочешь отведи душу — давай, как есть, крой, только не молчи, могила безымянного солдата...»

Холмогоров открыл рот: «А так и звать, как и всех людей, по имени». «Ну и какое у тебя, человек, имя?» «Простое. Человеческое». «Какое такое?!» — Лейтенант взвился, аж приподнялся на локотки. «Вам надо в покое быть. Больно много ругаетесь». «Больно? Да что ты знаешь про боль?» — вскрикнул лейтенант. «Знаю», — пролепетал Алеша, осиливая волнение. «Дурак, — вдруг чуждо произнес лейтенант и, скорчившись как от удара в живот, начал цедить сквозь

обиду и злость: — Хуже нас нет. Пора закрывать этот дурдом. Люди не должны жить. Всех нас надо уничтожить. Нет, не по отдельности, чтоб кто-то оставался, а всех разом. Только всех и разом, чтобы нажать кнопку, которая там, и решить этот вопрос навсегда. Ну что ты палишь на меня свои круглые глазки? Давай, человек, шагай, жуй свою солянку, пока дают. Оно верно, от сала не умрешь, салом не убьешь. А свинья знала, чье мы сало съели?» В последних словах голос лейтенанта возвысился уже с надменной ухмылкой. Он изрек: «Мертвецы ходят по двое». И умолк.

Разговор, что был начат с ухмылками, кончился такой же, непонятно для чего рожденной внушительной пустотой. Алеша успел только ощутить в этой пустоте, что чужой человек говорил с ним так, будто все о нем знал.

Он вышел наружу, чувствуя себя не то обманутым, не то обманщиком, и по-шагал по коридору, на каждом шагу честно воскрешая в памяти лица офицеров, которые прошли за эти годы перед его глазами. Полигон был местом, куда каждый, кто обращался с оружием, будто исполняя повинность, хоть раз в год являлся. Запомниться могли не все. Алеша мало что о ком знал, но близко или в отдалении повидал, наверное, каждого. В той череде лиц из прошлого, блеклых, водянистых, как если бы разочарованных жизнью, лицо человека из офицерской палаты или не явилось, или вплывало из прошлого до того неузнаваемое, что не имело ничего общего с оригиналом. «Холмогоров! Ну-ка подойди!» — В ту же минуту, когда он шагал с грязной чужой посудой по коридору — утром еще гладкому и тихому, — раздался ревнивый нервный окрик из распахнутого мышеловкой кабинета.

Институтов то ли брезгливо, то ли пугливо ютился на пороге собственного кабинета и сам же держал нараспашку дверь, выпроваживая наружу маленького, однако приметного всей своей наружностью человека.

Незванный гость, не снявший в помещении даже шляпы, похоже, терпел бедствие. Лицо его, в котором было что-то татарское или волчье, застыло в раздраженной гримасе. Он был одет со старомодной внушительностью. Шляпа, плащ, ботинки, портфель, явно подобранные наподобие ансамбля, имели табачный и, вероятно, популярный когда-то цвет. Еще сорочка, нареченная белой, и оранжевый галстук с пестрым цветочным узором — сам по себе вызывающе экзотичный. Непонятно, для какого случая предназначался этот вовсе не походный мужской комплект и что же случилось с его обладателем в действительности. Но вещички, должно быть, таскались много суток без смены. В заскорюзлом воротничке сорочки наскреблось грязцы, как под ногтями. Плащ чужевато болтался на плечах — тусклый да процарапанный, точно общепитовская алюминиевая посуда.

Гражданин настырно длит свое чуждое стояние в служебном помещении и притом возмущенно глядел на Институтова, будто требовал, чтобы тот сам немедленно покинул кабинет. Начмед вышел из себя и закричал: «Все, я устал вам повторять, увидите его в своей распрекрасной столице!.. Не здесь и не сейчас, все, точка! Напрасно приехали и напрасно мутите воду, дорогой товарищ! Сегодня он будет отправлен. Смотри и переодеваний никаких тоже не будет, это у себя дома делайте что хотите. Вам положено сына встречать по месту жительства, а не шататься в пьяном виде по Караганде. Все мы когда-нибудь отчего-нибудь умрем. И я умру, и вы — вот увидите. А ведь я лично не плачусь, не устраиваю истерик. Поверьте, вы сейчас вредите своему сыну, как это только возможно. Вы его просто, извините, позорите. Вы чего дожидаться хотите? В милицию, в вытрезвитель попасть?! Так, Холмогоров, зовите наряд... По-другому он не поймет...»

Мужчина молчаливо склонился головой, так что сделалась видной лысина его шляпы, потом неожиданно резким властным движением поднял голову, взглянув с неприязнью уже на Алешу, но ничего так и не ответил. Бездушно-просто шатнулся, будто пихнули в плечо, вышел прочь и побрел в гулком, пустом коридоре лазарета к выходу.

«Тоже мне, тень отца Гамлета! — фыркнул начмед. — А еще в шляпе... — Потом энергично обернулся к Алеше и произнес, кивая на грязную посуду в его руках: — Ну, голубчик, это на сегодня оставь, есть работа поважнее. Поедешь со мной».

Алеша ничего не отвечал и не двигался с места. Институты, как это уже бывало, повторил обычные свои слова: «Голубчик... э-э-э... дело в том, что оно в другом, то есть не в том... Да! Твое дело еще обождет, обождет, а сейчас — ну просто неотложное есть дело. Дело жизни и смерти. Голубчик, сегодня не смогу, даже если бы хотел. Денька через три постараюсь, выкрою время — и займусь твоим зубом. Нет! И прекратим этот разговор! Надо еще поработать. Надо, надо еще — собрать все силы в кулак, поднатужиться, поднапрячься, ухнуть. Ну если что, сам знаешь: у меня кто не работает, тот не пьет шампанское. Неволить не буду, никаких преград. Как говорится, скатертью дорога...» На этих словах Холмогоров вдруг, как и было ему сказано, развернулся, пошагал... Начмед спохватился и кинулся вдогонку за Алешей. «Это было шуткой! Беру свои слова обратно! — на лету покрикивал Институты, прыгая мячиком за его плечом. — Мое обещание остается в силе! Завтра же у вас будет вечный зуб!»

Ему удалось наконец опередить и удержать Холмогорова, но тот глухо молчал и глядел поверх скачущей головы начмеда в какую-то даль. Институты пытался нащупать, попасть, заронить — и верещал: «Решено! Зуб железный, хромированный сплавом титана, за один день, немедленно, вечный, гарантия сто лет! Ну, голубчик, в конце концов я прошу о помощи... Что же я скажу товарищу Абдуллаеву?.. Помогите, спасите в эту трудную минуту мое честное имя! Ну дайте же сдержать слово!»

Начмед надрывался, только изображая немощного, но цеплялся за Алешку всерьез, зубодерской своей хваткой. Он был зачем-то нужен ему как никогда, оттого и барахтался, цепляясь за него с отчаянием утопающего. Алеша не мог бы дать утонуть на своих глазах даже кошке. А уж слышать жалобные зовы начмеда про Абдулку было до слез невыносимо. «А что же скажет товарищ Абдуллаев?» — аукалось гулко в его душе, будто это сам отеческий Абдулка засел в ней для наблюдения да понукал теперь усомнившегося Алешу. И если б можно было ему что-то ответить, объяснить, а ведь выходило так, что Абдулка только и узнает, как сбежал неблагодарно от его подарка.

«Вы какую неделю обещаете...» — дрогнул Алеша. Начмед мигом бодренько подхватил: «Завтра же, завтра все будет сделано! Голубчик, ну что за глупость? Это говорит ваша обида. Надо уметь прощать. Мы все делаем общее дело. Дайте мне всего один день! Все давно готово с вашим зубом, осталось только поставить его на место. Сегодня вы поможете мне, а завтра уже поедете домой в лучшем виде. Вот, глядите, вы оскорбили меня, а я все готов простить и сам упрашиваю не совершать роковой ошибки. Я упрашиваю вас, молодой человек, а мог бы не упрашивать! Да, да... Я трачу свой труд, свой личный материал для протезирования, а вы нахально заявляете, что я что-то с кого-то имею. Если вы намекаете на мясо, которое меня заставил принять в подарок Абдулла Ибрагимыч, то могу поставить вас в известность, что и здесь я ничего не имел. Поимел бы я, если б ничего не сделал. А я сделал осмотр, сделал удаление, сделал всю подготовку протеза и готов завтра же по-

кончить с вашим зубом. И вот ради прелестного зуба, который прослужит вам сто лет, и ради Абдуллы Ибрагимыча я, человек с образованием выше среднего, должен унижаться и упрашивать молодого неблагодарного нахала потерпеть всего-то один день!»

Слово за слово — и так все неотвратимо вернулось на круги своя... Полегчало, стоило вновь покориться. И успокоился, и обрел сам себя. И вышло не так, что его принудил, покорил этот человек. Это он сам себя принудил и покорился собственной воле, меня весь свой пыл собравшись в дорогу сей же час на обещание, что будет отпущен завтра.

Чтобы ехать с начмедом исполнять какую-то работу, которую тот для него напоследок подыскал, Холмогоров облачился в парадную форму — другой одежды у него, демобилизованного, уже не было — да залез в родимую свою шинель, что за годы службы пожухла до песочной рыжины... Отслужившая свой срок стойкости шинель имела наружность затрапезную, отчего и Алеша снова обрел в ней затрапезный вид, но, кто глядел на него со стороны, мог удивиться серьезности его лица и тому, какое воском застыло в нем нешуточное достоинство. Ощущая под ее линялой грубой шкурой холодящую с непривычки оболочку парадного кителя, Холмогоров и приосанился поневоле, да вот не понимал, что видна для всех только его зачуханная рыжая шинель. А кругом в приемном покое лазарета кишмя кишела солдатня, на что-то обреченная, — кто с фурункулом, кто со свежей раной, кто с болью. Все это скопище людей как с повинной ожидало появления начмеда, и Алеша тоже ожидал. Он ощущал, что всех, кто скопился в приемном покое, должно было поглотить с минуты на минуту разочарование, если не отчаяние. Начмед уезжал в неизвестном направлении по своим делам, обрекая их тоже терпеть до завтра.

Что дорога предстояла долгая — это единственно и знал Алеша с его же слов. Институтков сообщил об этом с той доверительной важностью, какая, наверное, должна была заменить работнику пропитание. Но куда ехать, на какое время, что исполнять — оставляло Алешу равнодушным. Что бы ни ждало, прикован он был к завтрашнему дню, думая беспробудно о своем, воображая все упоительней, каким новым и ни на кого не похожим человеком станет завтра. Для всех окажется он завтра незнакомцем. Даже сам себя не будет завтра узнавать. Холмогорову казалось, что это суждено всем людям на земле: всегда терпеть до завтра. Что иначе и не приходит настоящее, если не терпеть. Что это даже правильно, справедливо, ведь только день завтрашний может стать днем рождения, а не сегодняшний, потому как нужно дать время не избавиться от чего-то, а чему-то новому в себе родиться. Все живое рождается с болью, в мучительном томлении. И во всех несчастных, что томились со своими болезнями в приемном покое лазарета, ожидая, как и он, Институткова, вдруг померещилась Алеше такая же храбрая вселенская муть, что и в какой-нибудь взбаламученной воде. Он обрадовался, да чуть и не вымолвил на радостях вслух: все случится завтра, завтра мы не узнаем самих себя!

Институтков заявился. Мельком, суетливо оглядел скопившихся людей, но не ухватил глазом ничего такого, что внушило бы тревогу, и воскликнул: «Сегодня, голубчики, я боль, а не врач!» За их жизни он уже не боялся, после чего как медицинский работник обходительно выпроводил страждущих за порог лазарета, до завтра. Снова огляделся, чисто ли на его пути. И дал Алеше полный нетерпения знак.

Подле лазарета паслась похожая на коровенку машина с вздутыми боками, жующая потихоньку бензин.

Это была та самая санитарная машина, единственная в полку, на которой в прошлом Холмогоров отправлялся в путь, еще не зная, куда везут его и что с ним будет. Другой — разительно непохожий на того шалопутного, развеселого шофера, что когда-то увозил его из полка, — осанисто восседал за баранкой. Алеша поздоровался, но парень не отозвался на приветствие, даже не повернул головы.

В кузове Холмогоров сидел теперь как будто на жердочке, потому что отдельное сидячее место для санитара, которое он помнил, пропало: сбоку, где оно когда-то было, прикреплена оказалась недвижимая, стертая до трухляво-лаковой темноты доска — такая узкая, что если не вцепляться руками, то легко было соскользнуть. В проходе в человеческий рост пластались носилки, военно-полевые брезентовые носилки, где было кем-то брошено старое плотное шерстяное одеяло, как будто здесь, в кузове санитарной машины, совсем недавно спал на носилках и кутался от холода в это одеяло очень усталый или безразличный человек.

«Меня на этой машине возили. Это было еще до вас», — сказал Холмогоров, думая, что такой разговор понравится новому шоферу. «Пошел ты!..» — отозвался вдруг тот с отвращением, и Алеше сделалось не по себе от глуховатого и как бы ноющего голоса. Он мог видеть только половину лица незнакомца. Глаз хищно, зорко глядел в одну точку. Накрепко сомкнутые губы делали рот похожим на шов. Угрюмец напоминал ящерицу и, наверное, как ящерица, был упруг и ловок, но не то чтоб крепок, силен.

Понуканий начальника он тоже угрюмо не услышал. Машина тронулась с места по его хотению, да так медленно, будто это отчаливал от берега теплоход, — или нарочно он дерзил так начмеду. «Тоже мне... Все же ничему тебя жизнь не научила, голубчик», — обиженный, пригрозил Институт. «Так точно, гражданин начальник! — рассердился парень. — Зверю, когда жизни учат. Взял бы так — и пиф-паф, сразу в лоб!» «Что?! Откуда огнестрельное оружие?» — дернулся в испуге начмед, но опомнился и конфузливо умолк. Однако парень все же не утерпел надерзить еще словечком начмеду, пробудившему в нем что-то злое: «А откуда вы-то такие взялись, что жизни учите, а сами как хотите живете? Ты меня лучше не замай, я нервный в твоём лазарете стал, нагляделся тут всякого! А то брякну в другой раз лишнего, я ведь только, это самое, плохие оценочки развожу...» «Ну тише, тише, голубчик, нас же слышат...» — забормотал Институт. «Тише, тише, бродят мыши», — процедил тот глухо сквозь зубы и умолк.

Доехали неожиданно стремительно, так что даже стало чего-то жалко. Институт выскочил и скрылся в молчаливом добротном здании из красного кирпича. Алеша разглядел проходную и двустворчатые ворота для въезда и выезда, с нагрудниками в виде красных звезд. У проходной было безлюдно, как если бы все попрятались от холода. Минут пять прошло, а никто больше не входил в здание и не выходил из него. Простор почти дикий этого места разбегался сам по себе, воздушный, чистый, омывая, чудилось, необитаемые гранитные островки дворцов. Каждый дом каменный, в пять этажей, походил на крепость или дворец. Такой была и вся Караганда — город, выстроенный среди степей. Строили его, все равно что осушая море. Дворцы-острова, крепости-плотины перегораживали не реки, а подобные рекам степные раздольные ветра. Что ни улица, то проспект: лежат тяжело, прямо — и долог их пролет, как у мостов. Всякий здесь поежится, вспомнив о доме, затоскует сиротой о приюте.

Сквозь замыленное стекло все казалось маленьким, помещенным в стеклянную банку.

«Вот где судьбы людей решают, виноватых ищут... А точности нет. Кто знает точно, кому чего причитается и сколько? И прокурор не знает, только делает вид. Если бы знали, было б давно как в раю — точность и покой, шикарнейший такой коммунизм. Не верю. Будь он проклят, этот гражданин прокурор! — проскрежетал, не оборачиваясь, шофер.— Я только высшую меру наказания уважаю. Убил — так умри. Смерть за смерть.— И тут же неожиданно с азартом возразил сам себе: — Жди, нужен им такой закон, как же! Люди все воняют. В тюрьге уж точно. А кого сажают? Были бы умные или там вообще в силе, ходили бы по другую сторону в белых фраках. На себя кто заявит или хоть сам себе сознается, что делал или думал? А притворяются, что одни розами пахнут, а другие вроде как воняют. Решают, сволочи, кого в цветник, а кого на парашу. Чтобы одним было хорошо, надо, чтобы другим обязательно было плохо. Нет уж нюхайте! Я плохой, потому вы плохие... Вам будет плохо, пока мне плохо... Что, доходной, в лазарет пристроился? Думаешь, всю жизнь на коечке пролечиться? Слабый ты и глупый, что ли. А может, это пробивной и умный такой?»

Алеша был рад сообщить: «Я отслужил, завтра сяду на поезд и уеду домой. В лазарете мне еще зуб делают, а так я на полигоне стрельбы обеспечивал, не отлеживался, зря вы это думаете. Мое место было в окопах, меня поэтому мало кто знает. Мы стрельбы с Абдуллой Ибрагимовичем обеспечивали. Можно сказать, два года как на войне». И получил в ответ насмешливое: «А то как же, атыбаты, все мы оттуда родом. Анашу курили, порох нюхали, кишки на кулак наматывали...» «Вы имеете в виду, что мы с вами земляки?» «Земляк, если в капусте нашли. Ты с какого огорода такой овощ? Как звать-величать? — И, услышав ответ, не успокоился: — Ну, Алексей, займы дал, цедишь. По батюшке как, спрашиваю, имярек?» «Алексей Михайлович Холмогоров...» «Ну вот, холмы и горы, не родственник ты мне, а конь в пальто, ибо я на этом свете прописываюсь как Пал Палыч... Усвоил? Это я так сам себя назвал и в паспорте изобразил около семейного своего портрета. Означает, что Павел сам себе Палыч. А фамилие знаешь какое? Оно самое... Имя дали — остальное сам себе сделал. Ну займы называли разок люди добрые Пашей, а больше не одалживался».

«Как же это?...» — сробел Алеша перед таинственным Пал Палычем, что родился, оказалось, чуть ли не сам по себе. «А так, сказал — значит, решил, решил — сделал, а не сделал, чего хочешь,— умри». Холмогоров, слыша такое, затрепетал: «Зачем умирать, со временем все можно успеть. На то она, жизнь, и существует, мало ли что, главное — живой». Шофер поскущел: «А кто ты такой? Какая такая жизнь? Чего ждешь? Один бегаешь, виляет хвостом, кусок тяпнет, какой с неба упал,— и рад, а когда его час приходит, валяется на земле. А другой? Он все себе устроит, заработает, не даст себя жалеть и в землю ляжет в новом дорогом костюме. Все сможет. Он и умереть может, как свое взять. Настоящий человек! А то глядеть тошно, валяется фраерок с дыркой в башке, а жить хотел, небось, аж верещал. Я таких не уважаю. Хотят жить и ничего не делают, никого не заставят, своего ничего не имеют, а так, имярек! Такие и смерть получают какую-то заваливающую. Такую, которая как напрокат.— И добавил, снизойдя, будто доверял нечто важное: — Смерть не шутит, и с нею не пошутить. Каждый свою получает только раз. Смерть — это такая самая рискованная и тузовая игра. Побеждай или умри. Разок ошибся или не пофартило — и прости-прощай. Все играют со всеми в эту игру. Самое интересное для меня в этой игре, что в ней почему-то больше всего подлые побеждают. Точности нет. Да ты не морщись, доходной, не морщись, носа не откушу! Думаешь, это я сам и есть подлюка?»

Алеша не успел ничего подумать — вырос как из-под земли Институты, заставая врасплох. Было ощущение, что он подполз на четвереньках и выпрямился вдруг, как пружина, в полный рост. Лицо начмеда было задумчиво-мрачным, возвышенным. «Так-с, один вопросец решили. Прелестно! — воскликнул он среди молчания.— Прошу обратить внимание: действую на свой страх и риск, в полном одиночестве, почти вслепую. Помощи ждать неоткуда, как всегда, взвалили все на мои плечи. Ну да ладно, трогай, голубчик... В царство мертвых! Ха-ха-ха... В дом скорби и печали! Туда, где нас не ждали, но встречу, ха-ха, назначали...»

Где смерть, там и жизнь

Подвальное заведение судмедэкспертизы встречало гостей и тех, кого определяло на постой, с радушием погребка. Оно обреталось на задворках белесой клинической махины, в которой что-то больное да слабое должно было, как жидкость, перетекать по змееву разнокалиберных строений, чтобы в конце концов оздоровиться и окрепнуть. Безлюдные одинаковые подьезды, входы и выходы, которых здесь было во множестве, зияли готовностью служить при пожаре и походили на тупики. Пришлось кружить в их лабиринте, тасуя колоду одних и тех же зрительных картинок: асфальт, фонарь, подьезд... Пал Палыч терпеливо рулил на узких коротких дорожках. Начмед вскрикивал несколько раз, толкая его под руку: «Проехал! Да вот же, голубчик... Стоп, стоп!.. Тормози!» Тот молчал, точил что-то в душе, мрачней. Наконец вырулил к одному из гребков.

Институты неуверенно выбрался наружу и постучался в гулкую железную дверь. Он стоял перед ней в наготе одиночества: напряженно-сутулый, голова крепко всажена в панцирное непроницаемое туловище, откуда туго проступал из-под плаща офицера — зеленоватого, но с коричневым тараканьим отливом — крепкий животик.

Дверь отворилась, и в щель просунулось гладкое розовощекое рыльце, улыбочиво узнавая товарища начмеда. Институты брезгливо сморщился и, подавая Пал Палычу с Алешкой знак выходить, ловко увернулся от угодливо подставленного рыльца.

Дверь морга распахнулась уже настезь, обнаруживая пышущего силой, сытостью и отчего-то угодливого молодого здоровяка. «Милости просим! — слащаво пропел санитар навстречу всей унылой троице.— За солдатиком своим приехали? Собираете в последний путь?» Институты заявил: « Попрошу без увертюры. У меня мало времени». «Да сколько там с одним-то делом, честное слово! — удивился всей душой санитар.— Даже не сомневайтесь. Все сделаем в один миг. Гробик с костюмчиком при вас? Маршфетить будем?»

«Это у вас тут частная лавочка, но не у нас! — возмутился крикливо начмед.— У нас свои правила, своя постановка вопросов». «Как же это без гробика?.. Не пойму...» «А кто вам сказал, что вы должны что-то понимать? Это совершенно не ваше дело». Санитар сник, приуныл: «Раз так, разбирайтесь сами». «Вот и разберемся... и без посторонних лиц... Сопроводите моих людей на место...— И вдруг начмед громко назвал того, о ком помнил все это время: — Мухин Геннадий Альбертович. Поступил на экспертизу десятого ноября. Экспертиза проведена. Бумаги из прокуратуры все со мной, так что будьте любезны незамедлительно выдать тело». «А куда ложить станете Мухина?» — еще печалился здоровяк. «У нас есть все, что требуется,— напыжился начмед и,

наверное, желая воодушевить своих замерших работников, призвал их с поэтическим восторгом, как вожатый: — Ребята! Время не ждет! К носилкам!»

Пал Палыч озирался по сторонам, будто что-то искал, чтобы утолить голод. Алеша чувствовал волнение и неловко подхватывал все движения за своим напарником, когда брался за носилки, оказываясь не ведущим, а ведомым. Свет померк, они шагнули в темную промозглую дыру, со дна которой тянуло сквознячком все теплее какое-то нежитье. Надо было согнуться, чтоб не ушибить голову о давящий и округлый череп уходящего в глубину свода. Прохода хватало только одному человеку, а двое уже бы не разошлись. Спускались поэтому сцепленные, как неволей, друг с дружкой. За спиной Пал Палыча ничего не было слышно. Под собой Алеша чувствовал дощатый, пружинящий настил с какими-то порожками, о которые неожиданно споткнулся, обмер... Носилки уперлись в Пал Палыча, что продвигался невидимо впереди, и он со злостью отпихнул их обратно. Этот чужой ощутимый тычок в живот заставил Алешу все понять и поставил на шаг.

Дно было уже твердокаменным, гулким. Что-то теплилось, плесневело и живо откликалось на каждый звук. Глаз ухватывал в просвете только пройденный туннельчик — теперь он задирался вверх и было видно, как тянулось к дневному свету поднятое от настила скопище пыли, над которой легко витал светлый призрак воздуха, что там, наверху, был холоден и сух. Но через мгновение Холмогоров очутился в помещении морга и увидел то, отчего взгляд его смерзся, оледенел. Вход в это пространство открылся, как тайник: казалось, отслоилась часть поросшей прахом стены, обнажая зияющую бледной холодной синевой зыбкость огромного зала. Белые кафельные стены и полы отражали белого накала мертвенный плоский свет, режущий как по стеклу.

Холмогоров никогда в жизни не видел покойников, не бывал на похоронах. Зал, обложенный с пола до потолка плитками кафеля, каждая из которых, как фара, излучала свой иссиня-белый свет, половиной пустовал — по-хозяйски, для порядка, — тогда как всю другую уплотняли иссохшие ожидающие нагие тела, правда, тоже в каком-то порядке... Какие-то лежали на каталках: кто по одному, кто по двое валетом, кто один на другом. Таких груженных каталок было штук двадцать. В углу ползла на стену уже свалка: все там было сгружено прямо на пол, на брезент, и покрыто, как чехлом, брезентовым полотнищем, но с края, где брезента не хватало, торчали то сиротливая рука, то дровни ног. Алеша расслышал сквозь гул в ушах назойливое: «Мухин... Мухин...» И увидел, невольно обернувшись на этот зов, что шагах в двух от него — так близко — стоял как ни в чем не бывало начмед и, только чуть кривясь от неприятного запаха, снова сутяжничал.

Пал Палыч оглядывался в морге с холодком человека бывалого, но и с любопытством. И, встречая обращенный на себя Алешин взгляд, тут же указывал куда-то удивленными глазами, молча по-свойски обращая на что-то его внимание. Ужас простыл, глаза привыкли к восковым безликим фигурам, но Холмогоров слепцом водил по сторонам головой и удивился только тому, что было слышно. Совсем рядом бодро, звучно каркали два голоса, поссорившиеся, как вороны, среди хора голосов, сосредоточенно молчащих о своих смертях. Столько наготы человеческой заставляло его думать отчего-то о бане. Чудилось — мороженный этот зал когда-то и выпустил банный пар. Но там, в банях, где орущие от всего, как от щекотки, люди являлись гольшом из пара все равно что младенцы, было до блаженства легко без одежд. А здесь ни одно из этих неживых тел больше не могло ощутить той блаженной легкости, и были это, наверное, уже не люди. Алеше стало удивительно ощущать себя посреди их вопию-

щей наготы спеленатым в шинельку да еще и в мундир, а потом одежда на нем вдруг свинцово отяжелела и почудилось противно, что весь покрылся, как обезьяна, рыжей шерстью — начесом рожим с шинели.

«Мухин... Мухин...» — звучало снова и снова под сводами этого зала, где некому было, однако, скорбеть.

В зале похоронную их команду, точно родственников покойного, соболезнуя, поджидал еще один санитар, у которого здоровяк, встречавший их наверху, оказалось, был на посылках.

Дядька находился в самом расцвете сил и выглядел еще здоровее своего приспешника. Из-под белого хирургического колпака, маскирующего не иначе лысину, простецкое, расплющенное пьянством лицо его украшали мужественные седоватые бачки. Должно быть, он слышал через трубу тоннеля переговоры своего поверенного с начмедом и на что-то существенное уже не надеялся. Институты принял мгновенно такую ж скульптурную позу, только презрительную, скрутив также в узел натруженные ручищи зубодера, и принялся второму санитару с презрением диктовать его обязанности, требуя отдать тело «военнослужащего Мухина».

Но великодушная улыбка, обнажающая ряд белоснежных зубов, похожих на свиные хрящики, так и не сходила с лица пожилого степенного санитаря. Ощущая себя в белом хирургическом колпаке медицинским работником, он взирал невозмутимо на Института. «Так, значит, говоришь, Мухин? А ошибки нету? Тот он Мухин или не тот? Это нам и важно удостовериться, потому что так, с кондачка, можно впасть в ошибку». «Вот сопроводительный лист! Вот какой Мухин!» — возвышал голос Институты, но обладатель парадного бюста оставался долгое время неумолим. «Документ — это, конечно, хорошо. И если Мухин там у тебя в документе числится, то выдать тело умершего его родственникам или товарищам — это наша задача. Но ты, начальник, эту задачу нам превращаешь в уравнение с тремя неизвестными. Неизвестное первое: где гроб? Неизвестное второе: кто у нас родственники? И, в-третьих, где уважение к усопшему?! У нас здесь все такие, какими их смерть застала, а они про нее не знали, не прихорашивались, так и где уважение — вот на что мы не слышим от тебя ответа. Документ, он, конечно, документ. Важно, конечно, чтоб и документы были исправные. Но ведь у нас каждый тут, кто приезжает, — с документом, а никогда от нас так-то своих не забирали. Вот я и спрашиваю еще раз: тот это Мухин или не тот? Ты-то ему кто будешь? Мы-то Мухиных обычно только Мухиным выдаем. А то приедут к нам завтра Мухины, скажут, выдайте — и с уважением, и чин по чину, — а мы вон с Коляшей хватимся да только документ твой и найдем вместо ихнего родного человека».

Институты съезжился и умолк, понимая, что на голос здесь не возьмешь, а наглость в этих людях тем сильнее, чем громче им пенять на обязанности. Дядька, чувствуя, что сразил врачешку, тоже разочаровался, потому как все равно ничего с этого не поимел. Тело надо было выдать. «Ладно, мы не жадные... — не стерпел этой смертной скуки санитар морга и произнес буднично, будто о потерянной вещи в бюро находок: — Поищем, так найдем». И оба здоровяка принялись за работу. Они молчаливо стали обследовать каталки и вошли в их гущу как в воду. Дядьке было по пояс. Он плавно разводил каталки руками — те бесшумно расплывались лодочками — и выжидающе заглядывал в эту прозрачную для себя мертвую воду, как ловец. То же самое делал и его напарник, однако нетерпеливо, без чутья. На каталках, наверное, покоились те, кто прошел экспертизу и уготован был к выдаче. Каждый вспорот от горла и до паха, как потрошат рыбу, но после зашит — и мертвецкий этот шов зиял незаживляемой раной.

Чудилось, что люди были убиты еще раз — расчетливо, безжалостно и теперь уж навечно. И не отвращение, а ужас от содеянного с ними рождал в душе что-то кровное, родное с каждым погибшим человеком. Холмогоров пугливо почувствовал, что должен тоже вот-вот погибнуть, как погибли все, но в этот миг раздался дурной возглас напарника, который, словив нужную бирку, отчего-то распираем был то ли гордостью, то ли удивлением: «Вот он! Мухин! Тот самый!»

Санитары проводили каталку на свободное место и с внушительным видом отошли в сторонку, намереваясь поглазеть, что же теперь будут без них делать. Пал Палыч неуверенно тронулся вперед. Остановились с носилками подле каталки — и снова застыли, не понимая, как дальше быть. Алеша глядел в пол. Институты засуетился меж них, подучивая: «Ну же, за руки, за ноги... Раз и два!» Пал Палыч буркнул: «Без рукавиц не буду». «Голубчик, ну что за капризы? Ответственно, как врач, заявляю, вашему здоровью ничего не угрожает. И товарищи санитары как медицинские работники подтвердят...» «Санитары, может, молоко получают за вредность. А мне интереса нет. Без рукавиц не буду». Начмед страждущим дурным голоском воззвал, обращаясь уж неведомо к кому, как если бы заблудился: «Товарищи! Где можно получить рукавицы? Здесь есть квалифицированные специалисты?»

Старшой ухмыльнулся не без ехидства, но сжалился, довольный, что без него-то все же не смогли обойтись. Мигом появились рукавицы. Холмогоров с Пал Палычем положили мертвое тело на носилки и понесли их в предбанник. Там, оказалось, было подобие узкоколейки, чтоб вытягивать наверх смертный груз. Старшой по-свойски называл это устройство «труповозкой». Носилки приладили на каталку, похожую своим упрямством на ослицу. Намучились в полутьме, вправляя в колею ее колесики, — она брыкалась, будто не давала себя подковывать. «Ну что за чернуха кругом? — раздался страдающий голос Института. — Где же свет?» «Свети, раз орешь, только этого никогда не получится. Света здесь нет потому, что не сделали, а почему не сделали, этого уже никто не узнает, — откликнулся старшой. — А ты что вообще увидеть хочешь? Здесь оно все такое, которое белее от света не станет. Или тебе свет для освещения нужен, чтобы под ноги глядеть? Удобно, конечно, приятно иметь лампочку. Но проблема такая: народ шастает туда-сюда. Умыкнут по доброте или со зла кокнут, только оставь. Свет у нас там и пропадает, где люди есть. Ну хоть стой со свечкой. Ты вот будешь стоять? Давай зарабатывать, мы с Коляшей это место в охотку уступим и свою копейку за труды сдадим, свети и охраняй. Мы с ним во всем за удобство жизни, и если идем по этим доскам, как слепенькие, то всегда рады прозреть и ходить со светом. Хоть рожей в грязь можно удариться и со светом — главное, что у человека в душе».

Начали восхождение по дощатому помосту — надрывно толкая перед собой каталку, тесня друг дружку в узком тоннеле, спеша вырваться из тоннеля, содрогаясь от визга колесиков. Было душно, страшновато. Но это длилось не вечность, как могло почудиться, а всего несколько мускульно-ощутимых мгновений. Каталку толкали рывками. Она упиралась всеми четырьмя своими копытцами. Каждый рывок, каждое мгновение давались судорожным напряжением всех мышц. Когда вырвались на свет, на воздух, то обрели спасительно самих себя, ощущая такую легкость тошнящую, такую слабость во всем теле, будто опустились с небес на землю. Когда погружали носилки в машину, старшой обругал: «Дура, ногами вперед! Человека же грузите, а не полено. Надо уважать, ему на тот свет ехать». Пал Палыч угрюмо послушался. Носилки развернули и сунули в кузов по научению санитара, отворачивая глаза. Когда управились и

можно было отъезжать, Пал Палыч вдруг отказался сесть за руль. Голос его зазвенел обиженно-надрывно, как у ребенка. И он, все равно что ребенок, распался в гнев, выкрикивая неизвестно кому: «Ну куда с такими руками ехать? Трупешник таскал, а теперь баранку облапать и в светлый путь?»

Санитары с одинаковыми улыбками взирали на этот бунт, но сжалились и повели служивых мыть руки. Прошли тем же путем. Старшой повел к не приметной дверке, за которой оказался прохладный пустынный коридор, куда выходили двери всех здешних подвальных помещений.

Вошли в одну из них и очутились в ухоженной жилой комнате — с телевизором, холодильником, занавесками на окошке, старым диваном и креслами, — но похожей из-за обилия развешанных повсюду диковинных инструментов да приспособлений на мастерскую. Пока они мыли руки, старшой с напарником готовились обыкновенно выпить и закусить. «Где все же гроб его находится? Кто его хоронит, Мухина? Вроде служивый, а почему увозите как бесхоз? Мы с Коляшей думали, защитника родины покоили. Думали, закатят похороны, нам чего за усердие перепадет. Хотя дело ясное, что темное, к нам на экспертизу просто так не везут. Эх, ну молчите, молчите. Давайте хоть помянем молодого человека. Налю по грамулечке, начальник не услышит...»

Пал Палыч отпрянул: «За этого пить не буду». «Что? Знакомый?» — спохватился старшой. «Все они мне знакомые, — ответил обиженно. — Всех, знакомых этих, на кучу вашу отвозил». «Ну и ну, даже помянуть своего же воротит... Ну тогда хоть пожуй, рулевой. Хватайте колбасу». Пал Палыч с достоинством сделал шаг к столу и взял в руки один кругляшок колбасы, лежащий медалькой на четырехугольнике черного хлеба. Алеша от давно забытого духа колбасы качнулся в ее сторону, но взять хоть кусочек не смог. «А ты что лыбишься?.. Ну и нравы у вас, озверели вы там в своем обществе, как же вы так ненавидите друг дружку?! Колбаса при чем, ее-то за что?!» «Я не люблю колбасу», — произнес виновато Холмогоров. И слова его то ли изумили, то ли ужаснули санитаров.

Младшенький почти вскрикнул от неожиданности: «Разве можно прожить без колбасы?!»

Алеша не знал, что ответить, заговорил вкрадчиво, осторожно сам старшой: «Насмотрелся, мамочка, небось, ему и жизнь противна, а не то что колбаса. Ясно. И на живых людей смотреть не сможет. Но ты думаешь, тайну какую страшную узнал, до корней докопался? Вот мы с Коляшей и колбасу кушаем, и жизни радуемся, а почему? Живой — так живи. Пока живы, будем кушать и пить, любить и радоваться. Помру, попаду на кучу — ну и потерпите, что несколько деньков повоняю, ну и простите, что маленько доставлю хлопот. У нас курорт... Что, разве корчи какие видишь или вопли слышишь, с которыми умирали? Тишина, покой... А сколько людей, может, молили о смерти, чтобы от мучений избавиться... Ну вот, гляди, избавились... Глаза воротишь? Это себя боишься или жалеешь. А ты не бойся, глянь-ка на смерть с уважением, с душой. Страшна бывает жизнь. И не мертвецы страшны, а может, когда они людьми были. Это смерть на взгляд грязна, а снутри она чистая, как слеза. И зря ты, мил человек, колбасу брезгуешь покушать. В ней смысл жизни, какой-никакой, а тоже есть, и раз на свет родился, обязан хотя бы из уважения и благодарности вкушать. Помнить».

Пал Палыч взял с усмешкой еще несколько кусочков колбасы: «Не возражаете? Тогда вкушу за него этого смысла! Колбаску копченую люблю, помню».

Когда выбрались тем же путем на воздух, он дожевывал колбасу и, только затворилась за их спинами дверь морга, сообщил Холмогорову навеселе: «Семейка кулацкая, хитрющая. Радуйся, радуйся, говорят, а у самих-то дважды два —

всегда четыре. С каждого жмурика как с барана стригут, чего не радоваться. Ряхи отъели, тоже радостные. И водка у них, и колбаса копченая. Это учудил ты, что отказничал, раз давали. Хотя бы пошамкал, какая она, со смыслом-то, на вкус».

Пал Палыч опять терпеливо рулил на узких коротких дорожках... Уже на выезде из лабиринта чуть было не проехали мимо другой санитарной машины. Начмед опять вскрикнул, толкая его под руку: «Голубчик, притормози! Стоп, стоп... Вот так встреча!» Распахнул дверку, радостно выскочил.

Из другой санитарной колымаги, которая тоже застопорила ход, вышел, радушно простирая руки, давний хороший знакомый — тоже врач в погонах...

Райские яблочки

Санитарная машина колесила по Караганде. Начмед на передке затаился, не подавал голоса, Пал Палыч, сидя за рулем, глухо отгородился спиной. Алеша в одиночку нес только себе понятную службу. Старался, сидел на своем насесте с осанкой караульного пса, которому доверено стеречь, а в голове жужжала назойливо чужая неприкаянная фамилия. Покойник просторно вытянулся на носилках. Из-под шерстяного одеяла торчали две ноги. Нога... ноги эти сами лезли в глаза. В каждой из них (отчего-то именно так, по отдельности) было что-то указующее, сильное, даже властное. Алеша подчинился, глядел, не отводя глаз: так если тонут, если утащило с головушкой, то руку еще вздергивают судорожно из свинцовой смертной воды... А из-под одеяла смертного, тоже на вид свинцового, как из-под воды, каждая эдак по отдельности торчала, налитая смертным воплем, она, нога, растопыря толстые обрубки пальцев, которыми нельзя ни за что ухватиться, даже если захотеть. Чудилось, что это сама смерть указывала из-под рогожки солдатского одеяла, и Холмогоров уже трусовато цеплялся за свою скамейку, чтобы не соскользнуть.

Приехали. Важно-белый корабль, с тысячью, если и не больше, аккуратных одинаковых окошек плыл по воздуху, разрезая холодную хрустальную гладь парков. Этот корабль в его уютном плавании сопровождало еще с десяток белых аккуратных корабликов. Все дышало покоем и обслугой, даже за каждой хрустальной люстрой деревца здесь был, наверное, отдельный уход. «Воздух, а воздух какой... Какая прелесть!» — воскликнул подобострастно начмед.

У будки, подле раздвигающихся на манер кулис массивных ворот, несколько контролеров, опрятные, как малыши на утреннике, заставили себя долго ждать. Это промедление внушало: попасть сюда можно, только забыв о собственной важности, что это и есть самое важное — получить разрешение на въезд. Наконец, один из контролеров прошествовал к убогой санитарной машине: «Пропуск...» «Нет, нет, голубчик, мы не здешние — у нас командировка. К вам в нейрохирургию был откомандирован наш рядовой, а теперь закрыть бы надо его командировочку и вещички забрать». «За трупом, что ли?» — спросил контролер напрямик. Институт заволновался: «Извините, за вещичками, а тело на прошлой неделе мы от вас забирали для судебно-медицинской экспертизы. Сегодня у нас ритуальное мероприятие, товарищ, и это большая разница, если вы, конечно, понимаете, о чем идет речь. Сегодня все должно быть отправлено в Москву, если вы, конечно...»

Контролер равнодушно отвернулся и гаркнул на пост: «Ваня, труповозка приехала, пропусти!»

Институтов, когда машина наконец въехала на охраняемую заповедную территорию, взорвался от негодования: «В медицинском учреждении дали место у ворот, а уже хозяевами себя чувствуют!.. Кто они такие, все эти люди без медицинского образования? Ну кто, спрашивается?! Всю свою жизнь посвящаешь медицине для того, чтобы в итоге какой-то хам, который не умеет даже писать без ошибок, хозяйничал у ворот!» С теми словами он одиноко и гордо подсунул голову навстречу легкому ветерку и, обдуваемый им, издавая звук, похожий на храп, вобрал в себя раз-другой здешний воздух.

Санитарная машина медленно подъехала к одному из госпитальных белых корабликов, но и он был в сравнении с заштатным лазаретом подобен исполину, имея свой отдельный изумрудный садик. Это строение, окруженное уже приготовленными к зиме фруктовыми деревьями, недотрогами яблонями и вишнями, встречало прибытие смертного груза с такой прохладцей и так отстраненно, словно вовсе не было создано для таких встреч.

Институтов с воодушевлением ловил ноздрями целебный воздух. Они вошли в холодно-светлый приемный покой. Оседлав кушетку, два медбрата молодецкой наружности азартно играли в поддавки, издеваясь над черными да белыми костяшками шашек, отвешивая щелбаны, пиная по доске, чтоб только скорее проиграться.

Когда появился Институтов, молодцы быстро угомонились. Один из них быстро оценил мелковатого человека в пожухшем офицерском плаще и уверенно перегородил путь, задавая нарочито-учтиво вопрос: «Ду ю спик инглиш? Шпрехен зи дойч? Парле ву де франсе?» Институтов расстроился, но был так же учтив, хоть и понимал, наверное, что столкнулся с обслугой, состоящей здесь целиком из находящейся на излечении солдатни. «Голубчик, я к заведующему...» Служка не повел бровью. «Йес, натюрлих, говорите, я вас слушаю. Андестенд? Ферштейн?» — произнес словоохотливый молодец уже вызывающе невозмутимо. «Я с телом, то есть с делом... Если позволите, молодые люди, на этот раз, очевидно, потребуется ваш непосредственный начальник», — скороговоркой, холодно зато объяснялся Институтов, волнуясь, как бы служба совсем не уронила его авторитет. Но молодец как раз не поспешил с ответом. Он изумился и, обращаясь даже не к начмеду, а к напарнику, воскликнул: «Дас ист фантастиш! Жорж, к нам приехал ревизор!» Дружок отозвался грубовато, недовольно: «У меня перерыв на обед, не пойду я никуда. Жрать хочу. Серж, сходи в столовку, возьми кефира. Тебе Антонина даст, ей ты нравишься. И еще беленького батон, гы-гы-гы... А я Светланку навешу, сахарком разживемся». «Светка дрянь, девка грязная, большого мнения что-то о себе стала, обойдемся без ее сахара, пусть помучается... К любезной моему сердцу Антонине пойдите сами, скажите: я дурак, болван, хочу кефира и готов вас за это осчастливить, мадемуазель. Ну а вы что стоите? Вам же ясно сказали, русским языком: проходите, пожалуйста, Иммануил Абрамович у себя в кабинете, прямо вас и ждет. До свидания, ауфвидерзейн, адье, хаудуюду, буэносдиос, ариведерче!»

У кабинета с табличкой «Заведующий отделением патологоанатомии» опять сидели два молодца — казалось, разительно непохожие на тех, других, потому что, уткнув носы в толстенную медицинскую книгу, только тем и занимались, что с умным видом зубрили одну из ее глав. Но хозяина на месте не было. Институтов продолжил поиски. Блуждая по отделению, они прошли комнатами ожидания и снова повстречали двух молодцов, как если бы они подменили тех, что зубрили книгу у запертого кабинета: на этот раз двойняшки с усердием работали, облачая рыхлое, мучнистое старческое тело, лежащее на стальном столе, в пепельно-серый, с золотыми погонами, генеральский мундир. Процедура

подходила к завершению: медбратья нахлобучивали на сухонькие цыплячьи ножки почившего старика брюки с лампасами. Когда очутились в зале, где, наверное, должно было вскоре происходить прощание с генералом, молодцы уже и здесь были на виду, равняли рядами стульчики перед постаментом для гроба, заслуживая слезливые ласковые взгляды родственников покойного. Все это происходило в уютном по-домашнему зале, где пол был застлан ковром, так что звуки шагов мягко глохли, будто по нему ходили в тапочках.

Закруженный от хождений душевного вальсирующего напряжения, Институты свободно плавал в здешнем голубоватом ультрафиолетовом воздухе. В конце концов они очутились в помещении, где пол и стены были выложены кафелем: это была, очевидно, покойницкая, но стерильной белизны, бережливо рассчитанная, как и все здесь, только на несколько лежачих мест. Лавки бетона, и верхние, и нижние, пустовали. Восемь вымытых бетонных полатей крепились в два яруса к стенам, свободное место у стены с небольшим чистым окошком занимал опять же сверкающий стальной стол, где все отражалось как в зеркале. Молодцы, что встречались повсюду, опередили их появление и теперь: посреди покойницкой, ничего не замечая вокруг себя, носились как угорелые от стены к стене, пиная скукоженный ботинок, заменяющий мяч. По всему было видно, что в этом укромном местечке устроен был их собственный спортзал: подобие штанги выглядывало чугунным рылом из-под лавки, в дверной проем незаметно была вмонтирована перекладина для гимнастических упражнений.

И уже не померещилось — это были те же самые медбратья, что звали друг дружку еще в приемном покое Сержем и Жоржем. Могло показаться, что они-то и попевали всюду, хозяйничая в исполинском строении, придумав то ли в издевку, то ли для приличия какого-то Иммануила Абрамовича.

От распаренных беготней матовых тел, обнаженных до пояса, шибало слащаво-удушливым запахом одного и того же одеколона, что пропитывал молодцев насквозь, как бисквит. Волосы у обоих опять же на один манер были забраны за уши, любовно зализаны и лоснились чем-то жирным, похожим на ваксу, так что головы сверкали на свету, как начищенные сапоги. Тот, что верховодил, казалось, был моложе напарника. Когда один из молодцов истошно и сладострастно заорал «Го-о-ол!» — Институты, чье присутствие не замечали, зычно по-судейски возвестил: «Отставить, футболисты! Прекратить паясничать. Вы еще будете объяснять Иммануилу Абрамовичу свое возмутительное поведение. У вас есть совесть или нет? Тоже мне братья Карамазовы... У меня мало времени. Я не намерен терпеть козлиные игрища двух избалованных наглых юнцов». Медбратья потухли, нехотя напялили больничные робы, такие же, в которые облачаются хирурги, — наверное, и донашивая эти голубые операционные блузы после врачей. Один выжидающе насупил, а другой, что был поменьше ростом и стройнее, холодно сторонясь Институтова, ответил: «Мы не ваши. Нам может приказывать только Иммануил Абрамович, а вы, товарищ, наверное, с Луны свалились». «Товарищ заведующий! Иммануил Абрамович!» — воззвал начмед. Смазливый юноша смутился и поспешил загладить свою вину: «Ну зачем кричать? Что вы так волнуетесь? Сейчас мы все организуем... Сильвупле...» Он внушительно, ласково взглянул на Институтова, и начмед неожиданно тоже ответил ему какой-то расслабленной улыбкой.

Еще через несколько минут смазливый статный служака и похожий на таракана, напыщенный зубодер прониклись такой взаимной приязнью, что уже вдвоем вальяжно распорядились в покойницкой. «Сергей, голубчик, нам понадобится внести тело...» — нежно, но и чуть свысока звучал голосок начмеда. «Не волнуйтесь и отдыхайте», — отозвался юноша глубоким, томным баритоном и

кошачьей хищной походкой проследовал через всю покойницкую отпирать черный ход, неся, будто яичко на подносе, отрешенное мужественное личико; при нем оказалась связка ключей, которая крепилась к поясу при помощи карабина.

Пал Палыч подогнал санитарную машину к черному входу. Труп внесли, еще прикрытый одеялом, и свалили с носилок. Ноша стукнулась о зеркальную гладь стола. Глядя на заплывшую грязью спину с выпяченными, как цыплячьи крылышки, худющими лопатками, Серж вскрикнул от неожиданности: «Наш клиент! Надо же, кто бы мог подумать... Отчизна не забыла своего героя, какие люди! Помню-помню, зовут нас с Жоржем в оперблок. Разведка доложила: боец окочился на поле боя. Шальная пуля, с кем не бывает. Скальпель хирурга не коснулся тела героя. Врачи сожгли родную хату — ура! ура! — и родина щедро поила березовым морсом, березовым морсом... Ха, мы с Жориком тоже не спешили, у нас, пардон, был амур с одной из местных дам. И вот приходим, культурно кладем на катафалк, культурно общаемся о культуре, о литературе, о прекрасных дамах, ехали-ехали... И вдруг клиент прибывает обратно, я восхищен, браво! Жора, по какой же речке ты сплавил это бревнышко? Воистину, говорю я тебе, мой наивный пожиратель кефира, есть реки, которые текут вспять!»

Медбратьев распирало и давило от хохота. Они хватали друг друга, точно колошматили, в покойницкой плескался их резвый, счастливый смех. Стоило Пал Палычу угрюмо буркнуть: «Вам бы тут лежать, валетиком», — как медбрата, выпучив от восторга глаза, ничего не в силах сказать, забились в новом припадке смеха, наверное, живо воображая эту картину.

«Ну что же, рядовой Мухин, похоже, оставил неизгладимый след в памяти Сергея и Георгия», — поспешил заявить Институтов в надежде, что медбрата уймутся. Но раздался новый взрыв смеха.

«Глохни, ну вы, мурзилки. Или давай вышибу слезу. Люблю глядеть, когда плачут», — возвысил голос Пал Палыч.

Серж мигом унял смех и бросил в лицо чужаку пару фраз: «Я рассказываю для людей с чувством юмора. Какого полета птица этот ваш человекомух и какой он там подвиг совершил — нам с Жоржем плевать. Такие Мухины мрут как мухи, чуть что — и готов клиент». «Всегда готов!» — ответил лошадиным ржанием его напарник, но, прерванный отчего-то мстительным взглядом друга, сомкнул рот.

«Стало быть, наш Мухин — ваш клиент», — миролюбиво изрек начмед, желая подольститься к затаившимся медбратам. «Ну, не знаю... — отозвался лениво Серж. — Сильвупле...» Начмед осторожно продолжил: «Я люблю, конечно, молодые шутки, задор, смех. Сам когда-то был молодым и тоже, так сказать, не боялся смерти, дерзил ей в лицо. Но, как гласит русская народная мудрость, хочешь кататься — умей и саночки возить. Хватит, посмеялись — пора, друзья мои, приниматься за работу. Приводите своего клиента в порядок. Работа прежде всего!»

Жорж потрянул головой, похожий на жеребца, сладко зевнул во всю мочь. «Нам нельзя, мы еще маленькие...» — произнес вместо него Серж. Оскорбился, осанисто вытянулся — и неожиданно вышел прочь. Институтов пребывал в замешательстве недолго: понукаемая, как скотинка, в покойницкую забрела санитарка — потухшая сутулая женщина в медицинском халате, что мешком (казалось, и шитый из мешковины) вис на ее плечах. Медбрат еще имел оскорбленный вид, но не удержался и произнес за ее спиной: «Прошу любить и жаловать... Просто крыса. Вся в белом. Ручная. Ну что встала? Работай. Засаекаю время, ставишь мировой рекорд».

Она обернулась и посмотрела на своего погонщика с преданностью, готовая почему-то исполнить каждое его желание. Серж пугливо увернулся от ее взгляда. Он раздобыл где-то магнитофон, корпус которого был весь заматан изолентой, отчего казался раздувшимся, будто щека с флюсом. Звуки из него донеслись тоже наподобие зубного скрежета. Вдруг он издал вопль, точно от приступа боли, и ноюще снова то стонал, то взывал, то скрежетал. Медбратья уселись на лавку, увлеченные новой игрушкой. Серж ревниво не выпускал магнитофон из рук, будто баюкал. Они что-то мурлыкали, болтали свободно ногами, сидя на бетонной лавке, как на качелях, да не уставали — клали ритмичные поклончики.

Санитарка голодно, светло глядела в их сторону и работу начала, вода руками, как сонная, держа в одной резиновый шланг, в другой — ветошку. «Отойдите, а то я вас всех забрызгаю», — сказала с заботой, заглядываясь так же простодушно и на незнакомых, как будто лишних здесь людей. Но то, что вода разбрызгивалась, ей было явно приятно. Она только и желала обратить на себя внимание, оказаться нужной. Хоть при взгляде на нее поневоле охватывал за что-то стыд. Лет ей еще не могло быть так много, чтоб глядели, как на старуху, но набрякшие щеки, хилые губки, вылезшие брови, морщины — все было старушечье. И даже дряблый заискивающий голосок.

Отмыв незаметно половину, взялась за другую, орудя шлангом да ветошкой. Старалась, одна переваливала мертвое тело на спину, как манекен, хотя в ее сторону никто не глядел, и, кажется, тоже из старания понравиться, сочувственно-громко прокудахтала: «Ой, а тут не отмывается! Руки черные, ну как у негра». «Она загар отмывает! Никогда загара не видела, тупая... А человекух где-то загорал, на солнышке нежился!» — воскликнул Серж. «Ой, а личико какое красивое, никогда такого не видала...» «Влюбилась, крыса? Крысам тоже нужно любви? — вскричал Серж с азартом, поймав цепко ее жалостливый взгляд. — А что, он еще хоть куда парень, смотри сколько золотца намыла. Замуж бы за такого, а? С первого взгляда любовь или давно приглядела?» «Знал бы человекух, — неуклюже подхватил Жорж, заикаясь, — что девушки в него влюбляются!» «Крыса в муху влюбилась. Смотрите, это любовь, сейчас сольются в поцелуе... Bravo!» «У них это, платоническая, как у Чапаева с Анкой!» — гоготнул Жорж. Институты брезгливо возразил: «Товарищ санитарка работает, вкладывает в свою работу душу, что за шутки?» «Весело, что кто-то помер, а они живут, что ей вон жалко кого-то, а им никого не жалко», — огрызнулся Пал Палыч, не пряча горящих нелюбовью глазищ.

На этот раз Серж не обратил внимания на чужака — только еще громче завопила музыка, так что в металлическом дикобразьем шуме растерзался даже их собственный смех. «Пидоры!» — гаркнул Пал Палыч. Медбратья резво соскочили с бетонной лавки и, взведенные музыкой, что вопила из магнитофона, согнутые и ощеренные, наподобие двух озлобленных обезьян, ринулись в драку. На пути их, однако, вырос Институты, тут и обнаруживая особенную силу рук: одной рукой обхватил он Сержа, другой — Жоржа и толкнул обоих так, что молодцы обескураженно очутились снова на лавке. «Ну что сказал бы Иммануил Абрамович? Голубчики, я не понимаю, вы в своем уме? С помощью грубой физической силы и мерзких оскорблений свои отношения выясняют, простите, только закоренелые преступники», — говорил пугливо начмед.

Магнитофон надрывался, не утихал. Медбратья, хоть и отброшенные на место, хозяйчиками взирали с бетонной лавки. Серж пялился, в издевку изображая влюбленность, на врага — с той нарочитостью, как если бы затеял игру. Пал Палыч яростно впился взглядом в смеющиеся, по-кошачьи непроницаемые глаза, что нисколько при этом не смутились, — настоящее, казалось, даже не от-

ражалось в них. Медбрату нравилось то, что происходило между ними. Пал Палыч начал чувствовать в груди противную дрожь, как будто холодная склизкая толстая жаба забралась прямо в душу. Глаза его стали выпучиваться от напряжения, и, помимо воли, случилось раз и два, что он моргнул, не выдержав самого простого в этой игре испытания. И после каждого раза медбрат изображал губами воздушный поцелуй. Пал Палыч не вытерпел, сдался, потупил глаза. Серж продолжал глядеть на него, но серьезно и пристально, делая вид, что изучает, отчего тот мучился, будто другая воля, сокрытая в нем, но как не своя, вынуждала подчиниться этому чужому презрительному взгляду.

В покойницу вдруг заглянул вполне живой и, казалось, посторонний человек: в меру упитанный, с рыжеватой ухоженной шевелюрой и шелковистой бородой, расцветшей на полном жизнелюбия лице, и даже умные, все понимающие глаза — две спелые ягоды — обильно источали сладость и свет плодов природы. «Сергей... Георгий... Мальчики, потише!» — то ли пожурил, то ли выскал, уже порываясь исчезнуть. Воцарилась нежданная тишина, где стал слышен шум воды. Серж и Жорж стояли смирно, почти навывтяжку. «Здравствуйте, Иммануил Абрамович!» — успел пропеть смазливый голосом юноша. «Ну ничего страшного, ничего, нестрашно... Началось прощание, только соблюдайте тишину.— И обратился ко всем присутствующим: — Здравствуйте, товарищи, началось прощание, я бы просил не шуметь...»

«Здравствуйте!» — воскликнул ответно начмед. «Очень рад, здравствуйте, здравствуйте...— повторился без промедления заведующий и охотно поздоровался с каждым из присутствующих в отдельности, кажется, даже с мертвецом, что возлежал на помывочном столе в гуще этой мирской суеты.— Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Здравствуйте... Примите мои соболезнования... У нас началось прощание, к сожалению, ничем не могу помочь, ждите своей очереди. Сергей, дорогуша, проследите за порядком».

«Товарищ заведующий! — взмолился Институт. — Только один вопрос!» «К сожалению, прощание уже началось, с вашим выносом тела придется повременить, ничем не могу помочь...» «Вы можете, можете помочь! К вам на баланс поступил некоторое время назад наш рядовой — тело присутствует здесь и сейчас. Вот беру тело на свой баланс, а вещичек не вижу до сих пор. Должны были вещички подвезти к вам же, ну так сказать, во что по такому случаю одевать. Вещички на балансе там, где он служил. Парадный мундир, галстук, ботинки — все для ритуального мероприятия. У вас зафиксирован был летальный исход, от вас и должен как новенького забрать. Отправляю в Москву! В ноль-ноль часов двадцать пять минут. Промедление, простите за каламбур, смерти подобно!» «Понимаю, понимаю, коллега... Сергей, ну выдайте, пожалуйста, эээ... нарядную одежду, если я не ошибаюсь, помогите нашим гостям».

«Прелестные слова! Иммануил Абрамович, вы мой спаситель. Еще ведь обязали к черту на кулички за гробом ехать — гроб на другом балансе. А поезд тоже ждать не будет, опоздай хоть на минуту — и тью-тью, прибудет в столицу пустое место. Ах, какое у нас кругом бездушие, какая казенщина! Ну разве это рационально — все в разных местах, а я-то один! Представьте себе: я, человек с образованием выше среднего, отягощенный медицинскими знаниями,— а занимаюсь черт знает чем вместо того, чтобы лечить больных, спасать жизни людей, творить добро! Представьте, с чем я каждый день имею дело... В лазарете, в лазарете, где должно быть хоть как-то стерильно, гадят на каждом сантиметре площади. Воруют все, что можно сожрать. Портят все, к чему прикасаются. И это только самые обыкновенные мыши! А после последних событий в стране просто не знаю, ради чего жить, что ждать от будущего... Мне кажется, все катится в пропасть». Добрейший человек незамедлительно послал Институту

свой тихий сочувственный взгляд: «Ну что вы, коллега, себя надо беречь... На вас лица нет. Медицинский работник — это не профессия, это состояние тела и души. Однако, могу сказать по личному опыту, от меланхолии на этой планете лечит только общение с прекрасным.— И пожелал, удаляясь, почти шепотом, как детям: — До свидания, товарищи, просьба соблюдать тишину».

Заведующий исчез в облачке личной душевной теплоты. На миг в подвале воцарилась первородная гулкая тишина. «Эй, ты не слышала, что было сказано? Бегом за вещами, дура. Шнель, шнель...» — зашипел Серж на ничего не понимающую санитарку, которая под шумок, выкрадывая времечко, все старалась и старалась поставить ему же в угоду рекорд. «Гы-гыде шмотки, кы-кы-крыса?» — сдвинулся вдруг и Жорж, так что жилы по-бычьи вздулись на его шее. Та пугливо пригнулась, бросила на пол шланг, что еще держал ее как на привязи, забыв в другой руке взмыленную ветошку, и, побитая их словами, шмыгнула из покойницкой. Когда ее не стало, молодцы вновь обрели спокойствие и как ни в чем не бывало начали развлекаться болтовней. Казалось, они до сих пор и оставались здесь только ради развлечения.

Сквозь стены просачивалась сторонняя траурная музыка. Густые глуховатые звуки блуждали наподобие теней. Санитарка появилась как-то незаметно, сама похожая на неприкаянную тень. Вместе с ней появилась в покойницкой поклажа в двух худых наволочках.

Институтов схватил узел пожирней, вытряхнул его содержимое на голую бетонную лавку и обмер: из наволочки вывалилась наружу выгоревшая до проседей солдатская гимнастерка да отслужившие, такие же седые, никуда не годные штаны. Все побывало в прачке, вытерпело стирку, но на гимнастерке все же проступало во всю грудь бледно-бурое пятно. Из другой наволочки Институтов извлек гремучие солдатские сапоги, на которых запеклись искры крови, похожие на прожженные пятнышки.

Начмед отшвырнул запачканные кровью сапоги, вцепился в гимнастерку и заскулил, сжимая ее в руках, будто свою же погибшую душонку: «Как это понимать, товарищи?! Должны были парадную форму... на их балансе...» «А так и понимать, облом-с...» — ухмыльнулся Серж. «Все пропало... Ну до чего дошли, сами нагадят и сами же еще раз гадят! — Начмед хныкал и хныкал, как обворованный.— Убийцы... Недоумки... Такое и в Москву!» Но раздался вкрадчивый, сочувственный голос: «Ну ошибочка вышла, а кто не ошибается? Все ошибаются. Прямо в двух шагах от вас, как я вижу, стоит и молчит прекрасное му-му. Берите, все при нем, пользуйтесь, полный парадный комплект, а лично мы с Жоржем ничего никому не расскажем... Мы с Жоржем не варвары... хе-хе...— Он глядел в упор на Холмогорова и уже безжалостно, смотря ему со смешинкой в глаза, повторил: — Чего пялишься, маленький жадный мужичок? Форма одежды спортивная... Человек человеку друг — исполняй».

Начмед в изумлении обернулся к Алеше и тотчас плюхнулся перед ним на колени, запричитав: «Холмогоров, роденький, спасай положение! Отдай, отдай! Еще лучше получишь! Завтра же поедем в этот батальон и выберешь себе самое лучшее, самое лучшее!» Он вцепился мертвой хваткой в полы шинели, словно желая урвать хоть ее клоч для себя и раскачивая Алешку столбом из стороны в сторону. «Раздевайся, закаляйся...» — подпевали где-то за спиной начмеда развеселые медбратья.

«Ну что тебе стоит? — все надрывался Институтов, слыша за своей спиной, точно откуда-то свыше, лишь насмехающиеся алчные голоса.— Сегодня отдашь, а завтра новый получишь, еще лучше. Ну я же не могу с себя снять, да я готов, но это же все белыми нитками будет шито, Холмогоров! Ну где я сейчас все солдатское достану? Где, где?! А сапоги я сам лично отмою... Ну, подумай

сам, разве можно солдата в моих вещах хоронить? Неужели тебе товарища не жалко! Подумай, в чем увидят своего сына его отец и мать. Ну поставь себя на их место, представь, что это твои мама с папой увидят сына вот таким, вот таким!»

Холмогоров очнулся и начал сдавать по одной вещичке на радость начмеду. Тот подхватывал их с пылу с жару да всучивал санитарке, чтоб тут же наряжала другого. Алеша остался без рубашки, а она уже застегивала пуговики на рубашке другому, старалась, напяливала через голову галстук, и зелень мундира скоро все под собой скрыла. Холмогоров, отдав с себя китель, рубашку, брюки, носки, ботинки, остался босой да в исподнем. Пал Палыч отвернулся, чтоб ничего не видеть. У начмеда не поворачивался язык сообщить раздетому озябшему пареньку, что оставаться ему в таком виде тоже невозможно.

«Да вы не брезгуйте, юноша, это все чистое-чистое, давно отстиранное... А сапоги я вам блестящие принесу, еще красивее ваших ботинок! У меня есть, приберегала прямо для вас. И портяночки сделаем. Можно с полотенец старых, вафельных, если желаете потеплей, а могу и понежне, нарвать с простынки», — спохватилась вдруг санитарка и вышмыгнула не иначе за блестящими сапогами. Холмогорова тронул ее родственный, теплый голос, и он беспрекословно начал надевать смертную солдатскую робу. «Ну а теперь запахнемся в шинель, и все будет просто прелестно, прелестно! — бодрился начмед. — Это и называется сварить кашу из топора. Ну что я говорил? А вот и сапожки наши поспели...» В покойницуку вбежала запыхавшаяся счастливая санитарка, прижимая к грудям странного вида действительно блестящую, точно б покрытую лаком, пару диковинных сапог.

«Ой, бежала прямо как угорелая! Вот, пользуйтесь, юноша, не сомневайтесь. Сапоги новые, гляньте, какие блестящие, их офицер играл на трубе в оркестре!» «В ящик он сыграл, а не на трубе!» — бросил со стороны Серж. Женщина вспыхнула, и впервые бледное ее, некрасивое лицо зажег румянец. «Не верьте ему! Все он врет! — бросилась она неожиданно в нападение, прижимая сапоги так крепко к своей груди, будто ни за что б не отдала. — Тот мужчина вылечился и уехал. А сапоги забыл. У него их много было. А эти надевал, когда в оркестре играл».

Все стало ново и зыбко. В покойницкой пережидали все длящееся и длящееся чужое прощание, отзвуки которого бродили кругом теньями, то затихающими да смиренными, то горделивыми да вздымающимися наподобие волн. Тишина, в которой бродили они, поневоле делалась скорбной, так что медбратья не усидели на лавке, и, изображая эту самую скорбь, встали на караул у наряженного в парадную форму Мухина, кривляясь: «Прощайте, товарищ генерал... Товарищ генерал, мы никогда вас не забудем...» Начмеду снова сделалось не по себе от этих игрищ, и он попытался их прекратить: «Я думаю, Иммануилу Абрамовичу это бы не понравилось. Молодые люди, вы все же не в цирке».

Медбратья только удивились, но вернулись скучно насиживать бетонную лавку. «Разве мы кому-то мешаем? Никто же ничего не видит...» — только и спросил с удивленным видом Серж, но начмед, думая, что тот снова насмехается над ним, обиженно промолчал в ответ. Молодцы мигом забылись, начали пихаться, меряться силами, выталкивая один другого со скамьи. Наконец звуки траурной музыки смолкли. Институты стал отсчитывать нетерпеливо минуту за минутой. Потом со двора послышался шум отъезжающей похоронной процессии.

Серж и Жорж на дорожку враждебно затаились, всем своим видом выпроваживая прочь незваных наскучивших людей. Пал Палыч отчего-то взволнованным голосом подозвал Холмогорова. Даже Институты суетливо пытался

помочь уложить ряженого в носилки, чтоб только скорее исчезнуть с этого места. «Какое варварство, как это все бесчеловечно...— Но вдруг запнулся, глядя на черное запекшееся отверстие в мертвом лбу.— Стойте! — вскрикнул он и принялся судорожно рыскать по карманам своего плаща, с облегчением извлек отыскавшийся обыкновенный медицинский пластырь, отщипил белую клейкую полоску и с непритворным страдающим видом залепил ею бурую дырку во лбу покойника.— Ну все. Моя совесть чиста. Я сделал все, что было в моих силах».

Когда уже взялись за ношу, к Пал Палычу шмыгнула санитарка и сунула в разинутый карман его бушлата круглое, крепкое, увесистое яблоко, которое сжимала в руке, как булыжник, и тут же отбежала. Впряженный в носилки, ее избранник даже не почувствовал в суматохе, что же произошло. Баба беззвучно плакала уже в стороне от него. Вертела по сторонам головой, заглядывая во все лица, и все ей, чудилось, нравились. Но медбратья не дали ей выйти за порог, убрали тычками с глаз и сами исчезли в той же щели, ничего не говоря, закрывшись изнутри, как зверьки. «Мальчики с пальчики... Игрунчики, хохотунчики, везунчики, будь они прокляты...» — заклинал Пал Палыч, не оглядываясь.

Сущие во гробах

«Человеку только матушкина утроба — это Богом данные защита и кров. А после, как из матушкиной утробы в мир нам уготованный вышкуриваемся, все норовим обратно в норушку съюркнуть. В миру все есть для жизни — только ее родимой, утробушки мамкиной, нету. Вот в утробушке спеленат человек, а в миру разве спеленат? Так и понимай... Рождение, мил человек, все нам и освобождает, начиная с ручонок! Бог творил нас несвободными, а мы все делаемся из-за греха первородного распеленатыми. Как от греха спасаясь, начинаем каждый самостоятельно производить свой домишко, свою норушку, свою несвободу, да толку нет... Здесь уже истинно, все дело рук человеческих — вот этих самых рук... Эх, грешных, проклятущих рук! Наши дома, увы, не защита. Подсолнухи это, где что ни семечко, то зло. Ревнуем до зависти к чему? К дому чужому. Грыземся друг с дружкой где? В своих домах, где нос к носу. Земля огромна, а людям все мало места, все давятся из-за куска. В домах иконки, слышал, вешают — это все, значит, чтоб на Бога потом свалить, хоть хозяйничают в своих четырех стенах сами. Бог покарает, думаешь? Ничуть. Он создатель — это правда, но как изделие может быть перед своим изготовителем виновато? Вот хоть эта штукавина, как может быть виновата передо мной и какая кара от моей руки-то постигнет? Разозлит, даже сжечь не смогу, потому не для себя делал, а для могилы, не принадлежит оно, изделие это, мне с той секунды, как последний гвоздок в него вобью. Так и Бог — мы ему больше не принадлежим после Адама и Евы. После свободы нашей и греха! Был у него сынок, для себя делал — он ему только и принадлежал. Страдал он, бедный, на кресте, эх-ма до чего же страдал, когда в него создатель гвоздочки последние вгонял для совершенства человеческого-то жития. Но разве в нас вгонял? Нет, мил человек, недосягаемо рукам создателя сделанное не для себя. И сколько ни вложишь души в изделие, а знаешь, где его конец. Сколько души ни вкладывай, а не будет она вечной, если не вечно то, во что вложил. Бог, верю, из вечного сделан сам материала — не из таковой доски. Но это если ты сам себя сотворил, тогда можешь и тыщу, и миллион уже на себя похожих вечных сотворить. А вот Бог, судя по всему, создать себе подобное не может, потому что сам секретом этим не владеет и создан был не сам собой, а для нас, для людей. Люди же тоже созданы не сами для себя, а для детей своих. Ну а для чего это все вместе нужно — прости, мил человек, не моего ума

дела. Свое я отработаю. Заделаю себе собственную домовину на покой — вот куда вложу всю душу смертную, эх-ма вложу! Лачком выглажу, помягчее все обложу, все равно что снегом изнутри, — спи, Панкратий Афанасьевич, спи, дорогой. Деток иметь лишил меня Бог, так вот решил мою судьбу, что не имею я, мил человек, деток. Потому души во мне свободной много, домовину свою изукрашу, все равно что в рай тот самый от счастья вознесусь... И полечу, и полечу... Вот почую, что смертушка моя близка, — возьмусь за дело. Не гроб, честно слово, а крылья сотворю! И кто позавидует? Никто! А что потревожит? Ничто. Крышечку, как дверку, затворят за мной. Оставят одного в покое — и в землянку, в могилку родненькую, все равно что в матушку, в утробушку... Что-то будет с человеком после смерти, но только не ад и не рай, и Господь не вдохнет новой души вместо той, которая свое тепло отдала. Может, к другому создателю мы отходим в смертный час, а, мил человек? К тому, кто не из плоти выстругивает, плотник, а из праха создает. Кто в прах чего-то вдохнет — тот уже другой наш создатель, как есть другой... То не плотник, а травник, разумею, ведь из могильных холмов трава ж только и произрастает. А трава для чего? Трава для всего — это и лекарство, и корм, и кров, и просто живая жизнь... Вот он, травник, небось, решает, кому какой травой быть, а кого и червям-чертям скормить...»

Мастеровой, богатырских замашек бородатый внушительный дед — с большим круглым лбом, что поглотил даже волосы до самой макушки, отчего на их месте образовался будто бы еще один лоб, — рассуждал без умолку, обнимая любовно здоровые плечистые гробы, что были на голову выше его ростом.

Гробы стояли рядами, поставленные на попа, прислонились к стенам и молчали.

Посередине дощатого барака, где сапоги топтали земляной пол и не было окон, застыла в недоделках последняя работа мастера, будто корабль на стапелях, тоже гроб. Это и называлось «изделием». Недоделанный гроб был куда торжественней готовых и смотрелся значительней среди всех остальных, поставленных обыкновенной тарой на попа. Открывая вид на хмурое, серое небо в клочковатых облаках, ворота сарая были распахнуты настежь, а один совсем уж заваливающийся набок створ подперт жердью, будто безногий инвалидным костылем.

Тут же, у самого порога, были свалены в кучу доски, бывшие когда-то заборами, мостовыми да обыкновенной деревянной тарой. Ни одной чистой, все облепленные грязью, засушенные в глине, обшкрябанные. Такие грязные, как свиньи, и обросшие щетиной крупных, видных даже глазу заноз — что рыло у свиней. Но когда мастеровой выуживал доску из кучи, укладывал на верстак, проходил по ней с душою простеньким рубанком, каждая очищалась от грехов, обретая нежный, почти телесный цвет, и делалась гладкой все равно что человеческая ладонь, также открытая глазу во всех неповторимых природных линиях.

В мастерской и пахло поэтому не гнилью или тленом.

Пахло животворяще древесной смолой — духом царствия небесного сосны и ели, что источали из себя свежеструганные доски, сколоченные в гробы.

Мастеровой подыскивал подходящее изделие. По мерке и, наверное, по чину. Мерку ходил он снимать самолично, хотя Институт в желании начать все скорей сам отдал подневольному лагерному мастеру приказ, какого чина нужен гроб, и продиктовал точный медицинский рост покойника. «Могло и обтолщить... Могло и посушить. Смотри какой человек был, хороший или плохой». И с этими словами не внял начальнику, проследовал широко и осанисто, как на ходулях, к армейской санитарной машине, что въехала на зону, безоружная да измотанная долгой ездой, совсем не так, как въезжали сюда такие же чужева-

тые грузовики, набитые живыми охраняемыми то ли зверьми, то ли людьми; она не ждала разрешения на въезд и вплыла за колючую проволоку легче даже своей смерти, ничем не потревожив здешний блеклый мир, пущенная охраной без мало-мальской проверки.

Гробовых дел мастер заглянул в кузов, с минуту побыл там взглядом наедине с покойником и, пройдя с десять шагов обратно до сарая, обронил всерьез с понятной только самому укоризной: «Усушился...» Институтов стоял с опущенными руками и глядел вслед этому непростому заключенному, с изумлением понимая, что зависит теперь даже от его не то что работы, но и мнения. «Голубчик, сколько вам потребуется времени, чтобы совершить эту процедуру? Одно-го часа хватит на всё про всё? «Христос с вами, гражданин начальник! Работа легко спорится, когда грехов за душой не водится. Это как Бог смилуется — может, час, а может, и все пять за наши-то грехи» «Мне, знаете, некогда ждать милостей от вашего Бога. К вашим личным грехам я не имею никакого отношения, религию придумали для рабов, а этот Иисус Христос мог бы сначала писать и читать научиться, если взялся учить морали прямо все человечество». «Ну так, изделие, обтяжка, цинковка... Раз в Бога не веруете, пачку чая накиньте, а я уж сделаю в лучшем виде, как на заказ». «Ну что же, о вашем вознаграждении поговорим, когда будет виден результат». «Это конечно, но вы бы еще одну пачку добавили, гражданин начальник. И конфетку к чайку. Тогда уж точно согрешу для вас гробик за часок. В ларьке все есть, все купите. Это мы, уж извините, люди последние. Нам и умирать будет легко — ничего нет. И дайте все же зада-точек для вдохновения, иначе помыслы угнетут».

Институтов послал Пал Палыча в ларек. Дождался, когда тот вернулся, хотел было только показать две пачки чая и печенье, чтоб заманить как наживкой в работу, но мастеровой отказался поспешать без задатка, и начмед сдался, не в силах весь день принудить хоть кого-то исполнять все так, как он этого хотел. «А нам что, воздухом питаться?!» — рявкнул Пал Палыч. «Нет, ни в коем случае! — испугался Институтов. — Я всех накормлю... Пойду в столовую и сейчас же договорюсь насчет вас!»

Пал Палыч был доволен: «Скрылся с глаз. Хоть бы хлеба кусок принес... Жди, принесет, раз сам голодный». Оглядел, ухмыляясь, Алешку, похожего на мародера, — рыжая облезшая шинель, неподшитый ворот мертвецкой гимнастерки, лаковые оркестрантские сапожки, мыски которых заострены были как у дамских туфель, — и уже с напевной грустью произнес: «Не жмись ты, небесная пехота. Подумаешь, в смертное оделся, зато живой».

Алеша топтался у входа в сарай, пока его не позвал в тепло и не заговорил с ним мастеровой, ворочая свои гробы. В глубине сарая, оказалось, сидел одиноко на табуретке еще один старик, в очках и без бороды, а в остальном как сморщенная копия того, что ворочал тем временем в одиночку гробы. Он имел такой же формы плешь на голове и тоже был облачен в лагерный бушлат с номерняком на груди, но и без того всей физиономией выказывал себя именно узником: хранил веское решительное молчание, как бывает, когда на все согласны или все отрицают и ни с чем не соглашаются. Его губы были крепко сомкнуты, даже сжаты, будто для плевок. Очки из пластмассы были громоздки, как аквариум, и лицо этого вредного старика походило на нечто убого-аквариумное: две бесцветные рыбешки глаз, похожие на улитку угрюмые губы, выбритые водянистые щеки. Сиротливая, сухая фигурка вопросительно скрючилась, так что большая плешивая голова пала на тщедушную грудь. Он сидел, по-школярски вобрав под табуретку ноги, а удлиненные сухие кисти рук положил на колени. Но, когда бородач наконец выбрал подходящий по всем признакам гроб, обнял его, как ребенка, и перенес на верстак, узники повздорили из-за Бога, которого назойливо поминал гробовых дел мастер, и сарай содрогнулся от шума.

«Домики наши, норушки наши страхом полны. Эх, маточки, маточки наши, зачем же вы нас рожали, прости, Господи, раз мы все где спрятаться ищем, в норушку вашу съюркнуть обратно норовим?.. А твое какое мнение, Амадей Домианович?» «Позор!» «Твоя воля, Амадей Домианович, я преклоняюсь перед твоим великим умом, благородством души и чистейшей совестью, но ты же, родненький, это из гордости. Живешь, сидишь туточки у меня на табуретке в уголке и плюешься на все стороны, куда ни поглядишь. Не знаю, о чем ты печалишься. Душ много загубили, так давай спасем хоть свои».

Слезливые глазки тщедушного старика пронзительно сверкнули, а уста сомкнулись еще тверже и брезгливей прежнего. В это время гробовых дел мастер развернулся, глядя прямо перед собой, и уткнулся в Алешу. Они очутились друг к другу так близко, точно смирлись ростом: и был-то могучий старик всего лишь по плечо Холмогорову. Лоб старика, оказалось, рассекал поперечный рубец, как если бы тюкнуло его огромной стамеской. От малости его и при виде в такой близости этого младенческой нежности рубца у Алеши щемило все в душе от невольной жалости; мастеровой же поднял глаза удивленно вверх и тотчас поразился, обрадовался, раскрылся весь навстречу: «Ох, какой богатырь, ну какой большой! Раз такой большой, давай помогай. А то забастовал мой помощник, но ты, сынок, не подумай — это большого ума человек. Слышал ты, что сейчас прозвучало? Запомни — и расскажи другим. Таких, как он, на нашей планете один есть ум еще, ну, может, два. Раз приволокли ко мне из барака тощенькое тельце за гробиком. Медицина ведь эту смерть засвидетельствовала. Стал я укладывать, а он и ожил! Глянул ну эдак как святой, с осуждением, губки сморщил... и плюнул мне прямо в глаза. Не знаю, какая сила дернула, но случай такой выпал, чудо на чуде поехало — охрана устала и отошла. Так что я-то кирпичиков быстрехонько наложил в гробик, крышку заколотил, а Амадея Домиановича у себя также вот в гробике хоронил-выхаживал с того света, пока не выходил. Все время он со мной не разговаривал, только глядел эдак вот и взглядом грозил. Всю душу вымотал, во всей низости своей я пред ним сознался. Потом, правда, обрел он дар речи. А привередливый какой, ел с ложки и одно лишь теплое, селедку тепленькой ему подавал — такой организм! Внушал, когда выходил: ты же через смерть свою, считай, вечную жизнь обрел, лежи у меня в гробике, дыши да радуйся! А он ни в какую, гордый... Сидел вон там на табуретке в уголке и протестовал, так что заприметили нас в дежурной части и добавили срока до самой смерти. Расценили, что все это было хотя и не побегом, но подготовкой к побегу. Да я рад, я с Амадеем Домиановичем в самое тесто угодил. Без его мнения кто я такой на свете был? Да вон как крышка без колоды! Человек сам не есть целое. Целое мы были в утробушке матушкиной, с ней, родименькой, как одно, под ее сердцем, когда и она слышала, как в ней родимое ворочается. Падшее было мое царство как есть, покуда вон с Амадеем Домиановичем душа и ум мои не соединились. А что я его половинка родимая — это уж точно. Без меня, как есть, гнить ему давно в земле, а со мной прямочки из мертвых воскрес!»

Холмогорову почему-то чудилось, что когда-то все это было в его жизни — и этот широколобый добрый старик, и точно такой же рассказ о человеке, который был мертвым, а потом вдруг ожил. Гробовых дел мастер звал его помочь: «Подержи-ка, сынок, нашу лодочку, а я молоточком пройдуся, материю набью. Держи крепче и поворачивай, куда скажу».

Крышки тех изделий, что стояли вдоль стен, были сняты, будто пальто или пиджаки, и накинута полой стороной каждая на свое гробовое плечико. Алеша стал понимать, что помогает мастеровому, и снова озарился: «А я завтра, дедушка, сяду на поезд и уеду домой, отвоевался...» «Это на какой же такой войне, сы-

нок?» «На такой, что стреляли в меня из автоматов, из снайперской винтовки, с гранатомета!» «Ну что же, Бог с тобой, воюй себе и дальше. Ну-ка поворотим набок! Уф... Надавали ж такой материи! Не обтягиваешь, а штопаешь».

На глазах выструганное да сколоченное из приبلудных досок глухо оделось кумачом. Дно мастеровой мягко выложил стружкой, черпая ее прямо под верстаком. Разорвал надвое белое полотно, навверное, списанную простынь, повозился, постучал молотком, и Алеша увидел на дне гроба подобие перины с возвышением для головы. Но стоило вбить последний гвоздь и расправить, где остались, складки, как изделие само помертвело, и все добро, устроенное человеческими руками, поменяло вид. Простежка из стружек на дне обратилась во что-то каменное. Красивая ровность обивки стала мучить взгляд.

Мастер вышел и через несколько минут ввез на телеге сделанный из какого-то тусклого металла продолговатый короб, похожий на большое корыто. В этот короб вложили как в яму еще пустой гроб. «Амадей Домианович, разведи костерок, добудь угольков, а мы пока уложим новенького. Ну что ты сделаешь, молчит, бойкотирует! Ладно, сам разведу, а вам-то, сердешный, надо с охраны кого-то позвать. Скажи, Панкратий Афанасьевич зовет, пусть идут шмонают, что в изделие кладем. Эх, сам бы в него нырнул, прости, Господи... И начальника своего кличьте, где он там, заказчик. Пачка чая еще с него!»

За начмедом отправился Пал Палыч. Но было ему все равно, кого слушать, куда идти и что делать: засунув руки поглубже в карманы бушлата, как если бы озяб, он, казалось, буднично уходил в серость и хмарь, похожий на морячка, вышагивающего по палубе. Лагерная, голодная на живое зона — ошетиленная железными рядами колючих проволок, прорезанная лишь узкими дорожками из гравия, насыпанными так глубоко, что сапоги, ступая, вкручивались с хрустом, точно б шурупы — не пугала и даже не будоражила нервов, ставших вдруг такими же глухими. Обернулся он скоро и возвращался, разительно переменявшись в настроении. Жадно, с упоением вгрызлся в большое крепкое зеленое яблоко. При том морщился и клацал зубами, такое оно было, видно, кислое, что даже сводило скулы. Но терпел — и жевал, жевал, испытывая от этого восторг. «Сунул руку в бушлат, а там яблоко! Ну как с неба в карман упало! Я ведь вообще яблок года три в упор не видел. Веришь? Ну хлебом клянусь! — громко бубнил набитым ртом, а сам будто оглох.— На, на! Кусай, доходной... Да на счастье! Да кусай, некраденое!» И властно протягивал Алеше сочный, свежий огрызок. Холмогоров заулыбался, чтоб не обидеть, но вместо рта, увернувшись, подставил щеку, так что огрызок скользнул по лицу, оставив сырой и отчего-то пенистый розовый след. Пал Палыч раскровил рот. Может, губу прокусил, может, стали кровоточить десны. Он снисходительно рассмеялся над самим собой, когда осознал, что поранился каким-то яблоком, и в тот же миг одним неувловимым движением извлек из-за голенища сапога подобие ножа — расплющенный и заточенный железный штырь, размером с карандаш.

За порогом сарая уже попыхивал, дымил на ветер горячий костерок, разведенный неопасно для столярки в жестяном корыте. Пал Палыч подсел чуть поодаль на корточки да и пригрелся у огня, отрезая почти прозрачные лоскутки от яблочного огрызка и отправляя их с блаженством в рот.

В корытце, где обугливались аккуратные чурки, наколотые с усердием большелобым, накалялись и две самодельные увесистые паяльни — железные прутья с приваренным на конце чугунным утюжком. Одной такой, еще не накалившейся, гробовых дел мастер помешивал вскипающий огонь, потягивая знающе зардевшимся носом.

Думал он, однако, не столько о костерке, сколько о готовящемся на нем между делом напитке: закопченная консервная жестянка, как обезьяна, свеси-

лась над огнем и держалась хвостом перегнутой крышки за ободок корыта, — а в ней плавился смолистый чифирь. Он начинал дымиться, согревая да ублажая живые умильные глазки мастерового. «Хуже нету, когда негодным признают, когда, как материал, пропадаешь. Плотнику сгодился, травнику сгодился — вот оно твое и длится житье на земле, — убаюкивал он костерок. — Я досочку гнилую, бывает, возьму, а все о себе подумаю. Нет, думаю, не бойся, не брошу тебя без пользы, какая ты ни гнилая, хоть щепок наделаю и чифирну».

«Вкусный твой дым...» — заговорил Пал Палыч с мастеровым, утирая кислые то ли от крови, то ли от съеденного яблочка губы рукавом бушлата, протягивая сизые заскорузлые руки к огню. Печаль в его голосе звякала чисто и простовато, как стекляшка. «Вкусный, так угощайся. Пропустим по глотку для покоя, еще успеем...» «Э, нет, я на диете. Дисциплина у меня захромала, вот и подтянул, теперь пью одни компоты из сухофруктов. Как это ты про доски сказал? Гнилье, что ли, тоже приносит пользу, если к нему с душой? Ну а где эта польза?.. Кто здесь с душой?.. И это люди, как щепки, в руки дадутся пользу из себя извлекать? Врешь! Что ни человек, что ни душа — заноза. Свою же обиду не простишь, а простишь — тебя не простят, такая жизнь. Эх, путь-дорожка! Уехать не уедешь, зато каждый день можно где угодно пропасть. Мне бы пропасть... Так, чтобы все кругом стало новое. Землю пашем? Или железо куем? Да я и то, и то могу, мне без разницы, хоть на завод, хоть в колхоз, шофера всюду нужны, а я шофер экстракласса. Обожаю дорогу. Ха! Вот и соврал, не могу этого хотеть... Работа — волк. Кругом одно и то же. И катишься на все четыре стороны. — Потом сказал негромко, как если бы жаловался: — Они меня все не любят». «Да ты о ком говоришь?» «О людях, которых много, когда ты перед ними один как перст стоишь... Люди — сила. Это люди что хочешь сделают с тобой». «За что же тебя люди не любят?» — удивился гробовых дел мастер. «Потому что я сам их не люблю, а притворяться не умею, извиняться не хочу... Они за это жить не дадут, люди, — был ответ. — Но ведь это я себя не люблю, противно мне каждый день от собственной вони. И этого я никогда не полюблю. А еще бояться противно. Я ведь всегда и делаю, чего боюсь. Из принципа. Чтобы сильнее быть, чем свой же страх».

Подошла охрана — двое безоружных солдат, посланные начальником караула вместо себя. Большой, рослый азиат, не понимая, что сам-то ни для кого не был начальником — разве что для маленького замусоленного своего собрата, державшегося почтительно от него на расстоянии, чтоб успеть и услужить, и увильнуть от оплеухи, — оглядел с важным видом место вокруг себя. «Э-э, ты кто такой? — избрал он мгновенно для одному себе понятного наказания Алешку. — Пшел, пшел... Мене не понял, э?» Пал Палыч судорожно оскалился: «Что ты, падла, бельма пялишь? Аль своих не узнаешь?!» «Да что с тобой делается? — выкрикнул мастеровой. — Покрасоваться он решил, а власти привалило, как же не угордиться... Но разве это хозяин жизни выискался? Погляди, погляди... Он же у себя в кишлаке с малолетства, небось, досыта не ел и только небу ясному радовался! Может, здесь и увидел, что в кранах вода горячая бывает, хлеба с маслом наелся — ну и ходит гоголем... И пусть, и Бог с ним, зла ведь нам не делает вовсе! Ну смолчим, ну подвинемся, ну дорогу ему уступим — какое же это зло? Ведь и дите вперед пропустишь, а не обидишься, если ножкой топнет. Так и сжался над ним, как над дитем, раз ты сильнее. А если слабее, ну хоть как я, так уважь, облагородь!»

Пал Палыч потерпел и сделался рассудительно-строг. «Алеху при мне никто не тронет, только он мне говорить здесь может», — произнес все с той же силой, как если б распорядился самой жизнью.

Охранник-азиат, уже испуганный, стал подавать покорные знаки — протягивал навстречу по-братски руки и бормотал что-то волнительное. Мастеровой, меня надрывное дыхание разговора, переходя на дело, упомянул снова о запропавшем начмеде. Томление над клокочущей пахучей чайной смолой, сулившей ему и тепло, и отдохновение, и дармовую радость, сменилось боязнью застыть на месте. Он пришел в суетливое муравьиное движение, вынуждая охранников занять свои места у цинковой ложбины, а Алешку с Пал Палычем — отпрavitиться за телом.

Шерстяное одеяло, всю дорогу прятавшее неприглядный груз, было отдернуто и, скомканное, засунуто в пропахший бензином угол подальше от глаз.

Они вытащили носилки и мигом очутились с ними в сарае, пробежав, как под дождем, с легкостью и в зябком нетерпении найти укрытие. Делать все было освобождаяще легко, ноша не тянула рук и не угнетала своим видом, и Алеша, обнимая тело с другого конца за ноги, чувствовал эту неожиданную плавность, легкость. После все они остановились, понимая, что настала какая-то последняя и важная минута для этого чужого мертвого тела. «Худющий же какой, все как есть обвисло», — вздохнул мастеровой. Пал Палыч тоскливо молчал. «Это оно только великоватое, а так оно новое и одетое всего два раза...» — сказал Холмогоров, чувствуя вдруг свою вину. Мастеровой не понимал. «Как есть усох. Значит, хороший был человек... Хорошие, они сохнут и, хоть мертвые, смраду не имеют, соломкой пахнут.— Запнулся, глядя на заплатку из пластыря, понимая, что залепливали не иначе как смертную отметину во лбу.— Настродался. Дай-то Бог его душе пристанища. Вот, вот... Вот и он, касатик, что же это так себя, веру-то с надеждой потерял?»

«А может, он это не сам себе пулю-то в лоб, может, ему кто помог, старший по званию... Да хоть бы твой Бог! Или он все же против был, целил в небо, а попал по лбу? Чую вонь я все же, ох, какую вонь... Эх, что там! Не чую — точно знаю. Знаю я то, получается, чего Бог твой не знает или вид делает. Знаю и тоже молчу в тряпочку. Потому что каждому свое. Потому что каждый за себя. Потому что так надо. Но я не Бог. А знаешь он кто? Кто пальнул — тот и Бог, потому что это он точку поставил в жизни», — сказал Пал Палыч. «Начальник-то ваш где, торопыга этот, на час заказ сделал, а самого и след простыл!» — засуетился гробовых дел мастер. «На готовое прибежит, у него чутье, поэтому и начальник». «Это с Богом тогда?» «А то как же без него?.. Чуешь ты начальство, прямо как волк овечью шкуру, чего же сам не выбился? Боишься?.. Ну бывай, Мухин, в этой жизни ты проиграл, фраерок». «Вот и фамилия — значит, в роду у него, у касатика, мухой по свету летали или жужжали без умолку. Все мы у Бога летаем по свету, как мушки, а где смертушка прихлопнет, там и рай». «Этого точно прихлопнуло. Попался под руку, — брякнул упрямо Пал Палыч. — Теперь в ящик твой запакуем, и будет все шито-крыто». Старик обнял крышку гроба и накрыл ею наряженного в парадный мундир мертвеца, пряча его в темноте.

Когда крышка легла на гроб, Пал Палыч поневоле ухмыльнулся: с боку ее, как штамп, на кумаче обтяжки были видны желтые серп и молот. «Дожились, старый. Гроб подзаборный, это понятно, а на обертку какое светлое будущее пошло?» «А ты не знаешь? — взметнулся в сердцах мастеровой. — Фабричный матерьял весь, что был, умыкнули на радостях, а из клуба флагов красных притащили целых два ящика. Цвета нет, ползут что вошь, ведь сколько лет на каждом празднике болтались. Ну не углядел, и так из ветоши крою, ну вылезло... Эх, это ж как оконфузился, прямо хоть плачь...»

«Заколачивай быстрей, — сказал Пал Палыч. — Гражданин начальник всю дорогу дрожит, куда себя спрятать не знает, приказ исполнить старается... Мается, зубодер».

Начмед объявился, когда уже цинковый короб был наполовину запаян. Институты вбежал в сарай, отыскивая глазами, могло показаться, забытую фуражку. Руки его были заняты, в каждой Институты держал неприглядного вида раздувшуюся вареную сосиску. «Можете покушать, мальчики», — произнес начмед дрогнувшим голосом, но без тени сомнения на заранее приготовленном очень серьезном лице.

Алеша лоб в лоб со стариком подминал деревянной чуркой край чистого цинкового листа, из которого то и мгновение выпархивал вымученный паяльной вздох дыма. Пал Палыч тоже был занят с мастерским — стоял наготове, чтоб нести на смену выдохшейся паяльнице накаленную в углях. Слова о еде поэтому некрасиво скислись в воздухе, как и сами отварные сосиски в руках начальника. Только двое ничего не делавших охранников, бывших, наверное, тоже голодными под конец дня, переместили взгляды на то, что держал Институты на весу все нетерпеливей, — и, не выдержав ноши, тот заботливо положил сосиски на чистый свободный угол замершего с недоделанным гробом верстака.

В сарае остался слышен только шумок работы. Институты прогуливался вдоль готовых изделий, понимая осматривая зияющие в них без особого смысла пустоты. От его взгляда, конечно, не укрылся сидящий на табуретке в углу сарая полный молчания тщедушный бесполезный старик. Начмед никак не мог подумать, что тот сидел и молчал без особого смысла, а потому не преминул с ним великодушно заговорить: «А вы, уважаемый, почему не работаете вместе со всеми?» Тот, что звался Амадеем Домиановичем, немедленно заявил из угла: «Гадость». Институты переменился в лице: «То есть как это так, голубчик, позвольте спросить?..» «Позор», — аукнулось невозмутимо в углу. «Ну это уже слишком, товарищ, вы что себе позволяете!» В ответ бесповоротно-громко прозвучало: «Холуй!» Начмед надрывно позвал: «Охрана, заткните рот этому заключенному!» Взгляды охранников соскочили с верстака, где покоились казавшиеся бесхозными две сосиски — но двое азиатов угрюмо не постигали звучащих все это время слов.

«Это мой работник такой, мы с ним на пару... Я делаю, а он за качеством глядит. С кем-то всегда ведь легче! Идите проветритесь, гражданин начальник», — сочувственно пожелал гробовых дел мастер.

Институты неестественно благоразумно, будто цирковая лошадь на поклоне, несколько раз боднул головой пустоту и подался задом на двор, но вдруг подпрыгнул и вскрикнул, как если бы погибал, тыча пальцем в пол перед собой, где шевельнулась стружка, под которой пряталось что-то живое: «Запаять! Запаять! Ну запаяйте же их кто-нибудь!» Все застыли, скованные этим криком. Но не обнаруживали кругом ничего страшного или хоть нового. Бледнее покойника, начмед немощно таращил глаза и, как рыба, уже беззвучно глотал воздух жадным ртом. «Это он мышей до смерти боится», — ухмыльнулся Пал Палыч.

Работа была готова. Начмед скрывался в машине и ни в какую не хотел вылезать наружу, принимать у мастерского свой же заказ. Пал Палыч подогнал санитарную машину к порогу сарая. Одного его недовольного взгляда хватило, чтоб привлечь на помощь и болтавшихся без дела охранников.

Перед тем как всем взяться за смертный груз, мастерской своим личным молчанием установил тишину и обратился заискивающе к Пал Палычу: «Скажи уж чего-то на прощание. Душа просит, скажи». «А для чего говорить, старик?.. Поехали». «Ох вы торопыги вечные!.. Амадей Домианович! Скажи хоть ты, облагородь эту смертушку своим великим умом». «Позор!» — каркнул почему-то обиженный старик. И тогда сам гробовых дел мастер негромко, расстроено произнес: «Прощай, страна огромная, несчастный человек».

Долгие проводы

У станции Караганда-Сортировочная, за глухой стеной железнодорожных складов, своей участи дожидалась похоронная команда: пожилой простодушный прапорщик и молодой, из тихонь, солдат. Место встречи давным-давно затопили сумерки. Было холодно и голодно, как в плену. За шиворотом, будто вошки, копошились кусачие страхи. Чувство неизвестности сроднило чужих разновозрастных мужчин, а издали, да еще и в темноте, могло показаться, что это снюхались два бродячих пса уродской какой-то породы: роста человеческого, бесхвостые, в серых долгополых шкурах, с котомками горбов за спиной. Молодой еще служил кому-то. С готовностью застыл и дожидался по стойке «смирно». Или за неимением другого хозяина старался так пригодиться старшему в их компании, которому внимал, послушный, как сынок, когда тот хлопотливо рыскал в пределах двух, трех шагов — юлил по сторонам, — временами обмирая, как будто услышал клич.

«Иван Петрович, а какая она, Москва?» «В Москве все есть — вот она какая. Ты бананы видел когда-нибудь? То-то, где там, а в Москве они есть. Подумаешь, на деревьях растут... Как в ней люди живут, не понимаю, ведь все уже есть, прямо делать нечего, только оклад знай себе получай и ходи отоваривайся». «Иван Петрович, а мы долго будем в Москве?» «Сколько вытерпим, лимитов у нас по всем статьям маловато. На похоронах — это день-другой, хоронят больно быстро. Еще у родственников погостим — так повезло, что на этот счет с одним из них договорился. Хорошо, если кормить станут, это не знаю. Если деньжат и провизию протянем, недельку проживем. Воздуха в легкие наберем, прикинемся, что с обратными билетами был дефицит. Взгреют, конечно, за каждый лишний денек, будь готов!» «Иван Петрович, а я что буду делать в Москве?» «Твое дело маленькое, куда я, туда и ты. И мое дело маленькое, ничего такого делать не будем, кроме команды. Но с умом оставайся своим, торопись и не спеши, а то потом скажут... Всегда найдут, что сказать, станешь крайним, и попала вся жизнь под колеса. В серединке, серединке нужно идти, она, как у Христа за пазухой. Это дураки пусть делают, что хотят, а мы будем, что скажут».

Светлой туманной углубиной в небе виднелся лунный зев, голодно разинутый в сторону нескольких мелких звездочек, что болтались наживкой, казалось, подколотые на жала рыболовных крючков. Но вдруг чудилось во всей ночи что-то утробное, как если бы проглоченное. Только у строений с пустыми черными оконцами, что были покинуты к этому позднему часу, остались округлые необитаемые островки света, на каждом из которых голенькой высотной пальмой торчал фонарный столб с одним-единственным раскаленным добела орехом на самой верхушке. Проглоченные мглой окрестности поминутно оглашали животные звуки, африканские рыки да стоны, будто кругом бродили дикие голодные звери, что были рады и сами теперь кого-нибудь проглотить. Это до жути делался слышным ночной жор товарной станции — многотоннажной ее утробы, переваривающей в себе все то, что приходило поминутно в движение нечеловеческой силой механизмов по воле управляющих этой силой людей. Ближе было вокзала, вокзальной площади — лишь тюремные стены камер хранения, запертые безлюдные склады, бетонные туши тягловых электровозных депо, пропахших горючим потом солжеры.

Неприкаянную парочку высветил в темноте дальний свет фар. Дядька с пареньком позорно застыли у стены, как если бы их ограбили и раздели, а две их безголовые тени вздыбились и шарахнулись кошками в темень. Из санитарной машины, как из часов с кукушкой, вытряхнулся наружу человек — в нем узнали начальника медицинской части. Он вскрикнул заполошно: «Товарищи, время не

ждет! Мы будем указывать путь! Следуйте за мной!» И упорхнул. Машина тронулась по ухабам каменистого пустыря. Служивые бродягами трусили за нею следом, пока не пришлось что было сил бежать.

При въезде на бетонный пандус — не крутую, но испещренную выбоинами горку — усталая санитарная колымага замялась и бегущие за ней послушливые мужички проскочили скороходом вперед. Вся спрятанная жестяным протяжным козырьком, откуда глядели как бы исподлобья замки-глазища угрюмых одинаковых складских ангаров, платформа сортировочной станции казалась далекой и непроглядной. У начала платформы грузилась арестантская сцепка из дощатых мукомольных вагонов: в полной тиши с десятков молчаливых грузчиков выносили да вносили на своих плечах кашлявшие пылью мешки. Навьюченные мешками, они также молчаливо расступились, пуская в освободившийся проход постороннюю процессию, и выносиво ждали, глядя, как от строгой гробовидной машины, похожей на милицейскую, бежали двое задыхающихся служивых, а карательного коричневато-зеленого окраса человековозка ехала и ехала в нескольких метрах от них. «Дезертиров ловят...» — повздыхали мужики и взялись со спокойной совестью за работу.

Прапорщик бежал впереди санитарной машины, погоняя солдатика. Процессия промахнула следующий грузившийся у платформы вагон. Паренек, а за ним и дядька бежали так безоглядно, боясь попасть под колеса, что стоило машине затормозить у искомого склада, как они стремительно исчезли. Дядьке еще долго слышались за спиной окрики «к той... к той...», но бежал от них, думая, что гонят куда-то дальше, а это начмед напрасно орал вослед убегающей похоронной команде: «Стой! Стой!» Бегущие скрылись в темноте, откуда к Институту возвратилось лишь удивленное эхо его же собственных воплей. Сцепка из двух вагонов, почтового и багажного, уже стояла у платформы. Вагоны будто дремали. Маневровый, что вытянул их на погрузку и надыхал горячкой своих трудов, накропил горячего пота — ушел за очередной работой, но должен был возвратиться: отчалить с этими же вагонами от складской платформы, примкнуть их к пассажирскому составу дальнего следования, а поезд — подать на путь отправления.

«В конце концов это невысказано... — застонал начмед, хлопая немощно ногами о гулкую платформу, как в ладоши. — Бегите за ними... верните их... Вперед, вперед!»

Начмеда послушался Холмогоров — и отправился дальше по платформе. Он исчез так быстро, что Институт пугливо вздрогнул, ощущая себя в окружении всесильной темноты. «Иди ты. Сейчас же, за ним!» — пихнул он в темноту поскорее Пал Палыча и, когда черная ее толща поглотила последнего человека, которым мог бы еще командовать, остался совершенно один.

«Я хочу видеть своего сына», — тут же услышал покинутый всеми Институт за своей спиной. Он в ужасе обернулся. Темнота исторгла маленькую мрачную фигурку, при портфеле и в шляпе, как иногда официально заявляются к своим детям отставленные их матерями мужчины. «Что вам здесь надо? Это слежка? Провокация? Да я милицию позову!» — пискнул начмед. «Мой сын не может заговорить, но у Геннадия есть я, его отец. Я приехал в этот город за правдой. Я инженер-атомщик, строитель Обнинской атомной станции. У меня трудового стажа сорок пять лет. Я участвовал в ликвидации...» «Чернобыльской аварии, ха-ха! — судорожно развеселился Институт, чтоб только скорее заткнуть маленькому человеку рот. — Ну как же, у нас ведь теперь что ни бомж, то ликвидатор чего-нибудь такого. И вы тоже пострадали во имя человечества? Гасили атомный пожар? Облучило, гляжу, основательно, у плаща и рубашонки лучевая болезнь. Ну вот что... Вы безобразно пьяны. Нет, вы больной, голубчик,

психический. Прекратите шантаж и убирайтесь отсюда или отправлю в психушку!» Голос маленького человека в шляпе задрожал, однако не сдался: «Зовите работников милиции. Я требую предъявить тело моего сына!»

Институтов попятился, но высокомерно усмехнулся: «Это бред. Это чистой воды шизофрения на почве радиации, спиртного и огромного вашего отцовского горя, конечно. Я был готов вам помочь как отцу. Предлагал устроить в гостиницу, снабдить бесплатным обратным билетом. Я в конце концов скорбел вместе с вами, когда вы два дня подряд ходили ко мне в кабинет и злобно мешали исполнять служебные обязанности, но такое, такое! Скажите на милость, кого и как от вас прятали? Как только случилось, так сразу же телеграфировали это скорбное известие. Здесь и сейчас я не имею права выдавать вам на руки даже свидетельство о смерти, но прибудет груз в эту вашу Москву — все получите от наших сопровождающих, не сомневайтесь. Тело от вас скрывают? Да как это скрываем, если в лучшем виде для похорон сами же отправляем! Святых у нас нет, а холодильных установок для каждого трупа тем более. Мертвое тело в медицинском смысле представляет собой скоропортящийся продукт. Ему ехать и ехать до места захоронения, и надо соблюдать, знаете ли, элементарную гигиену, а цинковая составляющая гроба — это вам, знаете ли, не проходной двор. Какие еще претензии? Ах, вам же виноватых подавай... Просто так не можете, без дешевой шумихи? Хотите какой-то остросюжетный детектив... А вам чтобы главную роль...» «Я хочу узнать правду о гибели своего сына», — откликнулся глухо непрощеный отец. «Только давайте без крокодиловых слез, таковы уж мои представления об объективности. Хотите знать правду? Вы хорошо подумали? Вы этого очень хотите? Ну раз вы так нравственно страдаете, я нарушу порядок... Голубчик, ваш сын был убит самим собой... Куда еще копать? Глубже некуда, если докопаться хотели до правды. Да, да, ну что глаза таращите? Вот она, правда».

Обрушилось молчание. Институтов смиренно дожидался, что приступит к утешению наконец-то раздавленного горем отца. Но тот выполз из-под руин и заныл, не вытерпевшая больше боли: «Геннадий должен был жить!» «Ну, знаете ли, вы бы это ему и сказали, когда он преступно овладел оружием начальника караула, и неизвестно еще, что было в его планах, умирать или убивать. — Начмеду захотелось исколоть словечками этого бесчувственного зловредного человека. — Инженер, да еще атомщик, а рассуждаете, как юридивый. Вы иначе рассуждайте, мыслите шире, как человек науки... Вам нужны факты? Пища для ума? Ваш сын скончался по собственному желанию. То, что мы не сделали из этого шумихи, доказывает ваше право на материальную помощь и сочувствие. Но для вашего сына такие похороны устраивают, дают вам также право на пенсию, а вы оскорбляете. Да, обманщики, вписали, что погиб при исполнении, не из жалости к вам, конечно, а чтобы не запятнать... ну вот. И другие факты почему-то не оформляем, все хотели по-хорошему с вами, без детективов. Виноватых найти желаете, так не совершайте ошибку, гражданин, а то доищитесь, что ничего вам не должны и что сынок ваш является отбросом общества. От этого лучше вам, что ли, будет?» «Я инженер-атомщик...» «Знаю, знаю... А гробик сынка родного вскрывать — это очень гигиенично? Душу вон — и до победного конца потрошить, потрошить?! Да вскрывайте! Устанавливайте! Потрошите! И живи потом со своей правдочкой, пока заживо не сгниешь, мучайся... Давай разрешение от СЭС на эту гнусную антигигиеничную процедуру или освободи площадку для работ. Иди отсюда, пьяный, скверный дурак! Сына не позорь, не пачкай под конец биографию, хоть куда уж там... Ну роди, что ли, пока не поздно, другого, новенького. Люби его, нежь и холь, Генной назови, еще одну атомную станцию где-нибудь построишь, авось пронесет. А здесь и сейчас не

пронесло — значит, такой получился гороскоп. Ты не понял еще? Не понял?! Ты не в тот день родился, так чего же ты ноешь? Каких виноватых ищешь? Ты сам, сам во всем виноват, скотина ты пьяная. Виноват, что родился, что жил... Это ты, ты сам угробил своего сына в тот день, когда породил его на свет и уготовил одно свое же нытье...»

«Милиция!» — раздался в темноте истошный крик. Маленький человек в шляпе попятился куда-то слепо, ткнулся в стену ангара и по ней убито сполз почти до земли. «Ми-ли-ция! — вдруг нараспев тоже позвал начальник медицинской части. — А где милиция, которая тебя бережет? Ее, голубчик, нет». Маленькая фигурка вжалась в стену и провисла, как будто подвешенная на ней же кренделем. «Отец Мухина, встаньте, хватит приседать! — брезгливо произнес начмед. — Как говорится, финита ля комедия. Это вы со своими собутыльниками впадайте в подобную истерику. Пьянство не украшает мужчину. Вам нужно меньше пить. Не пейте, если не умеете. А жена ваша, мать Мухина, знает вообще-то о смерти сына? Что-то не пойму... Не поехала с вами, а вы такой, по все-му видать, сильно пьющий. Она, что ли, тоже пьющая? А то ищи вас там под забором... Но знайте, никто искать не станет. Похороним, если что, и без вас». Институты давненько не позволял себе такого блаженства. Он все и произнес лишь для того, чтобы доставить маленькому человеку страдания в самом невыносимом виде. Даже не заставить еще и еще страдать, а уничтожить этой болью, извлекаемой из собственных же его души и мозгов, как ударами электрошока. «Больше вообще не буду им обезболивать...» — пронеслось в уме зубодера.

Вагоны стояли, склад безмолвствовал, подчиненные плутали. В этой разрухе начальник медицинской части несколько раз кряду решительно стукнул в складские ворота, накричал на багажный вагон и заявил уже в аморфную толщу мрака: «Сколько я могу ждать? Так работать нельзя. Надо иметь сознательность, товарищи, вы же все-таки рабочий класс».

В ответ из тамбура багажного вагона высунулась немытая голова: «А, и здесь ты завелся, гад-демократ... Ну давай кричи громче, митингуй! Не успели вагон подать, сразу плохо тебе стало. Невтерпеж, всем недоволен, совесть отдельную заимел. А какая красота была, ого-го, одно удовольствие жить и ехать. За что красоту разрушил, гадюка? Тошно мне в твоём обществе. Иди сам вкалывай. Накось, в задницу меня поцелуй...» «Ааа! — закричал Институты. — Молчать! Смирно! Нет уж, будешь работать. Вы у меня узнаете, что такое работа... Будете в камне, в камне высекать и гору, гору громоздить, мерзавцы, из собственного дерьма!» Служащего багажного вагона как ошпарило. Он хлопотливо высунулся из тамбура на платформу уже всем туловищем и резво по-бабьи заголосил: «Ну ты это зачем, хозяин, да кто тебе поперек? Тебя хоть кто пальцем? Ой, гадюка... Ой, Господи... Ну ни путя никакого, ни жизни вообще не стало... Иду, иду!»

Издали истошный железный визг разомкнутые затворы вагона, точно рвали на куски живое. Раскричался хозяйчиком вагоновожатый. Послышались, наплывая, голоса. Толпой нахлынули грузчики. В их гуще барахтался толстый кладовщик. Залязгали замки, дыхнуло жадностью из ангара. «Эх!», «Ух!», «Ах!» — бурлили горячо их, работяг, разговорцы, вскипая тут же на мелочных страстях. Когда багажный грузился, почтовый все еще пусто глазел на платформу своими слепенькими, в бельмах решеток окошками. Вышли на воздух по-домашнему одетые в спортивные костюмы люди — это были фельдъегеря — и, похожие однообразием на солдат, стали важно и скучно прохаживаться парочкой у своего вагона, охраняя какую-то тайну.

Вдруг все пропавшие высыпали из мрака на платформу, а рабочие участливо пялились на горстку измотанных людей в армейской форме, что пробегали на

их глазах не в первый раз. «Ууу...» — задохнулся Институт, будто и сам долго где-то бегал. После вновь ощутил блаженство, когда стоял в позе надзирателя и даже никого не погонял. А четверо людишек тягали в раскорячку домину то взвешивать, то оформлять, то паковать, превращая цинковый саркофаг в обыкновенную тару.

«Здравствуй, Альберт Геннадьевич!» — воскликнул простодушный прапорщик. И был рад, что обратил на себя внимание, но тут же умолк, не зная, что еще сказать.

Навстречу дядьке, оживая, шагнул со стороны, казалось, невидимый до сих пор человек. «Отец Мухина, встаньте на место!» — раздался немедленно приказ. И маленький человек в шляпе отрешенно отступил назад. Подчинился.

Дядька смутился и явно не ожидал, что попадет впросак. Институт настиг его и зашипел, уже глядя глаза в глаза: «Как это все понимать, голубчик?» «Товарищ начмед, честное слово, я и сам не знаю, как это все понимать, — наспех повинился дядька. — Я так думаю, наверное, познакомился с Альбертом Геннадьевичем сегодня утром, что же в этом непонятного, так и надо понимать». «Да ты какое право имел знакомиться? Он как здесь вообще оказался? Так это ты, голубчик, подстроил?» — завелся Институт. «Товарищ начмед, да я сам не знаю, как оказался, ну вот вам крест! Познакомились мы прямо сегодня утром, когда Альберт Геннадьевич, если виноват, то извиняюсь, стоял, а я-то как раз мимо с рядовым проходил. Ему никто сказать не мог, когда и где отправка двухсотого будет, так он прямо ко мне подошел и спросил. Наверное, так и оказался он здесь. А что он и есть отец, это я потом узнал. Если б сразу знал, да разве бы проронил хоть словечко? Что я, правил, что ли, не знаю? Не в первый раз...» «Да замолчи ты! Молчи, понял, понял? Запомни одно, только одно: с этой минуты ты держишь язык за зубами, молчишь как рыба. До Москвы близко к нему не подходи. Если сам в поезде привяжется, на вопросы не отвечай. Молчи — вот твоя главная задача».

Дядька с облегчением продохнул, из уст самого начмеда слыша, что должен делать, чтобы ничем не провиниться. «Все. Молчу, товарищ начмед. Ну прям как рыба, вы не сомневайтесь, — с усердием произнес он, убежденно потрянул несколько раз головой, точно бы давал сам себе зарок молчать и только молчать, и чуть было не смолк, да спохватился и быстренько, хлопотливо, как про запас, начал тараторить, выглядывая за плечом Института другого человека: «Альберт Геннадьевич, знаешь ли, моя как услышала, ну прямо за горло, стерва, взяла! Купи, говорит, в Москве цветной телевизор — и все. У вас в магазине можно будет достать? Мне бы лучше телевизор все же, а не ковер. Ковер, Бог с ним, уж лучше телевизор. Так сговорились, значит? Телевизор? Цветной? Ох, огромное спасибо... Это не я — это супруга моя. Я-то ковер хотел, хоть что-нибудь. А супруге дался, ей-богу, этот телевизор, и денег не жалко! Говорит, по хате можно в тапочках ходить, стерпим, а вот телевизоры цветные только в Москве теперь продаются. Ох, ну ты извини, такое горе у тебя, ох, сыночка потерял, соболезнаю... Ох, товарищ начмед! Ох, ну все, молчу».

Дядька умиротворился и весь сразу как-то обмяк, похожий на селедку, из которой извлекли скелетик. «Отец Мухина, а вы, я гляжу, преуспели, — оглянулся начмед со смертной скукой в глазах. — Тоже мне Чичиков... Обещайте, что ли, «Волгу», ну или «Жигули». Действуйте со столичным размахом!»

Гробовитый ящик, не самый огромный в сравнении с другими упаковками, в которых томились шкафы, диваны и прочий крупногабаритный людской скарб, втащили в контейнер багажного вагона и заставили последней стеной. Все провожающие, и сам начмед, стояли истуканами у запертого вагона. Давно исчезли фельдъегеря. Закрылся склад.

Несколько мужиков-грузчиков еще простаивали в сторонке, отлынивая от работы. Их окликали откуда-то из темноты — они не шли. Курили. Казалось, прицеливались папиросками, убивая время, и те, как ружья после выстрелов, выпускали дымки, что пахли прогоркло почти пороховой вонью. Меж тем один из них насмеялся над другим, привлекая внимание. «Нельзя ли потише, соблюдайте общественный порядок!» — бросил в их сторону Институт. «Он жену любит! — отозвался со смехом один, тыча уже напоказ в другого, что покорно сносил его усмешки.— Тогда скажи мне, а зачем ты ее любишь? В чем состоит смысл этой твоей любви к жене?» «Да я же не на рынке любовь покупал, честное слово, как это зачем? Люблю, потому что хороший человек, потому что всю жизнь вместе»,— тужился тот, кому устроен был допрос. «А завтра она умрет, и все. Реализм! Ну и зачем ты ее любил?» «А детишки? Мы родили, двое у нас, вырастим. Ну и пусть умрем, зато останутся они после нас». «Читаешь, что в прессе пишут? Тебе такие заголовки не попадались на глаза?.. Сын зарезал отца. Дети расчленили своих родителей прямо в ванной. Ну и как тебе это?» «Да отстань от человека! Что заладил одно и то же, а по сопатке не хочешь, умник? Он верит, любит, а ты ему в душе ковыряешь, лишь бы все в ней расковырять и сломать,— раздался возмущенный голос.— Тебе-то зачем нужно все на свете своими словами портить? Какая такая польза, что веры в любовь лишишь?» «А на это я отвечу всем вам... Вы стройте, стройте, конечно, с верой в любовь или хоть в черта лысого, но постройте-ка что-то нормальное, качественное, что будет стоять без костылей. Нет же, кругом все рушится и рушится, потому что держалось на соплях и слюнях. Я, конечно, могу сжалиться. Мне можно рот и грубой силой заткнуть, конечно. Но если чья-то любовь к жене не выдерживает моей свободы слова, такой брачный союз обречен. Это аксиома. Драки, алкоголизм, нищета — вот и вся любовь».

Вопросы, задаваемые от нежелания что-либо знать, действительно оставляли всех блаженных в дураках, так что, посеяв среди себе подобных уныние и стыд, умный рабочий похвалялся с вальяжной ухмылкой среди одних дураков: «Женитесь, плодитесь... Сначала на жен и детей поработаете, потом на больницу — и в гроб. У жен на кружку пива свои же кровные клячите. На детей по двадцать лет горбатитесь, а они потом в загс — и фьють, еще и на свадьбу постыдятся вас позвать, таких. Каждый день у вас одно и то же, жуete макароны, тащите грыжу и ноете на жизнь, что мало она вам дала. Лично я своей жизни праздник устрою. Я свою жизнь не стану по долгам раздавать. Все только для себя. Баб сколько хочешь, костюм, ресторан и на старость, повкальваю здесь с вами, столько же еще отложу... А если что появится на свет розовенькое — пусть еще спасибо скажет, в ножки поклонится, что я его бесплатно родил».

Все затоптали сигаретки и тягостно пошли куда-то на работу. Он пошагал в ту же сторону, довольный собой.

Платформа опустела. Воздух обхватила судорога ожидания, как в последний миг отправления поезда. Однако два сцепленных вагона никуда не трогались, похожие на обрубок.

«Как я понимаю, пора прощаться,— произнес Институт, но что-то поневоле тяготило его в собственных словах.— Через несколько дней этот вагон прибудет на родину Геннадия, конечно, если только поезд не сойдет с рельсов... Реальность больше не балует нас хорошими новостями. Все взрывается, горит, идет ко дну. Жизнь Геннадия тоже оказалась до обидного короткой. Она оборвалась трагически, в полете, но давайте не будем о грустном. Лучше еще раз вспомним Геннадия. Вспомним и проводим в последний путь минутой молчания. Геннадий, прости, что не сберегли тебя. Прощай, голубчик».

Все должно было кончиться. Однако длилось и длилось ожидание конца. Институты взволнованно отстоял поболее минутки, но, устыдившись вдруг, что позволил себе расчувствоваться, глуповато не утерпел увеселить своей же шуткой только что учиненный траур. «Железная дорога — самый надежный вид транспорта. Что-что, а рельсы со шпалами как были, так и останутся. Ну-с, теперь на вокзал. Там проверите еще разок драгоценный наш вагончик, прапорщик, на месте ли — ну и в столицу. Цветной телевизор... М-да, я бы тоже был не против совершить такую редкую в наши дни покупку. Отец Мухина, между прочим, вы тоже поедете сейчас с нами. Знаете ли, так будет спокойней, а то еще уедет поезд без вас. А случаем, прапорщик, билеты вам достались не в одном ли вагоне с отцом? Ну да ладно, узнаем... На вокзал, друзья мои, на вокзал!»

Но загундосил плаксиво отец Мухина: «Сегодня исполнилось девять дней, как Геннадия не стало. Товарищи, прошу вас ко мне в гостиницу отметить со мной эту дату». «Как вам не стыдно, спекулировать на памяти родного сына! — взорвался начмед.— Его смерть имела место шесть дней назад. Вот приедете в Москву, там и пьянствуйте. Может, вам еще день рождения сюда подать? Да какие вообще могут быть поминки, если его еще не похоронили? Нет, это просто белая горячка какая-то... Хватайте этого психического, тащите в машину, нечего цацкаться с этим алкашом». Однако хватать и тащить маленького человека никто не посмел. «Что такое? Вы что здесь, все с ума походили?! Да какой он отец вообще? Для него же смерть родного сына — это повод, чтобы стакан ему налили, вот и все. Ну так в поезде, в поезде, голубчик, бельма-то зальешь, потерпи, а сейчас мало времени». «Товарищи, прошу вас отметить со мной эту дату, — послышалось вновь заунывно.— Я приглашаю всех к себе в гостиницу, здесь недалеко. До отхода поезда еще много времени. Вы не переживайте, вы все успеете». «А вам что же, голубчик, некуда спешить? Да нет, этого не может быть! Погодите, какая гостиница? Откуда?! У вас же поезд через час... Нет, погодите, предъявите-ка ваш билет... Ведь у вас имеется билет? Отвечайте мне, отец Мухина, пропили деньги на обратный билет? Подлый, ничтожный человек, ну вы же должны присутствовать на похоронах собственного сына!»

Пьяненький прятал глаза и бубнил, казалось, уже себе под нос: «Товарищи... Мы с Геннадием приглашаем... Все народы мира чтят эту дату...» «Ну для чего вы лжете и лжете?!» — закричал Институты. Но маленький человек уныло смолчал. Сопровождающий, что с усердием, как и было велено, не открывал до сих пор рта, пугливо подскочил к начмеду и заголосил: «Альберт Геннадьевич без билета? Разве без билета пускают в поезд?» «Ты-то хоть не лезь! Твое-то какое дело? Тоже мне, дядя Ваня...» Простодушный прапорщик встал так, будто уперся грудью в стену, и неожиданно со слезами в глазах взбунтовался: «А такое, товарищ начмед, что он в квартиру свою обещал определить. А вы молчи да молчи, сами вы, извиняюсь, ваньку валяете! Я на вокзалах не предполагал ночевать. Подумаешь, Москва! А сунься, обдерут как липку. У меня с рядовым суточных по тридцать копеечек на личность, а вы: молчи... И покушать не сможем по-человечески, даже если так, как собаки... Он обещал, сказал, у меня поселишься, Иван Петрович, бесплатно. Супруге своей я что скажу, что деньги на гостиницы профукал, ага? А телевизор, а ковер? Мы всю жизнь во всем отказывали, копили...» Отец Мухина подал заунывно голос: «Иван, я тебя приглашаю...» «И не проси, убил ты меня, Альберт. Я за тобой как за родным пошел, верил тебе, а теперь чужая мне твоя личность стала после такого обмана, так и знай. Товарищ начмед, только вам буду верить. Может, вы его, подлеца, в поезд засунете, а? Врет он, видел я, даже про гостиницу врет — это не номера, а вагоны какие-то на колесах. Давайте, давайте его силком. Пусть едет, пусть хоронит

сына, алиментщик чертов!» «Нет уж... Все... Пусть остается, вот уж кого не жалко», — сказал Институты.

«Погодь, начальник. А я принимаю приглашение. Обожаю древние обычаи». Начмед извернулся, как будто ухватился за что-то руками в воздухе, и только потому не упал. Глаза его немощно шарили по лицам — еще верил, что этот голос за спиной почудился. «Пойдем, батя. Куда ты хотел? Не волнуйся. Помянем как у людей». Пал Палыч подошел к маленькому плачущему человеку, встал подле него, положил руку на плечо. Отец Мухина поднял голову, потом отрешенно улыбнулся сквозь слезы и произнес: «Атомщики, вперед!» В тот миг с его головы сорвалась шляпа. Маленький человек отчего-то безразлично посмотрел на упавший под ноги головной убор, а Пал Палыч расстроился: «Ну ты шляпу свою подними...» Но подбежал Институты, мигом схватил шляпу и, не желая ее отдавать, запричитал: «Куда пойдем? Кто пойдет? Зачем пойдет?» «Шляпу отдай! Она чужая!» — рывкнул Пал Палыч. «Не отдам! Не отдам!» — голосил начмед. «Батя, тебе нужна эта шляпа? Ну?.. Скажи?..» «Мне не нужна эта шляпа», — раздался вялый, равнодушный голос. Пал Палыч ослаб, задрожал, и что-то молниеносное ушло сквозь него.

«Голубчик, ты идешь прямой дорогой на зону, что ты делаешь? — жалобно скулил начмед.— Да по стойте же! Я согласен, согласен! Мы едем на вокзал, а потом куда хотите, я тоже принимаю приглашение, стойте, у нас же есть машина. Я приказываю остановиться... Куда же вы? Одумайтесь, вы же подписываете себя смертный приговор... Ты сгниешь за решеткой... А ты голову сунешь в петлю...»

Последним, чью судьбу предрек начмед, уже без надежды его вернуть, был Алеша Холмогоров. Он неуклюже бежал по платформе, догоняя тех, кто медленно уходил в одну из ее длинных беспросветных сторон. Институты опомнился, узнавая бегущего, и то ли с радостью, то ли завистливо крикнул ему вслед: «А ты не увидишь своих зубов!» Стоящие подле него две штатные единицы из похоронной команды дрогнули. «Товарищ начмед, все бегут, а нам куда?» — взмолился в смятении простодушный прапорщик, будучи готов, если что, побежать.

Дороженька

Холмогоров еще на платформе, когда грузили гроб, узнал в прилудном этом человеке того гражданина, что заявлялся поутру в лазарет. Узнал не по лицу, а по шляпе, когда пьяненький привалился к стеночке, роняя голову на грудь, отчего лицо до подбородка скрадывал шляпный широкополый нимб. Алеша боялся, что пьяница подымет голову, взглянет и тоже его узнает. Раз он остановился, обернулся и удивленно произнес: «Вы кто такие? Вы товарищи Геннадия? А на всех мест не хватит...» Но опустил голову и пошел дальше.

Отец Мухина уводил бесповоротно в глубь кладбищенской по форме и по содержанию местности, что тянулась вдоль нескончаемых костлявых трактов железнодорожных путей. Остатки рельсов и шпал, заросшие травой или почти сровненные с землей, то и дело обнаруживались под ногами.

Гул скорых доносился, как потусторонний, из другой дали... Пал Палыч исколесил Караганду вдоль и поперек, но не помнил, чтобы где-то близко находились гостиницы. Вокзал сам по себе обретался на краю города, где обрывались улицы с многоэтажными городскими домами и роились ульем деревянные домишки. В голове Пал Палыча мелькнула мысль, что пьяненький и сам теперь не ведал, куда шагал. Но остановиться и хорошенько допросить того, кто вел их не-

ведомо куда, не нашлось духа. «Убить, что ли, кого-нибудь?.. — процедил он шепотом сквозь зубы и невзначай, как ни в чем не бывало, обронил уже громко через плечо: — Слышь, доходной, а ты, правда, демобилизованный или так, брехнул для форса?» «Правда. Завтра сяду на поезд и уеду домой...» — поспешил было Холмогоров, но споткнулся на последнем слове. Беглые, они затаили каждый свое молчание.

Вдруг забрезжил огоньками семафоров безмолвный простор, куда железная дорога вытекала рекой путей перед тем, как разойтись сотней направлений во все стороны света. Отец Мухина нырнул с насыпи и очутился на путях, переступая через рельсы так, как если бы двигался не шагами, а гребками. Стоило войти в пространство бездонных стальных линий — и по одной из них безжалостно пронеслась электричка, полоснув лезвием света. Она прошла стороной, но как будто мчалась кого-то убить. В то время, когда они уже шли наперерез почти невидимым в ночи железнодорожным путям, казалось, из вышины молниями выкатились два поначалу крохотных огненных шара. Их мчащийся свет неотвратимо ширился, так что рельсы кругом вспыхнули, как бикфордовы шнуры. Всю ширь располосовали прямые молнии, каждая указывая только свой путь: они тоже мчались, уже под ногами. Чувствуя тошноту и страх, Пал Палыч схватил Алешку и затащил на узкий островок. Маленький человек как ни в чем не бывало шагал по острию стальных молний. «Стой! Убьет! Поезд! Ложись!» — раздался истошный крик. Отец Мухина остановился, даже обернулся, но мчащийся гул и свет так поразили его, что он не двинулся с места.

Когда фигурка на рельсах остолбенела, показала себя гремучая змея товарного состава и через какое-то мгновение вытянулась в последнем броске. Виделось воочию, что прямая колея, по которой несло поезд, сжала человека в своих тисках. Вся его фигурка, стоящая метрах в ста, сделалась чернее тени. Электровоз не сбрасывал скорости. Человек не сходил с путей. Однако, когда рев, огонь и вихрь вдруг свободно пронеслись стороной, а после грохочущая стремительная стена вагонов потекла своей чередой прямо за маленькой жалкой фигуркой, стало до невероятности очевидно, что пьяненький и не думал попасть сознательно под поезд. Вихрь проносающегося состава все же ужаснул его или оглушил. Он схватился за голову, потом отнял руки и протянул их, будто шарил вокруг себя — все ближе и ближе к земле, пока не опустился на колени. На земле тоже шарил руками, маялся, ползал то взад, то вперед. Седые отросшие волосы, перламутрово-стального цвета, взвихренные проносающимся составом, казалось, открыли головушку, делая ее похожей на большую сильную птицу. Но пролетел последний вагон — и голова упала, а волосы свесились плакуче, тоскливо, так что из-под них едва проглядывало лицо.

«Пропала шляпа... Где моя шляпа?» — жаловался отец Мухина, когда его подняли с колен. Пал Палыч выговорил со злостью: «Да какая еще шляпа, сам ты шляпа!» «А шляпа моя где?!» — возмутился маленький человек. «Все. Забудь. Пошли быстрее!» — гаркнул Пал Палыч. «Отдайте шляпу, ну зачем вы это делаете, ребята!» — уговаривал отец Мухина. «Батя, да нету ее у нас, как ты не понимаешь? Там она, шляпа твоя, куда поезд унес». «Ааа, унес...» — успокоился он равнодушно. «Чемоданчик-то свой прими. Вот остался, не дуло». «Благодарю, — произнес отец Мухина, и тяжелый портфель повесился на руке хозяина. — Ребята, по такому случаю прошу всех пройти в реакторный зал... Сегодня исполнилось девять дней, как не стало моего сына Геннадия. Прошу отметить со мной. Понимаете, люди сами изъявили желание из огромного уважения ко мне». «Понимаем, понимаем... — ухмыльнулся Пал Палыч и шепнул воровато Алеше: — Кажись, приехали. Ну ты сам-то как? Иди, может, в обратную. Уматываешь завтра на волю — вот и уматывай. Тебе еще шмотки надо

стребовать с этого врача, подмыться, причесаться, а мы с батяней побредем куда-нибудь, нам с батянькой далее спешить некуда». Холмогоров зашептал в ответ, думая, что тоже оказывает Пал Палычу особенное доверие: «Ничего, у меня времени еще много. Только вы машину свою бросили там, на станции. Может, вам и вернуться? А то как же они на вокзал приедут без вас?» «Пешком дотопают, скоренько. Главное, багаж сдали, отмазались, — буркнул Пал Палыч. — Как бы нам самим успеть ноги унести... Может, это, тоже рванем в Москву? Москва, она большая, места на всех хватит». «Только гостиница что-то далеко. Наверное, этот дяденька дорогу потерял? Что же это будет? Если гости собрались, подумают, что уехал или еще там чего, и все по домам разойдутся». «Ребята, не отставать, нас ждут люди!» — подал голос отец Мухина. «Не отставать! Люди, люди! — заголосил Пал Палыч, содрогаясь от хохота. — Люди, я иду к вам! Я обожаю людей!»

Он забыл обо всем и обо всех, следуя куда-то по велению дерзкого визгливого хохота. Вдруг споткнулся на рельсах. Упал. Затих. Поднялся. И сделался до остервенения одинок. С глухим рыком пинал рельсы, прежде чем переступить через них. Такие, побитые ударом сапога, они исчезали из его внимания. Он отрешенно прокладывал себе путь через меридианы стальных трупиков — с узкими, как у червяков, тельцами. Вспыхнули огни поезда. Но теперь Пал Палыч сам остался стоять прямо на путях, изрыгая ругательства и проклятия. Пассажирский состав пронесся совсем уж в стороне от него. «Да пошла ты, сука, сволочь, падла гадская!» — завопил он истерзанно из последних сил, видя в промчавшейся веренице вагонов осязаемо-ненавистную смертельную колесницу.

Думалось, не могло быть иной цели в этом неприкаянном путешествии по рельсам, как перейти железную дорогу, но маленький человек уводил своих раскисших спутников все дальше по направлению движения поездов.

Стало отчего-то глуше, темнее. Шум и огни относилось в другую даль. Заблудшими существами из ночи стали выбредать отдельные вагоны и целые составы, недвижно стоящие на путях, отрубленные от своих мчащихся огненных электрических бошек, будто убитые кем-то, кто всех опередил. Нигде не было видно, слышно присутствия людей. Отец Мухина, ничего не боясь, вошел в вагонный лабиринт. Стихший Пал Палыч малым ребенком озирался среди отстоя казавшихся исполинскими вагонов, внутри которых отсутствовала жизнь, думая, наверное, что очутился в своем личном аду. Одинаковые округлые окна мерцали темнотой, как если бы он заглядывал в колодцы. Вдруг всплывали выставленные кое-где в окнах белые планшеты с номерами вагонов — 2, 12, 6, 9, 3, 10, 8, — где такие же числа, что и на отрывных календарях, каждый раз заставляли пережить ужас, похожие от неожиданности на лица.

Два состава, вдоль которых они шли по узкой утопанной тропинке, имели на себе также таблички с названиями, очень напоминающие те, что обнаруживаются во всех населенных пунктах, где указываются названия улиц.

Казалось, каждый вагон стоял, как дом на своей улице.

По одну сторону тянулись голубоватые домики, на которых читалось: «Целиноград — Новокузнецк». Но то сплющенное тоской, то стертное давностью, то вдруг до реализма новехонькое, жизненное, сознательное, отчего буквицы, все равно что их раздевали, даже не давали себя прочесть. По другую стоял болотно-сумрачный состав «Туркестан»: одногорбые крыши — вагоны, сцепленные, наподобие верблюдов, в караван. А за ними — испытые, все равно что вагонетки, с пропиской «Кушка — Воркута».

Стоило пройти состав, как начинался другой. Отец Мухина было свернул в брешь между ними, но вагонам не было конца. Они вставали стенами там и тут,

закруживая голову в своем лабиринте. И тянулись один за одним пройденные, чудилось, почти настоящие города — всех не перечесать и не упомнить.

Это могло привидеться потерявшим всякую надежду людям, если б не было явлю: на путях засветились мирные живые огоньки, пахло печным дымком. Уже в тупике, являя собой поэтому нечто обыденно-деревенское, на пути стоял состав, обросший допотопной жизнью, будто пень. Из жестяных труб оранжево-красных вагонов серьезно курился в ночное небо белесый дым, а с простых деревянных крылечек, устроенных для входа в тамбуры, тек на землю смолистый теплый свет. Напротив каждого вагона — своя горка антрацита и своя, мерцающая при свете луны, как антрацит, лужа. Как бывает во дворах, на веревках, но протянутых от вагона к вагону, висело стираное белье: трусы, простыни, штаны, платья, рубахи. Чуть не каждое окно, где занавески были раздвинуты на манер кулис, гляделось кукольным театриком, где бутылки, вазочки, стаканы, как живые, играли и радость, и тоску. На бортах вагонов, во всю их ширь, читалось, намалеванное белой краской: ГОСТИНИЦА, ГОСТИНИЦА, ГОСТИНИЦА, ГОСТИНИЦА... Лаяла где-то собака. Слышался плач ребенка. Тянуло стряпней.

На одном крыльце объявилась хозяйевитая женщина с ведром, плеснула помой в темноту. Глянула на тех, кто шел по двору, и запела: «Ой, здравствуйте, Альберт Геннадьевич, я вас и гостей ваших, быть может, обрызгала?»

«Ни в коем случае, Галочка. Атомщиков земная грязь не возьмет. Все находится у меня под контролем. Радиоактивный фон в пределах нормы», — доложил громко отец Мухина. «Ой, Альберт Геннадьевич, а где ж на вас головной убор?» «Произошла внештатная ситуация, лапонька, но об этом поговорим без свидетелей. Ты все трудишься, хлопчешь, своих обстирываешь?» «Ой, да каких там своих, беженцы это, всюду от них грязюка. Прямо как цыгане, я так вам скажу, не работают, грязнят, грубят. Режут друг дружку, жгут все у себя и разоряют, а потом к нам едут грязь разводить. Скоро у нас, может, вши от них начнутся. И хватило ж ума у власти поселить беженцев в одну гостиницу с пассажирами! Мы плати за купе, а им оно бесплатно — раз они беженцы, так и все должны страдать?»

Истомленная скукой своего добротного женского тела, хозяйка не так возмущалась или жаловалась, сколько красовалась собой. Хмурила брови, всплескивала руками, поворачивала себя будто на подставке, приглашая разглядеть со всех боков. Но отец Мухина уже помрачнел и с энтузиазмом открыл ей глаза на происходящее: «В стране термоядерный распад. По моим прогнозам положение изменится через пятнадцать лет. Не все мы доживем до этого времени, но я верю в атомную энергию. Запасов урана у нас хватит. Будет свет, будет тепло, а это главное. Атомщики не подведут».

«Ой, Альберт Геннадьевич, как же вы доступно обо всем излагаете, что сразу делается так логично, так логично на душе! Спасибо, успокоили, а то прямо кошки по ней скребли. Ой, а что я все о своем да о своем — вас же к месту подвига сыночка отвозили сегодня!» «С двумя генералами на черной «Волге». А это боевые товарищи Геннадия, сопровождают меня. Большого сказать не имею права. Дал подписку о неразглашении. Обстоятельства гибели моего сына будут рассекречены через сорок три года». «Ох, ответственное исполнил задание, раз так секретят. Может, орден посмертно дадут, а глядишь, и Героя, Альберт Геннадьевич! Ох, да сыночка не вернешь, вот она, наша жизнь, как герой — так сразу умри, и пожить не положено хоть немножко». «Гроб поездом отправлен в Москву. А я самолетом, атомщики помогут. Сегодня исполнилось девять дней, как Геннадия не стало. Галочка, прошу отметить со мной эту международную да-

ту, приглашены исключительно проверенные и надежные люди. Прошу прямо в реакторный зал...»

«Знаю, знаю... Приду, блинков своих принесу. Ах, Альберт Геннадьевич, Альберт Геннадьевич!» — пропела хозяйка. «Ребята, я готов», — сумрачно обратился отец Мухина к молодым людям в форме, будто находился под их охраной. Но когда отошли, как ни в чем ни бывало сообщил с каким-то похотливым восхищением: «Какая женщина — арабский скаун! Жена полковника космических войск. Муж служит на Байконуре, личный друг Юрия Гагарина. Она ему бесстрашно изменяла в поисках настоящей любви. Он выгнал ее из дома с двумя детьми. Едет к матери в Ульяновск. Временно ожидает билетов. Четвертый размер груди. У спекулянтов муку достает. Жарит термоядерные блины с яйцом и капусточкой. Мировая закуска».

Пьяненький оживился — даже протрезвел, возможно, с мыслью о выпивке. Усталость как таковая всю дорогу не брала его своим градусом. «Прошу пройти прямо в реакторный зал», — в который уж раз проговорил он с вызывающей щедростью, приглашая подняться на крыльцо одного из желто-красных вагонов. Массивная железная дверь с иллюминатором, что открывала ход в тамбур, была заперта. Но едва отец Мухина по-хозяйски постучал в нее кулаком, как по ту сторону возникло простое ясное лицо встречающего.

«Альбертыч, докладываю тебе, все люди в сборе, и стол давно накрыт! Переживали, что с тобой. Было мнение, что ты больше не придешь. А я знал — вернется, сдержит слово...» — восхищался добротный расторопный мужик. В своей ночлежке на колесах он, должно быть, по-прежнему исполнял работу проводника, но отчего-то и оделся к ночи по всей форме: фуражка с путевойской кокардой, костюм, рубашка, галстук. «Что за люди? Проверенные? Надежные?» — тревожно переспросил маленький человек. «Люди проверены и надежны. Стол накрыли, собрались, ждут. Альбертыч, не сомневайся», — заверил человек в темно-синем костюме ведомства путей сообщений. «А ты осознаешь, какая сегодня дата? Реактор должен работать на полную мощность. Сегодня инженер-атомщик Альберт Мухин отдает последние почести своему сыну». Проводник ответил верой и правдой: «Осознаю. Проводим к Богу в рай, сделаем все как положено. Альбертыч, не сомневайся» «Ладно, это ты осознаешь, — проямлил, скучнее, отец Мухина. — Эти двое со мной. Так надо» «Да пойдем же, чего на холоде стоять! Ну давай портфельчик приму... Ребята, гостюшки, будем как родные. Вы — это я, не сомневайтесь. Альбертыч! А где шляпа твоя? Что еще стряслось?» «Старик, ее больше нет. Все. Забудем о ней. Старик, жизнь говно, и все в этой жизни говно. Все! Кроме атомной энергии, дружбы... и смерти».

Вагон оказался плацкартным, каких тысячи и тысячи в этот же час находилось в пути, объезжая все края, области, республики, города огромной страны. Будто бы протекший электрическим светом потолок. Теснота в проходе. Туман съестных душиков, когда жареное, вареное, домашнее, покупное, пайковое пахнет все вместе и потихоньку разлагается в жилом тепле. Стыдливые перегородки-стеночки. Полки слева, полки справа — все свободные, без людей, но слышались все явственней их голоса. Отец Мухина шел на звук голосов так важно, что принуждал толпиться за собой. «Это удивительный и неповторимый человек, — подпихивал уже со спины неугомонный проводник плацкартного. — Мы-то что! Мы живем и спим, а такой человек живет и глаз не смыкает за нас за всех. Другой пристроился в торговле или еще где, для себя одного, а такой человек профессию выбирает, которая для всех тепло дает и свет. Душой болеет, формулирует, заявляет, творит... А сколько терпит? Где беда какая в стране происходит — там и он, закрывает собою! Все свое отдал, даже сына. Эх, не сберегаем мы такого человека, потому что себя бережем».

Люди обнаружили на другой половине вагона. В отсеке, где все собрались, должно быть, квартировал отец Мухина, свою отдельную полку в нем и называя «номером». Его встретили в скорбном молчании, казалось, тоже собравшем в складчину. Вокруг накрытого стола, с похоронной даже на вид трапезой, умещалось с дюжину гостей. Стол был самодельным. Кто-то хитрый на выдумку перекинул дощатый мосток между откидными столиками, что крепились по разные стороны каждый у своего окна. Самодельную столешницу покрывали белые простыни. Так был устроен натуральный алтарь для поминок, во всю длину которого мог бы уместиться гроб того, кого всем миром провожали. Гости тесно сидели вдоль него на пассажирских местах: были заняты нижние полки, а в проходах еще сидели на перекинутых также в виде мостков досках. На верхних полках — и на боковой верхней, то есть как бы и поперек стола — приходилось лежать еще трем гостям, чьи головы беззвучно висели плафонами над застольем.

Одну нижнюю полку не иначе как с приходом хозяина немедленно освободили и дали место инженеру-атомщику. Он изображал, что тело его охраняют молодые люди в форме, и мрачно-возвышенно молчал. Все это оказало на собравшихся сильное действие. Гости застыли на своих местах, глядя с той же мрачноватой возвышенностью на отца Мухина, тогда как сам виновник торжества углубился в осмотр стола.

Отец Мухина осмотрел подношения с равнодушием и гордостью сытого человека. Его строгий взгляд искал спиртное и соблазнился лишь тем, что было разлито по бутылкам. На шпиле одной из них, по виду — водочной, взгляд его совершенно застыл и так же остекленел. «Водочка?!» — восхитился он поневоле замороженный. «Не сомневайся, Альбертыч, она самая, раздобыл по талону, специально для тебя. Еще консервы и подсолнечное масло из гуманитарной помощи. Все свое отдал», — был рад обмолвиться на людях проводник, однако зардевшийся миготом от стеснения. «Тогда попрошу предоставить мне сто пятьдесят грамм, — произнес отец Мухина незамедлительно. — Наливают всем! Объявляю готовность номер один... Попрошу всех и каждого вслушаться».

Он сделался не то мерзок, не то жалок в эту минуту оживленности, хотя собравшиеся внимали ему и готовы были только скорбеть. Скорбь, однако, тоже овладела его лицом, когда начал говорить о самом себе, будто и присутствовать изволил на собственных поминках. «Вселенная состоит из атомов, а я, Альберт Мухин, в этой стране имел отношение к объединению под названием “Спецатом”. Вселенная без атомов — это говно. Еще час назад я стоял у гроба своего сына, и мне не было за него стыдно. Сын Альберта Мухина стал атомом во Вселенной. Он ушел как настоящий атомщик, он шагнул в свой пылающий реактор... Попрошу осознать это всех и каждого. А теперь я скажу стихами моего любимого поэта Евгения Евтушенко: смерть не гавань — смерть обрывает пути кораблей... Геннадий, отец с тобой. Я прощаю тебя за то, что ты сделал, старик. Мы встретимся во Вселенной!»

Когда отец Мухина после речи пополнился на сто пятьдесят граммов водки, то утратил какой бы то ни было интерес к происходящему. По необходимости люди еще копошились с закуской. Он не закусывал и уткнулся взглядом в опустошенный граненый стакан, так что оживление за столом неожиданно сделалось отдельным, даже неприличным. Гости преждевременно затихли — он все равно продолжал находиться в полном молчании перед своим стаканом, будто в нем собралось и все его горе. Кто-то не вытерпел этого молчания и, думая, наверное, угодить, отличился задушевым вопросом: «Скажите, а что же все-таки явилось причиной гибели Геннадия?» «Мой сын погиб, защищая демократию!» —

отчеканил отец Мухина. Плацкарта убито воспарила в каком-то высоком падении. Вопросов больше не было. Никто не смел по доброй воле усомниться или хоть расспросить, а тем более заикнуться о чем-то другом. Все возвышенно ждали, когда кончится минута молчания, а кто-то опять же не вытерпел и от переполнявших высоких чувств поднялся в полный рост, как осужденный во время оглашения приговора, но отец Мухина упрямо не размыкал уста, так что молчание превращалось уже почти для каждого в пытку стыдом.

«Альбертыч, что с тобой?» — испугался проводник. «Моему сыну не было налито водки», — заговорил тот, не меняя выражения лица. «Да ты что, думаешь, кому-то этой водки жалко? Эх ты!» Все вокруг вновь всполошились: раздобыли стакан, налили водки, а сверху положили ломтик черного хлеба. Отец Мухина произнес: «Поставьте мой стакан рядом со стаканом Геннадия». Когда проводник бесшумно исполнил его волю, он вдруг отдал команду, пугая людей: «Пьют все!» Собравшиеся залпом опустошили стаканы, но здесь увидели, что отец Мухина так и не притронулся к своему. «Альбертыч?! Да что такое?» «Больше я сегодня не пью. Старик, так надо. Люди... Прошу всех оставаться на своих местах».

Успокоенные гости остались на своих местах и принялись торопливо закусывать. Селедка, холодец вмиг разошлись, а уже в довесок жевали хлеб, грузились картошкой. Все главное было скоро съедено. Начались разговоры о жизни и смерти. Люди с верхних полок первые подали голос, так как им требовалась помощь в получении лакомых кусков. Они же и затеяли философствовать с теми, кто сидел внизу и мрачно подавал им наверх тарелки.

Одна молодящаяся, быстро опьяневшая дамочка осмелела и взялась обслужить двух солдат на манер хозяйки. Навалила полные тарелки несъедобной водянистой кутьи, а следом воскликнула уже капризно, со слабостью и сладостью в голосе: «Мужчины, почему вы не пьете?!» Пал Палыч, которого дамочка и одаривала притом брызжущим от недоумения взглядом, ухмыльнулся ей в лицо и стремительно ответил: «Настоящий мужчина тот, кто пьет последним, а трезвеет первым». «Молодой человек, так вы настоящий мужчина? О, кажется, я не представилась! Елена... А вы?» «Для друзей и блудей я зовусь просто Рафаэлем». Дамочка сиротливо скукожилась. Сквозь шершавый слой пудры, подмалеванный девичьим румянчиком, проступили лиловые пятна. Она решила оскорбиться не сразу и голосом надменно-равнодушной учительницы произнесла: «Простите, а к какому роду своих знакомых вы относите меня?» Пал Палыч помедлил, вынуждая дамочку ждать, и вдруг улыбнулся: «Мы не знакомы, я с вами водки еще не пил». «Так совершим же это священнодействие!» — бездумно воскликнула пьяненькая. «Елена Прекрасная», — шепнул он так, чтоб услышала только она. «Рафаэль, давайте подружмся. Давайте выпьем, Рафаэль!» — порхнул над застольем ее лепет. «Нет вопросов, да еще с такой роскошной женщиной!» — откликнулся настоящий мужчина, и глаза его засветились мертвенным, жестоким огоньком.

Дамочка старалась придать своим неуклюжим пьяным шатаниям над столом какое-то замысловатое изящество. Вальсировала она около стаканов с водкой, отставленных рядышком отцу да сыну, на которые, кроме нее, никто не глядывался, довольствуясь самогонкой. Она хотела сцапать их под шумок, но всему препятствовал отец Мухина, чей бессмысленно-горестный взгляд также блуждал около этого сооруженного на столе по его воле граненого монумента. «Ну почему никто не пьет эту водку, ее ведь надо будет кому-то выпить, чтобы она не пропала?» — воскликнула наконец она. «Пайка — это святое. Пайку, что покойнику, что живому, отдай и забудь. Понимаете, Леночка, здесь все глубоко душевно, хоть снаружи вроде бы обыкновенный натюрморт. Стакан — это

могила. Черным хлебом накрывают — так могилу засыпают землей. Водка в стакане, она же душа. Когда испарится и стакан опустеет — все, отмытарилась, ушла. В данный момент мы сидим, как олухи, и наблюдаем это природное явление». «Ха-ха, Рафаэль, какой смешной анекдот! Я ничего не желаю знать об этих ваших ужасах. Ненавижу! Я, простите, еще живая. Я хочу все знать о цветах, о море, о любви...»

Это прозвучало кощунством. От дамочки, как приличные люди, отвернулись ее соседи. Но слово за слово все дружно заспорили о любви и смерти. Громко, шумно — полыхая языками. И каждый выпячивал себя, будто подпрыгивая и заявляя, что он здесь тоже со своим мнением очень даже есть. Поверх звучащих голосов то и дело раздавались чьи-то уже невменяемые крики: «Любовь — это секс!», «Бога нет!» И еще выпускал дух, стоило ему собраться с таковым, засыпающий отец Мухина, что просыпался, однако, не согласный ни с чем и ни с кем, и всякий раз прощально гудел: «Я все р-разрушу-у-у-у!»

Люди в споре прогорали, как дровишки. Скоро костер его сошел до заунывного горения, спорщики разбились на кучки. Кто-то вовсе с разочарованием умолкал.

За окнами вагонов чернела ночь. За все это время более значительных происшествий не случилось — ну разве что появились на несколько минут да исчезли блины, обещанные хозяйкой отцу Мухина, а сама она осталась подле него, сердитая на всех, кто поел ее угощение. На шум из других вагонов забредали сторонние люди и стояли в тесном проходе, как в очереди, наверное, по привычке в нее выстраиваться, но им ничего не давали — ни сказать, ни выпить или съесть. Сквозь очередь этих взрослых приживалок — людей спившихся и опущенных, судя по их виду, а также нескольких опрятных и бедных старух — к поминальному столу вдруг протиснулась девочка, что была ростом с бесхозный солдатский бушлат, в котором ходила. Распушенные смолистые волосы запрятывали ее до плеч как в платок. Смуглая дикая мордочка, что глядела по-старушечьи наружу, морщилась в страдальческой гримасе. Тычась в спины сидящих за столом, девочка затянула хриплым, грубоватым голосом: «Дай поесть... Дай на хлебушек...»

Побирушку, что лезла под руку, отпихивали не глядя локтями — она не обижалась, лишь, казалось, было ей удивительно, что собралось столько много людей, чтобы поесть, и отгородились спинами, как если бы от нее одной. Она установилась, довольная все же тем, что оказалось первой в очереди у стола, подглядывая за едой. Голодной, ей чудилось, что большой странный стол полон пахучих, самых вкусных яств. И, хоть просила хлеба, глядя на разве что замызганные остатками еды тарелки, силой воображения раскладывала на них то сладчайший виноград, то медовые соты дынь, то дмящиеся куски отварной баранины — все, что ела когда-то давным-давно. Это созерцание собственного миража приятно усыпляло ее — наверное, от измождения она еще сильнее хотела лечь и уснуть. Но что-то настойчиво пихнуло ее в бок. Девочка открыла слипшиеся от дремоты глаза и с неудовольствием увидела чью-то протянутую руку, казалось, выпрашивающую уже у нее. Девочка осуждающе-строго взглянула на попрошайку, которым оказался сидевший за тем же столом солдат, не замечая плитки шоколада, что выглядывала из прямого, как палка, рукава солдатской шинели, где пряталась почти целиком рука дающего.

Видя перед собой солдата, побирушка чуть не обрадовалась, разжимая угрюмые губы, но улыбка мигом скрылась с ее просиявшего личика, когда Холмогоров тоже улыбнулся. Похожий на пугало, этот солдат и улыбался, будто нищий или уродец, который что-то кланчит и унижается. Все эти люди, которых звали «русские», были в ее глазах глупыми и жадными. Глупые, потому что их

было легко обманывать, а жадные, потому что выскребали как последние всегда одни копейки. В своей душонке она даже презирала за что-то всех русских; теперь же, в голодной дремоте да и от безразличия, она не понимала, чего хотел от нее один из них. Происходящее, однако, хорошенько разглядела блинная вдовушка, полковничиха, что, сотрясая воздух грудями так, будто махала двумя кулаками, накинулась крикливо на Алешку: «Не давай, не давай ей ничего! Гоните, гоните ее! У ней, может быть, вши! Ну никакого житья от этих беженцев, совсем обнаглели... Нарожали там у себя, так еще и детей их хлебом с маслом корми!»

«Проститутка!» — выкрикнул человек в солдатском бушлате, озираясь в окружении глупых и жадных людей, что глядели со всех сторон. Обруганная полковничиха пугливо обмякла. Девочка дышала учащенно, как загнанный и ждущий смерти зверек, хотя гости равнодушно осматривали ее и спяну мало что понимали. Она что-то отчаянно и зло выкрикнула, проклиная на своем языке тот, чужой, что принес ей только страх и стыд, и вдруг бросилась под защиту к солдату, а уже под общий хохот со всей страстью обхватила его руками, почти как влюбленная женщина, что и стало смешным. Полковничиха не могла сначала выдать из себя ни звука, из накрашенных кукольных глазок вылились слезки. Тушь потекла, отчего под глазами возникло два синюшных пятна. «Это я проститутка? Я, я?!» — застонала она дрожащим голосом, точно была избита. Маленькая побирушка, в страхе перед которой взрослая домовитая женщина, казалось, и содрогалась теперь всем своим существом, мигом высунула оскаленную мордочку и, прижимаясь к Холмогорову, больше ничего на свете не боясь, опозорила полковничиху еще раз тем же словом.

Полковничиха зарыдала и, прежде чем исчезнуть прочь, заверещала в сторону гостей: «Блины-то мои блядские вон как сожрали, не побрезговали? Знаю, знаю, кто это грязное мнение обо мне распускает... А сама-то кто? Подумаешь, образованная, тощая, со вкусом! Я, может, не такая тощая, может, вилять не умею, чем она виляет, зато детей своих с мужем нажила, они у меня все родители имеют, все ухоженные, сытые, здоровенькие. Я женщина честная... Я хоть и нахожусь временно в разводе, но с первым встречным никогда. Я идеала своего жду, большой любви, а она-то бросит дите и шастает по вагонам, сучка. От нее даже запах такой. У ней, может, вши уже от этого завелись. Гляньте, гляньте, может, полные трусы...— И схватила за грудки отца Мухина.— Альберт Геннадьевич, вы пригласили на поминки, и я пришла со своими блинами, а меня здесь оскорбили. Альберт Геннадьевич, вы подлец! Я больше не желаю вас после этого знать!»

Пьяненький покорно давал себя трясти, ругать подлецом и бесчувственно молчал. Когда она выскочила опрометью из-за поминального стола, уже не как побитая, а будто голая, пряча всю себя пугливо в своих же судорожных объятиях, отец Мухина, должно быть, ощутил подле себя холодную пустоту и тоскливо произнес: «Какая женщина... Какая женщина...» А через минуту за столом снова поднялся заунывный галдеж. Все со всеми продолжали спорить. Девчонка тяжелова-то вскарабкалась на колени к солдату — понукая того, как непонятливого, чтобы помогал, — а когда уселась, то сама отняла у него шоколадку, спрятала ее незаметно, попросила хитро еще одну, но опять же спрятала.

«Это плохо, что ты матом ругаешься. Девочкам матом ругаться нельзя», — сказал Холмогоров. Она угрюмо сомкнула губы, сползла — и пошла вразвалочку, точно гусыня, наверное, туда, откуда пришла.

Когда побирушка исчезла в сумраке плацкартного вагона, Алеша от мысли, что обидел ее, затосковал и поник, вспоминая, какая она была слабая и голдная.

Прошло время. Вдруг что-то мягкое и легкое коснулось спины: это побирушка прижалась к нему потихоньку, проверяя, тот ли он человек и не забыл ли ее, но делала вид, что никуда не уходила, а оставалась здесь же, рядышком. Вытягивая длинную гибкую шею, приближая этим к себе роившиеся звуки спорящих голосов, она всерьез вслушивалась, вглядывалась в лица, не отрывая даже на миг всепонимающего пытливого взгляда, как если бы и не свидетелем была, а судьей.

«Вот ты и пришла...» — проговорил Алеша, чувствуя себя прощенным. Она услышала, впилась в него таким же пронзительно-нежным взглядом — и засмеялась, довольная собой, думая, что понравилась своей красотой этому неуклюжему доброму человеку; а успокоенная наконец, что и он никуда не исчез, обхватила рукав солдатской шинели, точно хотела обезьянкой вскарабкаться по Алешиной руке куда-то наверх.

Алеша терпел все это. Она снова засмеялась, потому что он тужился, пыхтел, чтобы удержать ее на весу, и восхитилась сама собой: «А я вот какая тяжелая!» Потом сильно потянула к себе его руку, так что Холмогорову пришлось сдаться, и тогда уже, наверное, с желанием восхитить, воскликнула: «Вот какая сильная!» Ей было отчего-то очень хорошо, и она шепнула: «Можно, я только тебе потихоньку матом скажу...» Сидя на коленях у солдата, девочка прижалась к нему, чтобы оказаться еще ближе, и шептала, гордая тем, что делается взрослой. Он не видел ее лица, ощущая только теплое, мерное дыхание где-то у виска. Покорно слушал. И ей стало скучно, как если бы играла совсем одна. Тут же она все забыла и принялась просто болтать без умолку: «Я знаю много солдат! Нас солдаты сюда привезли. Солдаты нам есть и пить давали, бушлат давали, таблетки... А у тебя автомат есть? У всех солдат есть автоматы, я видела. Где твой автомат, где?» Холмогоров почему-то соврал, будто должен был придумать сказку: «У меня есть автомат, но я забыл его взять с собой». «Ты можешь убить!» — обрадовалась девочка. Алеша промямлил: «Это очень плохо, когда из автомата стреляют в людей. Ты лучше садись покушай, ты же кушать хотела». «А зачем тогда у тебя автомат?» — упрямо допытывалась побирушка. Он молчал, и девочка хмурилась, но, хотя и сердитая, взобралась на колени к своему солдату, чтобы тот ее угощал. И опять распахала все добытое по карманам своего бушлата, будто шоколадки и куски хлеба были кормежкой для их же прожорливых ртов.

На этот раз она отбивала свою крысячью работку почти без усердия, хотя покинула поминальный стол с одутловатыми, похожими на животики карманами. Она так и не поверила Холмогорову: подумала, что стрелял, а теперь вот соврал. И сказала, снова куда-то устало засобиравшись: «Я приду к тебе, и мы будем пить чай. Этот поезд никуда не уедет, я знаю, можно уходить и приходиться».

В полумраке, почмокивая, кормились горячим чайком — им потчевал проводник. Вяло говорили каждый о своем, а кое-где за столом уже зияли пустоты. Отец Мухина уснул в той же позе, в которой горевал: уткнулся в стол, обнимая его руками, что одеревенели за многие часы и сложились теперь в поленицу, на которой и лежала, будто на плахе, его седая грязная голова. Зато будоражил окружающих каким-то отчаянным весельем, цепляя да задирая всех вокруг, один из его телохранителей — Пал Палыч, он же Рафаэль; никому не давал покоя — он веселился, и все должны были веселиться, даже если не хотели этого, а особенно жалкая пьяная дамочка, которую он никуда не отпускал от себя, называя с хохотом Еленой Прекрасной, заставляя есть что-то из своих рук, тиская под столом. Она капризно отбрыкивалась, но уже была не в состоянии выдать из себя и нескольких внятных фраз: Проводник одиноко ходил по вагону, приносил стаканы с чаем, а в промежутках, когда терпеливо ждал, что кому-то еще захо-

чется чайку, подсаживался к спящему и такому же одинокому инженеру-атомщику, будто о чем-то с ним молча беседа. Он бодрился, как на работе, но испытывал от всего такое умиротворение, что был готов бесплатно прислуживать, не ведая ни уныния, ни усталости. Ему нравилось сидеть подле отца Мухина и, пока тот спит, все равно что служить этому удивительному, неповторимому человеку. Нравилось носить стаканы по неспящему ночному вагону. Нравилось, что кругом так много надежных и проверенных людей. Что густо-густо дымится кипятком в стаканах и плавают, отдавая тому все соки, собственная его заварка, цены которой он, однако, не знал. За стакан чая брал обычно столько, сколько давали, только бы заказали, а иначе он отчего-то не мог. Чай вот уж год исчез из магазинов. Он слышал по радио, что во всей стране не стало чая. Украденные кем-то и где-то крепенькие пачки с чаем проводник выменивал на дармовой уголек, тоже, получалось, краденый, потому что топил он свой вагон-гостиницу пожиже — и так заботился о постояльцах, полагая горячий чай для них, как и для пассажиров в пути, главным в жизни.

«Дай нам два стакана чая без сахара», — сказала важно девочка, когда вернулась, и добротный расторопный человек счастливо ожил. «Будет исполнено, хозяйюшка. Два стакана чая с сахаром!» — скомандовал он сам себе и побежал.

Холмогоров не обрадовался ее возвращению и чего-то испугался, когда побирушка вскарабкалась к нему на колени, желая сидеть за столом только так. Он не смог бы обидеть ее, но затосковал и поник уже от близости этой не по годам взрослой, странной беспризорной девочки, чувствуя стыд, который пришел вместе с ней. Видя стол перед девочкой пустым, взъярился Пал Палыч и вскричал: «Гады, это вы жратвы жалеете для нее? А ну, сестренка, отнимем все у них, тебе питаться, расти надо, а им не надо. Они сдохнут завтра. Видишь? Все тебе! Ешь сама и никому не давай». Он сгреб со стола к одному краю, где сидела девочка на коленях у Холмогорова, все съестное и пригрозил: «Гляди, сестренку мою не обижайте, а то нос откушу! Она одна мне говорить здесь может... Поняли вы все? Хавай, сестренка, надейся, я сказал! Кто ее тронет — убью!»

Девочка молчала — этот солдат пугал ее и, казалось, был даже глупее и жаднее всех тех, у которых отнял для нее же еду. Когда он оставил их в покое и отвернулся, она передвинула тарелки от себя — к тем людям, у которых он все отнял. Себе оставила лишь несколько кусков — и столько же отложила чуть в сторонке, для Алеши. После помолчала и произнесла вслух то, что, наверное, отняло ее покой: «Это очень плохой человек. Почему ты дал кричать на себя этому человеку? Я сама его убью, если найду автомат». Холмогоров не знал, что ей сказать в ответ, и спросил: «Как тебя зовут?» «Айдым». «Айдым? — переспросил Холмогоров, чтобы было о чем говорить. — Это на дымок похоже». «А ты похож на верблюда! — буркнула она с презрением. — Тебя так зовут? Надо пить чай. Я люблю чай. У нас дома все пили очень много чая. А у тебя есть свой дом?» «Есть... Завтра я сяду на поезд и уеду домой».

Девочка нахмурилась. «Твой поезд уедет далеко?» — спросила она уже слабо, будто ей было отчего-то стыдно спрашивать об этом. Алеша сладко забылся, вспоминая о доме, и долго рассказывал, как если бы сидел в вагоне поезда и, не помня себя, ехал дни и ночи домой. Айдым вслушивалась, вглядывалась в изуродованное судорожной улыбочкой, будто шрамом, взволнованное лицо, долго не отрывая этого понимающего, пытливого взгляда, и сама же вдруг заставила солдата замолчать, когда вслух произнесла: «Я буду твоей женой».

«Что?! Ну женись ты, а, Леха? Я хоть гульну напоследок! Душа вся истрепыхалась, ну как ты не поймешь? — раздался за столом радостный страдающий вой. — Лучше моей сестренки нету, и не думай. Мы, сиротинушки, знаешь как

любить умеем? У-у-у... Сердце к сердцу как гвоздем приколочено, вот она какая, наша любовь. А может, брезгуешь? Да ты не гляди, что как чучело одетая... Она из золота, девочка, с брильянтиком внутри, это я тебе говорю. Да женись ты, дурак, Богом тебя прошу! Ух, черт, ну ладно, кончилось мое терпение... Значит, раз и навсегда, именем всех властей, черта и Бога, смерти и жизни, заявляю вас, сестренка с братишкой, как мужа и жену! А вы чего рты раззявили, падлы? Не радостно? Вы на поминках были гостями, а теперь у нас праздник, все на свадьбе нашей гостят, унюхали? Так, всем радоваться, а то убью! — И заорал во всю глотку: — Горько! Горько!» С той же прущей из души силой Пал Палыч неожиданно схватил в объятия свою дамочку, без того растрепанную его ухаживаниями, и впился в ее губы, сжатые страхом. Поцелуй был вызывающе долог. Гости оцепенели, но выдавливали наружу улыбки, смешки. Она, Елена, спустя минуту ожила. Задергались одеревенелые ручки, ножки, что торчали палками из удущенного по-удавьи женского тельца. Стало слышно, как она жалобно ноет спертым ртом. И он, хотя получил от нее этот первый поцелуй, разохотился, играючи, нарочно помучить: замычал в ее ноющий рот, изображая, наверное, безумную страсть. Она опять обмякла в объятиях — он великодушно прекратил пытку. Когда отпустил, вывалилась, похожая на труп, с лицом-маской, в которой будто б отверстие вырезал ее рот: жаркий и пухлый, с пунцовыми лепестками губ. Они шевельнулись: «Отпустите... Помогите...» «Поздно некурящую изображать, — усмехнулся ее мучитель, довольный собой. — Выкурим по сигареточке, и пойдешь к маме с папой... Сделаю тебе море любви, все в цветах, ты же сама просила!»

Айдым, пряча лицо, хриловато пыхтела в солдатскую шинель, уткнувшись в нее все равно что в мужнину. Сам Холмогоров, как потерянный, таращился на своего напарника. Слышал, что звал он себя новым именем, и отчего-то с покорностью ждал, когда тот заговорит с ним и окажется опять собою, прежним. Однако новый герой блаженствовал. Раскинулся на полке, одну руку, что хомут, повесил на шею бездыханной дамочке, а другой дирижировал с ухмылкой гостями. Те по его желанию произносили здравицы. Потом ему захотелось песен, и он затянул надсадно: «Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход...» Не слыша, чтобы ему подпевали, состроил зверскую рожу, означающую: «Пойте, а то убью!» Люди жалобно вразной подхватывали очень детскими голосками: «Ах, как жаль, что это все кончается...» А он упоительно солировал, жмурясь в слезливой истоме.

Подхватил и Алеша, вместе со всеми. Он привык слушаться своего таинственного напарника. Госковал хоть по какой-нибудь добrote. Мог бы, конечно, не знать тех слов и мелодию: слышал много раз в детстве, а после, казалось, не слышал и давно позабыл. Но вдруг взял и запел, каркая на один лад как в строю, противно для музыкального слуха, зато дружно и громко.

Когда ее солдат начал петь, девочка затихла, слыша в его груди похожий на печной, ровный, глубокий гул. Она была испуганной и сердитой, а стала доброй и счастливой. Холмогоров ощутил, что с души ушла давящая тяжесть, как это было, когда Айдым, задыхаясь, вжималась в него со злостью. Грудь обложило, будто ватой, приятное щекочущее тепло. Да, пожалуй, и овладело Алешей, пока он с радостью, забывая себя, громко-громко пел. А паучки цепких проворных рук карабкались по солдатской шинели, забирались по очереди в карманы, шарили в неожиданной пустоте... Не найдя того, о чем подумала не иначе только от счастья, Айдым оробела: зная, что под шинелью у солдата должно быть еще больше карманов, чем снаружи, девочка не смела прикасаться близко к его телу. Она отчаялась плести свою паутинку. Отдернула руки. И, не зная слов чужой русской песни, стала ей тихонько подвывать.

Ска-а-тертью, ска-а-тертью да-альный путь сте-е-лется!
И-и у-упирается прямо в небосво-о-од!
Ка-а-ждому, ка-а-аждому... в лу-у-учшее ве-ерится!

Свадебка играла и пела. Под шумок этой печали-радости очнулся в полумраке плацкарты отец Мухина.

Заспанные, пресные глаза выпучились, как у рыбы, и, уже обиженные, озирали происходящее. Притом, казалось, он был глух, глядя на поющие рты. Не понимал, в каком времени да и месте очутился. Только осознавал с отвращением, опять же каким-то рыбьим, что находился среди людей. Выуженный на сушу, оглушенный ощущением собственной трезвости, отец Мухина изредка оживал от вздоха и выдоха, больше не закрывая глаз. Он глотал воздух, но это не утоляло его жажды. Перед ним с молчаливостью скорби стояли два граненых стакана, в которых свинцово отсвечивала водка. Стояли, точно придавленные сверху одинаковыми кусками черного хлеба, что за эти часы почерствел и стал еще черней.

«Батянька наш приехал...— радушно заметил за столом испрямившуюся фигурку Пал Палыч, он же Рафаэль.— Ну давай рассказывай мне, где был, какие подвиги совершил. Обожаю слушать сказки. Так оно вроде, знаешь, все одно и то же, хоть волком вой. А хочется все так, как не бывает. Ну да разве это вопрос? Знаю я или нет — вот вопрос! А я-то знаю, знаю... Эх-ма! Ну почему в жизни точности нету, скажи? Чего же ты молчишь? Сказочку выдумал, а про жизнь свою не поймешь или притворяешься. Ну это как раз поймешь, я для этого шкурой рискнул. Глядел, глядел на тебя, когда ты по стойке «смирно» там, на платформе, стоял, и подумал: не должно такого быть! Я ведь, батя, знаю, кто стрелял, водила все и про всех знает, чуешь, какая сказочка получается? Скоро и ты узнаешь, что за смертушку твой сынок принял. Не хочешь, а узнаешь. Все будешь знать!»

Отец Мухина молчал, глядя все так же в одну точку. Казалось, он стерпел удар палкой по спине, от которого лишь вытянулся судорожно в росте. «Ну опять по стойке «смирно»... Так бы и раздавил тебя... Надоел... Червяк ты или человек?!» Глаза, пронзительные от боли, зыркнули на этот раз прямо в цель, отчего Пал Палыч, он же Рафаэль, опомнился и умолк.

Вдруг маленький человек обрел дар речи, сумрачно произнес: «Где моя шляпа?» «Батя, батя... Что же ты за человек!.. Пропала шляпа. Ушел ты от нее погулять»,— сдобрился было служивый. «Ты кто?» — раздался другой вопрос. «А я тебе буду как привет с того света. Меня к тебе Гена Мухин кое-чего шепнуть послал, слышал про такого? Про сына родного? Только он не герой никакой... Пальнул в него офицерик, вроде его же начальник, потому что захотел. Пистолет был в кобуре. Силища, не то слово! Хочешь — казни, хочешь — милуй, прямо как Бог для других. Руки чешутся, психуют — вот и произвел свой выстрел, вынул разок из кобуры. Лечит он сейчас нервишки в лазарете, потому что так надо. А сынок твой сейчас в цинковой одежке едет червей кормить, потому что так надо. А всем только поскорей, на самом скором, чтобы жизнь продолжалась! Так, по ошибке родился, по ошибке жил — все по ошибке. Ну вот, значит, исправили. И ты исправляешь, сволочь ты такая, под водочку... И я... И все... Тошно жить!»

Опять разверзлась тишина, слышная до каждого скрипа, каждого шороха. Люди заерзали. На верхних полках все слушали, однако мигом притворились спящими. «Рафаэль... Рафаэль...» — зовуще промямлила в своем дурмане дамочка, но вдруг противно захрапела. Ночь вошла в плацкартный вагон, как в наглухо заколоченный гроб, наверное, входит глубоко под землей иная глушь и тьма. Один из гостей, что сидел с краю, рванулся — и сбежал. Кто-то хихикнул. Было

душно. «Может, еще чайку?» — вопрошал одиноко проводник. Отец Мухина вцепился в один из стоящих перед ним стаканов, в котором осталась водка, и быстро опустошил. «Что мы будем делать?» — удивился Алеша, глядя вокруг себя и ничего не понимая. «Спокойно, этот поезд идет по расписанию. Не суетись, доходной, сойти успеешь. Это легко. Не пропадет твоя путевка в жизнь. Главное, ты ведь ни при чем, запомни. Это для меня остановок нет, билет в один конец, а дорожка круглая, как колесо. Мне других бывает жалко, а свое хоть в огонь. Может, боли не чувствую, привык. Могу сигареты языком тушить, куда хочешь гвоздь в себя вогнать — не больно, не жалко. Ну и ладно, прокачусь. Ну пойте тогда, что ли, на прощание, вот хорошо было! Не желаете? Гордые? Тогда я один спою... Не любите меня? И я вас не люблю, но я-то для вас спою, спою, ох, как спою, а вы только себя пожалеете».

На этот раз в плацкарте даже не знали слов или мелодии той сиротской, унылой песни, которую затянул Пал Палыч, всем чужой, как бродяжка. Сколько ни было в нем воодушевленности, с голосом в одиночку не сладил. Затянул что-то фальшивое, будто притворялся, что поет, желая, однако, распахнуть душу, сделаться близким для людей, а не то чтобы еще разок покривляться, сфальшивить. Но ему хватило мужества, а быть может, смиренной неожиданной силы тянуть и тянуть мучительные для самого себя, выходящие наружу, казалось, хвастливыми да смазливими звуки. Гостями овладело равнодушное бессилие. Слушали поневоле, не делая никаких движений, скованные этой паузой, наступившей в их жизни.

Она была долгой, так что воздух в отсеке плацкарты зарядился кислым и спертым, как электричество в плоской маленькой батарейке, дыханием одного человека.

Голос задрожал, стих, а потом и оборвался, когда, все приближаясь и нарастая, будто сквозь толщу небытия к людям в плацкартном вагоне стал пробиваться один и тот же стук. Близко-близко, прямо под оконцами, по земле глухо и тупо ударило дробью перебежек. Раздался одинокий окрик, что был резок и четок, — наверное, начальника, за которым кинулся терзать воздух дурной лай собак. Все слушали, оцепенели. В пустоту вагона ворвался яростный топот сапог. «Милиция!» — бросился навстречу зовущий взбалмошный крик. Но в том коме, что ярился в узкой горловине вагона, стали различимы коконы армейских шинелей. Луч фонаря или фонарей, тоже яростных, со зрачками, как у фар, дальним светом уже слепил и шарил по лицам. Все жгуче спеклось в глазах. Дружная, сильная волна облавы обрушилась с разбегу на баррикадку поминального стола. Разлетались доски: одни — застревая в простенках или тычась пиками в людей, другие — ломаясь со звуком выстрелов под их же напором. Сыпалась, визжала в давке под ногами посуда. Вдруг раздался торжествующий клич — то ли «хватайте их, голубчики», то ли «хватайте их, голубчиков». Через несколько мгновений из рева, грохота, визга вырвался смертельный вопль. И не сразу, но по вагону заголосили эстафетой: «Человека зарезали!», «На помощь!», «Вашу мать, дайте же сюда света!», «Еще живой!».

Раненного, то есть еще живого, его вынесли из вагона, как тюфяк. Спешили так, будто на пожаре. Первые минут десять, когда в хаосе облавы заголосили о случившемся, царила паника: казалось, обнаружили, что горят. Обмякшее тяжелое тело этого человека, чья одежда покрылась на глазах кровавым огнем, тащили, то ли спасая, то ли опасаясь. Очутились с ним в темноте на голом, промозглом пяточке у вагона. Держали в незнании, куда бежать и что делать, на весу — за руки и за ноги, потому что даже носилки требовалось откуда-то добыть. Двое солдат комендантской роты все ослабевали хватку.

Тело у них на руках уже не держалось, сползало, проваливалось, как в дыру. Человек стонал от боли и унижения, чувствуя, что о нем забыли. Потом отыскал в себе силы запричитать, потому что хотел остаться жив: «Где “скорая помощь”? Голубчики! Сделайте что-нибудь... Что вы делаете? Мне больно... Я же в конце концов умираю!» Старший армейского патруля измучился слышать нытье и сказал в сердцах, будто выругался: «Да опустите вы его, надоед!..»

Что это значило, истекающий кровью не понимал, но успокоительно ощутил, что лежит на спине, в полный рост, не чувствуя холода земли, на которую его опустили. Помощь искали срочно, здесь же, и даром теряли время. Отыскивали вату, бинт. Чтобы хоть заткнуть рану, из которой уходила кровь, нужно было извлечь из нее оружие убийства. В груди человека все еще сидел этот заточенный смертельный кусок железа, похожий на штырь, что был вогнан неизвестно как опасно или глубоко, но под самый край. Старший, видя такое, побоялся взять на себя ответственность. Из вагонов высыпал разбуженный напуганный народец. В толпе зевак не отыскался хоть какой-то медицинский работник. Скоро стало ясно, что ночлежка на колесах не имела никакой связи с миром. Был послан бегунок на вокзал, звонить в «скорую помощь». Бежал этот солдат что было сил за помощью или берегся, но по его возвращении ждали опять же напрасно. Приняв вызов, машина с врачом не могла найти подъездов к этому тупику. Может, еще где-то плутала. Может, давно повернула в обратную.

Толпа на месте происшествия разбрелась по вагонам — досыпать. Старший патруля грелся в том же вагоне, где поймали двух самоволкой ушедших от своего начальника солдат, один из которых к тому времени был опознан как его же убийца. Ждали уже милицию, оформлять дезертиров. Снова был послан бегунок на вокзал, теперь в дежурную часть.

Три тела пластались у вагона под охраной оставленных на том же ветру и холоде в окружении темноты солдат из комендантской роты. Два живых лежали лицом в землю, растопыря ноги и руки, как будто на крестовине. Одно мертвое, руки и ноги которого были покойно сложены, глядело лицом в небо. Что начальник медицинской части карагандинского полка отдал Богу душу, поняли по его глазам, когда они совершенно остекленели — подмерзли, что ноябрьская грязца в ночи, мерцающая кругом тем же ледяным удивленным блеском. «Вот я и умер? — говорили эти глаза. — Какая паршивая эта жизнь... Какое паршивое это небо...» Из плаща, который был на трупе, никому незаметное, выбралось, однако, наружу живое махонькое серое существо — даже не мышь, наверное, а мышонок, что пребывал неизвестный срок за подкладкой где-то на самом дне этого плаща; вылез — и затрепетал, все равно что сердчишко, глядя на лицо человека перед собой. Он ничего не умел, не знал и произвел осмысленное движение, которое только мог, заложенное на всякий случай в его ум для ухода за собой, но было похоже, будто горевал и умывался слезками, а потом утешился и юркнул на свободу под вонючий вагон.

«Кончится эта ночь когда-нибудь?» — буркнул озябший в охранении солдатик. «Кончилась. Это утро такое. А днем будет, как утром. Еще жмурика небось пехать — тоже нам... А эти лежат, тащатся. Ну, суки, слышь, устроим вам баньку! Умоетесь кровью попозднее, узнаете...» — отвел душу другой такой же охранник. Но, видно, не полегчало. Он разбежался с шагов трех-четырех и ударил сапогом лежащего.

Живые к живым

Он открыл глаза и подумал, что жизнь его кончилась. Сознание было поражено побоями, после которых тело не слушалось собственной боли. Он лежал на боку, должно быть, где сломано было ребро, но, очнувшись от боли, все равно не мог пошевелиться и хотя бы перевалиться на спину, сделать себе же легче. Там, у вагона, его пощадила судьба: удары достались тому, кто попался первым. Потом конвой приосанился — и повели как будто в будущее. За конвоем молчком волочилась маленькая нерусская побирушка в солдатском бушлате. Чего она хотела — не понимали. Когда стало нужным избавиться от ее чужих глазенок — прогнали. А в одном глухом местечке старший офицер вдруг дал команду остановиться... Били опять свои же, солдатики. Каждый норовил ударить, горячились, барабанили кулаками как попало. Он терпел, был покорным. Ярость навлек на себя другой, когда ударил в ответ конвоира. Только и успел разок махнуть кулаком. Тут же сшибли с ног, взяли в кольцо, смешали с грязью — не то что места живого не осталось, а хоть чистого пятнышка. Офицер покуривал отдельно в сторонке, ждал: простое и по виду честное лицо было спокойно.

Не иначе прощенный, он стоял по одну сторону с офицером и заплакал, глядя на то, как мучился другой. Офицер обрел дар речи: «Этот не заплачет. Такому в разведку ходить — стал бы героем.— Докурил и гаркнул: — А ну, орлы, разбежались, хватит с него!» Скорченное тело бросили на земле, отступили, а ему сказали поднять и волочь. Руки с радостью вцепились в ношу, чтобы осилить — тот, другой, цеплялся уже в него, как если бы за жизнь, но с проклятьями глухими и болью, издавая то стон, то матерный рык. Путь, скрепленный такой разной судорогой двух людей, был недолог. Конвой передал арестованных караулу, и они превратились в заключенных. Казалось, все камеры пустовали. Такой была здесь тишина. Она без лишнего шума пополнилась вновь прибывшими — каждым поодиночке.

Перед входом в камеру обыскали. Сказали сдать шинель с ремнем. Он все отзвучиво исполнил, с мыслью, что сдает верхнюю одежду, как это бывает в гостях. Хозяева радушно улыбались. Он остался в куцей загробной гимнастерке. Обогретый радушием, спросил с умным понимающим видом: «А обувь нужно снимать?» Ответили тоже всерьез: «Это у нас по желанию, кто как хочет». И он по доброй воле разулся. Пряча глаза и еле сдерживаясь от смеха, пару лаковых оркестрантских сапог быстренько прибрали к рукам. Больше позариться было не на что. Камеру открыли. Запустили в нее, как маленького, босиком — не говоря, что же произойдет.

Дверь ударила в спину, все равно что выстрел. Пол, стены, потолок, скрепленные из одинаковых голых бетонных плит, были выстужены добела. Он стоял и не знал, куда ступить. Глаза убито искали хоть какое-то тепло. Добытое телом — мигом шло на воздух, такой пронзительно-холодный, что было больно дышать. Под потолком выло волчье оконце. Сквозь дыру, затянутую паутиной решетки, цедился бедный свет, принесенный с неба. Взгляд потянулся к свету. Узкая продолговатая камера была поглубже могилы. Он дрожал, угасая силой так мучительно, как будто тлел, и глядел с удивлением на свет, такой же близкий, что и далекий, от которого не было помощи, хотя бы тепла.

Здесь тоже был свой суд. Били от времени к времени, кто заступал в караул. Охранники сменялись каждые два часа. Они входили в камеру добрые. Все улыбались. Были навеселе. Чтобы не поранить руку, обматывали кулак ремнем. Когда он выучился, что кулаками бьют, пока стоишь на ногах, а если упал — пойдут сапогами, то падал под сапоги. Так быстрее все кончалось. Раз он вскрикнул, уже в полупамяти от побоев: «Да где это я?» Услышал: «Где, где... В Кара-

ганде». И, не помня себя, взмолился: «Что же я вам сделал плохого?!» В ответ только рассмеялись. О новеньких знали, что их взяли за убийство. Пока не сдавали как осужденных на этап, таких здесь мучили с чувством долга. Мучили все время, которому потерял он счет, не понимая, что это — один день или многие дни и ночи.

Душа то ли искала путь к спасению, то ли уже на прощание совершала какой-то последний круг. Он видел все, что случилось в разные годы, но так, как этого не было: хорошее и плохое, лица родных и все, что делал от них тайком, поверх времени соединялось в отдельные очереди, каждое в свою. От одного было только осознание своей вины, становящееся к концу бесчувственным. От другой вереницы долгое и такое же парализующее под конец чувство радости. Как если бы что-то вынуждало отдавать отчет в прожитом, но и отчитывалось перед ним за истекший срок. Это и осознал он вдруг с испугом, что все мелькает — и больше не повторяется. Душа отчаянно цеплялась за сумбурные картинки и ощущения из прошлой жизни, когда помнил себя просто свободным, отчего заплакал уже не от страха или боли, а от зависти к тому, кем был, как будто это мог быть другой человек, которому отдали его жизнь и даже лицо. Он будет жить вместо него, дышать, пить. Войдет сыном в дом к отцу и матери, и его будут они до самой своей смерти любить. И он стал бормотать, как бывало в детстве, не в силах больше быть немым, чуя под собой только бетонную ледяную плиту: «Я больше так не буду... Простите... Простите меня, пожалуйста... Я буду самым хорошим...» Проваливался от изнеможения в какую-то черноту, но стоило очнуться — снова бормотал, не веря, что больше никто и никогда его не простит.

«Ну ты не понял до сих пор? — раздался еще раз окрик. — Тебе сказали, сука, на выход... Дурака опосля сделаешь, в кабинете у следователя». Охранник чужевато стоял у порога и не входил в камеру. Он закрыл глаза, потом открыл: охранник не двинулся с места. Чуть поодаль валялись сапоги. Это была пара солдатских, каких-то обношенных, которую подбросили взамен тех, что исчезли.

«Здравствуй, сынок, присаживайся», — произнесла женщина в бедном опрятном мундире. Она сидела за железным столом, вбитым в пол, продолжая усердно писать, и после долго не обращала на него внимания. Ей было лет за сорок. Лицо мягко округлила приятная недряблая полнота. Волосы были просто собраны в заколку. Глаза ревниво следили за буквами, что выходили из-под руки, а потом брели, как будто в чем-то повинные, до обрыва белого листа. Писанина давалась хозяйке кабинета нелегко, но ей нравилось в конце концов заставлять эти буквы повиноваться себе и строиться в ряд. Когда она надавливала с усилием на пишущую ручку, лицо тоже пульсировало от напряжения, делаясь на вид сосредоточенно-жестоким. Не иначе чтобы помочь приведенному на допрос скоротать время в своем кабинете, походившем наружностью на камеру, но заполненным ощутимо ее женским покоем, теплом, тишиной, хозяйка пробурчала со строгостью, подобающей вопросу: «Рассказывай, как дошел до такой жизни, что попал в одну компанию с Назейкиным? Кто прирезал начальника медицинской части? Чья это была идея? У кого была заточка? — Не слыша ответа, она вздохнула: — Ну молчи, молчи... А я все равно знаю». Голова ныла от каждого услышанного слова. Он молчал, потому что не помнил в своей жизни человека с такой фамилией. Хозяйка начала как будто диктовать сама себе, не отрывая взгляда от стола: «Отпечатки пальцев, обнаруженные на заточке, полностью совпадают с отпечатками пальцев Назейкина. Показания патруля утверждают, что удар заточкой наносился Назейкиным. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, Назейкин выхватил заточку, нанес убитому один удар в область сердца, который и стал смертельным. Ну а ты куда глядел? Что делал?

Приказы своего командира вы отказались исполнять вместе... Вместе самовольно ушли... Вместе распивали спиртные напитки в эту роковую ночь... Патруль утверждает, что и сопротивление при аресте оказывали вы с Назейкиным вместе, на пару. И вот свершилось зло. Зло должно быть наказано».

Казалось, она поставила точку — и освободилась. Отодвинула протокол в сторону. Как-то неуклюже извлекла из-под стола бутылку кефира и по-домашнему укутанную в чистую белую тряпицу булку с крапинами изюма. Измученный и ограбленный вид арестанта, что сам бы мог сойти за жертву какого-нибудь преступления,нисколько ее не смущал. Стала как-то сосредоточенно, без настроения жевать, все равно что отбывая еще одну нелегкую работу. Сжевала кусок, запила из бутылки кефиром, окрасив белой питательной молочной жижицей губы, — и вдруг просветлела, удивилась, ясно сказала: «Кушай, кушай...— Но тут же нахмурилась, утерла губы тряпичей, куснула булку, спросила безразлично: — Может, хочешь? Ну молчи, молчи... Эй, в караулке, ребята! Кто там есть? Артурчик, миленький, войди ко мне». В кабинете появился охранник, который приводил на допрос. Хозяйка деловито бубнила с набитым ртом: «Теперь ко мне Назейкина Анатолия, вот и свидимся мы вновь. А этого умыть, побрить, накормить, чем там у вас есть получше, какие вещи были, выдать и почистить, ну, в общем, вернуть в божеский вид. А потом веди тоже сюда, кликнешь меня сразу в коридорчик». «Слушаюсь, Светлана Ивановна!» — любуясь ею, откликнулся живо охранник. «Ну вот и хорошо, что хорошо...» — ответила уже в пустоту. Она сидела одиноко с умиротворением в своем опустевшем кабинете и жевала булку, в которой так мало было изюма, что сладости во рту приходилось очень долго ожидать, как исполнения желаний. «Кушай, кушай и никого не слушай», — сказала кому-то, кого здесь не было, если не себе самой, похожая вдруг на старушку.

Когда она насытила, чем было, свою утробу, то встала из-за стола: осторожно извлекла из-под него раздутый живот и поднялась, подымая тяжесть. Потянулась в стороны руками, так что из-под расстегнутого мундира выпятился наружу уже весь этот животворный шар из плоти ее и крови. Зевнула. Вразвалочку дошла до той стены, где сквозь намордник решетки было видно небо. Глядя с тоской на тускловатый небесный свет, погладила несколько раз живот. Терпеливо вздохнула, думая о своем сроке. Донесла живот до рабочего места, думая уже о деле по убийству, где еще предстояло добыть признание того, кто его совершил. И замкнулась в четырех тюремных стенах.

Многое повидавший охранник первый раз отводил заключенного прямо после допроса принимать душ. Думать об этом было отчего-то тягостно. Давать свою бритву, а тем более брить того, кого били и грабили, — так противно, что не слушались руки. Но спустя полчаса этот новорожденный, с блестящими мокрыми волосами, зализанными на прямой пробор, и гладким, уже высушенным лицом сидел в караульном помещении, будто свой, и ждал, когда поведут кормить. Вдруг он увидел, как конвой из двоих солдат толкал вперед по коридору скованного в наручниках человека. Тот упирался и жадно матерился, глядя за плечо, чтобы видеть их лица.

Взгляд его, наверное, пронзал. Охране было не по себе. Ударить наотмашь или оглушить окриком и усмирить не могли даже вдвоем. Молча трудились, потели и пыхтели. Пихали тычками, но как будто отпихивались, а он, чудилось, наседавал. В нем было все — и яростное ощущение собственной силы, и жажда власти над этими людьми, которую можно было в тот миг утолить разве что их же кровью. Не было только надежды вырваться на свободу. Она ударила в него, будто молния, и завопила в горле, когда, не помня себя от счастья, крикнул при виде сидящего в ожидании человечка: «Алеха!» Ему почудилось, что этот чело-

вечек кинулся с дальнего конца коридора на помощь, и поэтому он тоже рванулся — не навстречу, а таранить скрученным в наручниках телом оцепеневших от внезапности происходящего охранников. Но стоило тем осознать, что же произошло, и опомниться от крика, который просто исчез без следа, как они живо начали действовать: один ухватил его башку за волосы и тут же вывернул всего с наслаждением будто наизнанку, другой ударил в живот, отчего он весь согнулся и рухнул на колени.

Отдышаться не дали. С двух сторон подцепили, как на дыбу, и поволокли. Но и подвешенный, полуживой, когда тащили, он как будто сражался, зло бодая лбом пустоту. Он не мог постичь, что это произошло только с ним. И, корчась на этой дыбе, выкрикивал: «Лешка, только стерпи... Будет наше время... Дай срок... Мы выйдем... Мы их сделаем... — застонал и тут же скомандовал сам себе что было духа: — Смерть за смерть!»

Охранник возвратился запыхавшийся, угрюмый, повел в хозблок. Для чего-то рывкнул: «Как фамилия?» Ответ был стонущий, запоздалый: «Хлмуоров...» Тот неожиданно процедил так же глухо: «А ты ведь, думаю, стукачок. Друга своего продал?» Когда наложил миску каши из солдатского котла, пихнул: «На, жри!» Но тот, кто по его разумению предал за миску каши, отчего-то не притронулся к еде. «Жри, я сказал». «Неуду». «В горло не лезет? Утрамбовал бы я тебе... Ладно, в камере утрамбуем». Поглядеть на стукача пришли все свободные от смены. «Мы ему малость прикус уже подправили». «Вот Иуда». «Зря мылся и брился, тебе не жить. Лучше вешайся». Заставить принять пищу силком — замарать кашей — было нельзя, чтобы не ослушаться хозяйки. Но охранник припомнил ее приказ обеспечить заключенному божеский вид: недолго думая ему сказали разуться и поставили у ржавого корытца умывальника мыть сапоги. Без щетки или хоть тряпки это походило на умывание. Делать это можно было заставляя, пихая в бок, где бередили рану, в которой уже гнездилась боль. Сапоги блестели, но его пихали: «Давай еще чище, Иуда!» А когда стало дело за шинелью, которую был приказ выдать, заставили выщипывать с нее руками прилипшую грязь, а потом и соринки.

Прошло около часа, если не больше. Заключенного все же надо было возвращать на допрос. У дверей кабинета охранник поневоле замялся: из следственного помещения доносился рассерженный женский крик. «Эх, нельзя же ей... Светлана Ивановна Светикова — человек! А вы, отребье разное, волнуете ее. Все. Этому тоже не жить. Достали. Ночкой избавим от вас землю». Охранник постучался и открыл, не дожидаясь вызова, дверь. Наружу вырвалось: «Подписывай, блядь, протокол или жевать его будешь...» В щель было видно перекошенное лицо женщины. Приподнятая гневом со стула, она заносила сабелькой исписанную бумажку над головой сидящего напротив, по другую сторону стола, человека. Было видно только его спину, но согнутую и какую-то отчужденную, как если бы часть уже обезглавленного тела, посаженного зачем-то на стул.

Хозяйка приостановила допрос и вышла из кабинета. Оглядела арестанта и, довольная его видом, отпустила охранника. Сказала, твердая и властная: «Иди за мной!» Двери распахивались одна за одной, становилось все больше света и воздуха. «Обопрись на тебя. Я все же в положении женщина, одной что-то тяжело. Скорей бы. Твое счастье, что дело ко мне попало, раз опять отличился Назейкин. Скажи спасибо, было кому хлопотать за тебя. Я это давно заметила, кто последнего не пожалеет и зубами вцепится — спасет своего. А кто мямлит и жалуется, зря только пороги обобьет — его родной и любимый пропадет». Она остановилась, отдышалась. Наверное, у последней двери. Вынула из кармана кителя его военный билет. Вернула и сказала: «Если в нем деньжата были, не взыщи. Ну, дембель, поедешь домой. Ничего ты не видел и никого не знаешь. В этом го-

роде тебя ни вчера, ни сегодня не было, усвоил? — Вдруг резко, навскидку, гаркнула: — Или обратно хочешь?» Он улыбался и виновато молчал, не понимая, что хозяйка будет лишь довольной. «Ох, а это что такое? Это зубы золотые были? — спохватилась, захлопотала. Он отчего-то радостно качнул в знак отрицания головой. — Ну не взыщи, сынок, жить будешь, а зубы что — на воле какие угодно вставишь, хоть из золота».

Он не сознавал, что выходит на свободу. Когда это случилось, испугался: открыли железную дверку — и тут же оказался на чистой безлюдной улице, и стало некуда идти. Легонько подкашивались ноги, которых не чувствовал, а в голове ноюще звучал голос хозяйки, обращенный уже к тому, кто получал его с рук на руки прямо за воротами этого здания, снаружи из красного, будто кровь, кирпича.

Хозяин его жизни был глух и, казалось, отказывался верить, что видел перед собой того, о ком с любовью вспоминал все это время как о сыне, хоть больше и не чаял свидеться с тех пор, когда мысленно проводил уже с вечным зубом в родные края, домой. «Зачем ты это сделал?» — вопрошали убитые горем глаза. Он стоял и понимал, что это пришел Абдулла Ибрагимович, но сказать ничего не мог. Молчал. Глухой впился взглядом и мучительно ждал ответа, только шевеления губ. Крикнул как будто в страхе, что больше не слышит: «Что ты сказал? Что говоришь?» И увидел улыбку, обнажившую какие-то черные раны вместо зубов, от которой уже в молчании отпрянул.

Абдулка пошagal — и не оглядывался. Он пугливо тронулся следом и тащился, наверное, за прощением, но весь путь как нарочно отставал. Когда шли, на улицах стало сумеречно. Все незнакомое и чужое долго провожало по городу, пока в холоде и пустоте не возник железнодорожный вокзал.

Зал ожидания кишел людьми, наполнился светом. За черными зеркалами окон, что глядели прямо на перрон, слышался далекий шум. Женщины, мужчины, дети, что искали здесь, казалось, спасения, в поисках места толкались под гулким высоким сводом, где было ясно и пусто. Или, найдя его, жались кто к багажу тупорылых чопорных чемоданов, отчего-то сплошь черных да коричневых, кто к скарбу, которым надрывались тюки, или просто друг к другу, чтобы не потерять. У окошка воинской кассы дышать стало свободно. На этом островке порядка и какого-то иного закона, чем в общих очередях, по требованию было дано пассажирское место на отбывающий в полночь поезд.

Около воинской кассы простаивал патруль — дежурный офицер и двое пареньков в курсантских погонах, пахнущие одеколоном. Офицер приглядывался и мрачнел: свежеспеченный пассажир в уродских сапогах, у которого из-под ворота шинели торчало также что-то уродское, а лицо было явно побито, внушал такое отвращение, что было поздно просить его предъявить документы: это чучело само шло под арест. Абдулка содрогнулся от взгляда дежурного и попытался, закрывая собой. Патруль обступил теперь обоих. Глухой потянул офицера в сторонку и сообщил шепотком: «Нельзя трогать, пожалуйста. Комиссованный это, сильно на голову больной. Скоро поезд. Домой болеть уезжает». Лицо дежурного, что было сосредоточенно-мрачным, вдруг обмякло и поглупело: он верил и кивал понимающе головой, оглядываясь уже с желанием быть подалее от похожего на чучело солдата.

Патруль отступил. Абдулке больше нечего было делать в этом городе. Имея облик того, кто остается, он, будто любящий, которому больше некого было любить, провожал на вокзале только собственный час жизни. Лицо его было неприступно-чужим. Это время они находились рядом в зале ожидания по-

тому, что начальник ждал в тепле свою электричку. Вдруг глухой заныл себе под нос, не сознавая, что это стало слышно: «Я хотел вам добра... Я делал вам всем добро...» Все такой же каменнолицый, неожиданно умолк. А когда смотрел в последний раз, сказал с угрозой в голосе: «За мной не иди! Больше я тебя не знаю».

Он остался один — словно даже не в одном мире с тем, кто так просто и жестоко отдал спасенную жизнь, а сам ушел, чтобы исчезнуть уже навсегда. Вместе с билетом в кармане оказались деньги, десять рублей: красненькая купюра, что была такой же последней, но только жертвой Абдулки, как тот последний его ожесточенный взгляд и последние слова.

Беспризорный и одичавший по виду солдат, что улыбался обезьянкой каждому встречному, скоро успел примелькаться на вокзале, будто искал что-то или кого-то, но не находил. Несколько раз он появлялся в буфете, озирая один и тот же похожий на обглоданную кость прилавок. В буфете к ночи имелся в наличии лишь напиток под названием «чайный». Паренек попросил для себя стакан этого чая и протянул в расплату за копеечную жидкость десять рублей. Голодно выпил его и ушел. Когда появился снова, спросил твердо стакан чая. Пойло было чуть теплым, но он долго хлюпал, стоя в сторонке, как если бы это был кипяток.

Что-то похожее происходило в зале ожидания, где занимал по очереди все места, что вдруг освобождались, но после с радостью уступал их то женщинам с детьми, то старикам. И на перроне, где с очень важным видом ходил из конца в конец, обращая на себя внимание тем, что встречал и провожал каждый новый поезд, выспрашивая, какой и когда прибывает или отправляется, а после тоже сообщая об этом всем, кто зазевался или торопился узнать. Проходя мимо патруля, он старался как можно внушительней отдать честь дежурному офицеру и, казалось, нарочно лез на глаза. Вдруг подошел и спросил разрешения отойти по нужде, как если бы покинуть пост. Дежурный растерялся, но все же сам лично с боязливой ответной серьезностью дал ему на это разрешение и даже послал одного из курсантов, чтобы указывал путь к туалету. Вновь он обратился к дежурному за разрешением погулять на площади у вокзала — и как-то сразу надоел. Офицер отмахнулся и буркнул, чтобы шел, куда хочет. Возвратился в зал ожидания с огромной головой арбуза на руках, которую на ночь глядя сторговали так удачно казахи, чьи затрепанные ветром бродячие лавчонки, похожие на шатры, поджидали кого-то на вокзальной площади даже в этот час. Обнимая нечаянно купленный, но, по всему видно, не для себя грузный, старый арбуз, он опять явился к начальнику и доложил, что купил арбуз. Курсанты переглянулись с ухмылкой. Офицер застыдился, нахмурился, шикнул, отгоняя от патруля. Он подумал, что должен поделиться арбузом, и с готовностью об этом сказал, после чего начальник просто гаркнул, чтобы убрался прочь. Понимая, что его прогоняют, он прижал к себе так обозливший этих людей гостинец и задал наспех всего один вопрос, чтобы узнать, сколько времени. Лицо дежурного застыло от страха, но и зловеще омрачилось. На его счастье, какой-то гражданин, скучающий поблизости от патруля, слыша этот вопрос, посмотрел на куранты, что висели в зале ожидания у всех над головой, и тут же буднично откликнулся, сообщая, который час.

Зная, сколько осталось ждать поезда, он побрел на перрон. Стоять на месте было холодно, а ходить с арбузом отчего-то так же тягостно, как и тяжело. Избавиться от него он не посмел, потому что истратил деньги, которые даже теперь считал не своими, а его, Абдуллы Ибрагимовича. Чувствуя себя глупым и несчастным, он подумал вдруг о девочке, которая побиралась когда-то на его глазах, потому что была голодной. Он не мог вспомнить, какой же она была,

только чувствовал, казалось, ее голод, и поначалу медленно, а потом все уверенней пошел в том направлении, куда уходили чужие для него поезда. Все покрывали рельсы, будто волны, сверкая при свете луны стальными гребнями и, казалось, даже издавая похожий на их дыхание тяжелый гул. Под ногами глухо скрежетали зубья гравия. Холодность стальной реки оживала разноцветными огоньками семафоров. Ветер приносил то воздушную свежесть холода и ощутимую до озноба морось, то гарь со шпал и понюшку чего-то жженого — наверное, угля из печурок промчавшихся вагонов. Он ясно увидел ночь, когда они шли в тот же час в том же направлении и по тому же безмолвному простору, и осознал с удивлением, что все уже было: только не было этого тяжелого арбуза, который он нес для девочки, почему-то помня и помня о ней, а не о тех, кто тоже когда-то был.



Повестью «Карагандинские девятины» завершилась работа над книгой, в которую входят уже получившие известность произведения «Казенная сказка» и «Дело Матюшина». Трилогия «Повести последних дней» должна выйти в конце этого года в издательстве «Центрполиграф».

Татьяна ЩЕРБИНА

Антивирус

Деятнадцатый век великий,
а двадцатый будет счастливым.

В. Гюго

Счастье — это новая идея в Европе.

Сен-Жюст

* * *

На современном русском языке
людей колбасит, плющит и ломает,
и мне в моем закукленном мире
набор из грустных слов достался к маю:
тоска, протест, ориентиры врозь,
несбыточность, влекущая избыток
усердия к тому, что удалось
с одной или без всяческих попыток.

Набор пора убрать на антресоль,
достать оттуда летний — светлый, легкий,
который за зиму проела моль.
Почистить, подновить его, и — плохо ль —
апрель — мажорный свет в конце зимы,
щетина на лице Земли пробилась
зеленая, и хлорофилл в умы
уж должен брызнуть был, чтоб пестик вылез,
тычинки, ореолы лепестков,
но в современном языке — не спелось
од радости, и мой набор таков,
что в нем звучит неутолимый мелос.

Весеннего призыва не смутясь,
слова косят от долга — от защиты
классического мира, что сейчас
исчезнет, прямо как у Коперфилда.

* * *

Где будущего коготки?
Царапины на улицах, как шпили,
как стрелки, ход чертили.
Где манки,
что брали нас в пленительные скобки?

Неистовых увеселений бес
так радовал простым полешком в топке,
вселял охоту к перемене мест.
Вдруг — пауза, эндшпили, постпространства,
которые, как низкий потолок,
зависли. Если в состоянии транса
компьютеры впадают, коготок
каракули выводит, как кавычки.
В них мир, как в пробках уличных, зажат —
в контексте, в устоявшейся привычке
бежать назад.

* * *

Хорошо, когда ад — не внутри, а снаружи:
в хмурой власти, в подвздошной пружине дивана,
в потолке, на котором виднеются лужи,
в отключении веерном света и ванны,
в комаре с тараканом, назойливой мушке,
в волдыре от крапивы и ранке от терний,
в русской чушке и в чурке нерусском, в верхушке,
отчужденной от нужд многотысячной черни.

Хорошо, когда ад не в подушке промокшей,
не в гортанном комке, не во внутреннем жженьи,
когда камень, на сердце забравшийся ношей,
тошноту вызывает при всяком движеньи.
Я запомнила раз навсегда, сколь токсичен
яд отчаянья, зал ожиданий сколь гулок,
когда день бесконечен, и мир безразличен,
и не легче душе от тюремных прогулок.

Рай, как праздничный рынок, цветистый и шумный,
где взыскательный спрос предложеньем доволен:
молока и клубники возьмет себе умный,
целой бочкой вина запасется влюбленный,
в мелких косточках рыбу спокойный пожарит,
сувениров добавит в коллекцию путник,
продвигаясь на мерно крутящемся шаре.
Ну а я там ходила, играла на лютне.

Антивирус

Не слушаясь команды «место»,
вперед событий мысли цок-цок-цок
нетерпеливо забегают вместо
самих событий — глядя на Восток,

мысль прискакала в город Ариэля,
 к истоку огнедышащей войны,
 где только искры вспыхивают, тлея,
 и камни древние накалены.
 А мысли разворачивают пламя,
 сворачивают снова, крикнув «мир»,
 срок отодвинут, мысли скачут сами,
 как конь, что потерял ориентир.
 Чего просить, победы лиц свободных —
 особенная статья, мирская знать,
 отвыкшая любить себе подобных?
 Или желать победы тем, кто знать
 Закон всеобщий претендует — Тору?
 Дорогу в рай трактуют как резню —
 с Кораном, жизнь предпочитавшим мору.
 Плюс ящур, изничтоживший свинью.
 А я сижу с компьютером в обнимку,
 где сайты по-соседски верещат,
 и лишь Касперский брошен на поимку
 всех вирусов подряд.

* * *

Я — засушенная роза, замороженный карась,
 я, замученная прозой, силе воли отдалась.
 По лицензии желанья производит организм,
 будущее — сзади, в манне, сыпавшейся сверху вниз.
 Я теперь все время в гору, задыхаясь и молясь,
 лезу, как влезает воры в форточку, что поддалась.
 Шевельнуться — невозможно, закричать — накликать бед,
 я иду туда, где можно спать, не зажигая свет.
 Я гармонии добилась, в огороде ль во саду:
 бешеной коровке — силос, свинке — прочую еду.
 Время хвостиком вильнуло, износились пена дней,
 жизнь извне меня продула, изнутри же жар камней
 оставляет соль на коже, напрягает группу мышц,
 что ночами всё итожит, теребит анналы лиц.
 Недостача накопилась, импульс вышел из тенёт,
 то ли что во мне взбесилось, то ли в мире что грядет.

* * *

Если надеть предмет по имени шуба,
 будет даже зима поганая любя.
 Выйдя в созвездье плюсов, минуя вычет,
 не моргнув, когда минусы кличут, кличут,

мы тепло генерируем — так галактики
начинают сближаться. (В научной практике
все разбегаются в ужасе, прочь от взрыва,
от космической стужи, ее наплыва.)
Сочетаться теплом веселей, чем браком:
нету полости, где б заводиться шлакам,
ни наследства Адама — заболеванья
«хочешь счастья, а получаешь знанья».

* * *

Как не хватает этого, а чего — не знаю,
когда жажда неиссякаема, хоть и удовлетворима,
когда ужин нельзя завершить чашкой кофе иль кружкой чаю
в силу взаимогравитации нестерпимой.
Все равно остаются с нелюбимыми и нелюбящими,
с ними всегда оказывается сподручнее.
Так что притяженье Земли преодолимо в будущем,
но куда отслаивается всё тактильное, поцелуйчатое?
Куда делись нескончаемые беседы? Неразличимость,
где кончается *я* и начинается *ты*? Жизнь прогнулась,
стала похожа на функцию синус,
утомительную немоту, сутулость.
Планка осела, над нею, как над могилкой,
я сижу на корточках и не могу смириться.
Как таинствен был мир в золотых прожилках,
как теперь насильно закрыта моя граница.

* * *

Смотрю на людей, понимая, что глаз замылен:
устарели, как мир компьютеров в час ротации,
все заранее, даже юные, всем привили
скорость распространения информации.
Спрятавшись в норке, я стала зверьком пушистым,
вростроглазеньким, теплым, лишилась зуба,
что-то остановилось вовеки и присно
в мире грез, видимом мне отсюда.
Переезды с места на место закрыли поле
откровений земель неведанных, даже слезы
ничего не выразят более, кроме боли.
Остается жить, принимая позы.
Перестрелки диких, пиар богатых
посредине — пчелки, нанесшие лишку меда,
он течет по улицам, и наводнение с градом
подступает к портящимся народам.
Мне из норки слышно, как свищет вселенский ветер,
как летают камни, покрытые слоем пыли,
у меня камин тут, и микроволновый вертел,
и плоды творения, те, что сюда приплыли.

* * *

То жизнь фонтан, то полная запруда,
то хвост павлиний вновь зашелестит
архивной пылью — эка ж он зануда:
Булонский лес давно уже закрыт,
закрыты Ланды, Альпы, Пиренеи,
Бургундия — всё это Китеж-град,
потопленный с розарием, сиренью
и с площадью Мадлен, и все подряд
хвосты поотрывались у павлинов,
фонтаны позасохли на корню,
завис закат — завис, ядрён, малинов,
но вот я в окна Windows смотрю,
и в них все стратегические цели,
рельефы, птицы в синий час утра
повыстроились как на самом деле —
проснулись и уже идут сюда.



Черный квадрат

РОМАН

19

Собственно говоря, Рэму Викторовичу не оставалось ничего, как ждать, что узел, стянувший его жизнь так, что ни предпринять ничего, ни освободиться, ни вольно вздохнуть, как-нибудь развяжется или хоть ослабнет сам по себе. Да и что он мог сделать, как повернуть ход событий так, чтобы никому не сделать худо, никого не обидеть, не ранить, чтобы и волки сыты, и овцы целы?.. Под невинными овцами он понимал, если начистоту, самого себя, разве еще Ольгу, под волками — всех остальных, но получалось так, что эти все остальные была одна Ирина.

Ирина изменилась за эти годы поразительнейшим, какого никак нельзя было предположить, образом: интеллигентская, родовая ее сдержанность и умение владеть собой превратились в ледяную отчужденность от всего, что не имело прямого отношения к ее работе в парткоме, а затем и в обкоме, ровность характера — в равнодушие, определенность, ясность суждений — в высокомерную категоричность, любое мнение, не согласное с ее точкой зрения, воспринималось как враждебное, опасное, и не просто для нее лично, а для неких высших, непрекаемых и не подлежащих обсуждению норм поведения и мыслей. Простенькие, дешевые платья, которые она некогда носила как знак классового слияния с тем, что называлось умозрительно, но вместе и снисходительно «народ», теперь сменились дамской партийной пиджачной парой и белоснежной блузкой с аккуратнейшим образом повязанным бантом, и не приведи бог, чтобы из-под прямой юбки выглядывали колени. И мысли ее, суждения и то, что она сама называла мировоззрением, были такие же прямые, жесткие и не терпящие перемен, как и новый ее облик.

На глазах у поначалу ошарашенного этой метаморфозой Рэма Викторовича Ирина превратилась в до смешного типическую, какие водятся на ролях вторых, как правило, секретарей в каждом райкоме или горкоме, номенклатурную даму.

Она и после без малого четверти века совместной жизни относилась к мужу с тем же, что и прежде, ровным, но теперь уже и как бы сверху вниз, из одной снисходительной вежливости, вниманием, с каким выслушивала посетителей в своем обкомовском кабинете. И поскольку она возвращалась с работы — совещания, пленумы, партактивы — иногда чуть ли не к полуночи, да и он часенько засиживался, чаще всего в мастерской у Нечаева, допоздна, они стали спать отдельно: она — в некогда общей спальне, он — в бывшем кабинете Василия Дмитриевича, где над специально для того приобретенным диваном, прямо над головой, на верхней, заставленной медицинскими книгами покойного тестя полке по сей день пылилась тощенькая папка — неоспоримое вещественное до-

казательство его давнего, сколько лет уже прошло, отступничества. Он много раз, когда окончательно убедился, что «записка» его ни Логвинову, ни кому-либо другому не нужна, забыта, как забыт и он сам,— много раз намеревался приставить к полкам стремянку и извлечь из тайника папку и уничтожить, да то ли все недосуг было, то ли он подсознательно остерегался опять ее увидеть и лишней раз убедиться в несомненности того, чего по сей день не смел себе простить.

Семья как бы все еще была, но в ней не стало того — испарилось, выветрилось, что одно только и делает семью семьей,— любви, понимания, общих забот и готовности прощать взаимные обиды.

А тут еще и Ольга, которая днем на работе в своем издательстве, а ночи Рэм Викторович не решался проводить вне дома, и не столько даже из-за Ирины, сколько из-за дочери, Саши, с которой, говорил он себе, довольно и этой отчужденной, холодной, лишенной любви атмосферы в семье, незачем ей знать еще и об его жизни на стороне. Хотя, подозревал он, и Саша, и Ирина догадываются, а то и знают всю правду об этой ее потаенной, предосудительной другой половине.

Доставались Ольге одни короткие, торопливые вечерние, в полусумраке, часы, и Рэм Викторович знал, что ей этого мало и что любовь их — хотя он по-прежнему остерегался даже про себя произносить это слово,— если не переменить решительно эту их жизнь, рано или поздно увянет, устало зачахнет, как испарилась, зачахла их с Ириной любовь. А ведь была же, была! — корил он не то себя, не то Ирину, не то даже Ольгу и, что как бы несколько умаляло его вину, неподвластные никому из них слепые обстоятельства. Была же!..

Сама Ольга никогда с ним об этом не заговаривала, признаний в любви требовала только в постели, в чаду неутолимости желания, да и то, подозревал он, не отдавая себе в том отчета и не слыша себя, ни до, ни после не ожидая их. И еще он боялся, как бы она не решила, что в ее возрасте их связь — это последний для нее шанс обзавестись ребенком, угадывал в ней эти мысли, которые, знал он, никогда бы ей и в голову не пришло произнести вслух.

Не давала ему покоя и Саша — с дочерью он виделся все реже, мельком, от случая к случаю, ни разу, с тех пор как она повзрослела и могла все понять — его понять или хотя бы выслушать, пусть и не соглашаясь с ним,— не пытался поговорить с ней по душам, а ведь он находил в ней и свои черты, свой характер, хотя манера ее себя вести напоминала скорее манеру матери — ровную, чуть высокомерную и подчеркнута независимую, будто она и не нуждалась ни в чьей любви или понимании. Правда, такой она была не только с ним, но и с матерью. А какой она была на стороне, вне дома, с подругами и друзьями, что думала и чего от жизни ждала — это для него, за недосугом, оставалось тайной за семью печатями.

Но даже этот хрупкий, холодноватый и на безопасном расстоянии мир с дочерью однажды рухнул разом, в одно мгновение.

Улучив удобное время — Рэм уезжал подлечиться в санаторий на юг,— Саша, именно Саша, а не мать, которой было не до забот о порядке в доме, затеяла не то генеральную уборку, не то капитальный ремонт. Заодно она надумала избавиться от ненужных книг, а их за долгие годы набралась в доме пропасть — стеллажи были забиты ими в два ряда, книги горою лежали на подоконниках, пылились на шкафах, просто по углам на полу,— и, среди прочего, одарить библиотеку бывшей клиники Василия Дмитриевича бесценным, копившимся на протяжении не только его жизни, но и жизни его отца и деда, собранием изданий специальных, медицинских, после его смерти всем в доме без надобности.

А уж Саша — это-то было у нее, несомненно, от матери, а не от отца,— если что затевала, то доводила до конца. Правда, после ее генеральных уборок в доме воцарялось то, что Рэм Викторович называл «последний день Помпеи».

Вернувшись с юга — ни жены, ни Саши дома не было — и пройдя в свой кабинет, Рэм Викторович еще с порога увидел на пустом, очищенном от бумаг

письменном столе выцветшую, ставшую из красной блекло-желтой папку и узнал ее. И разом понял, что то дело рук не Ирины — она не любительница подобных театральных эффектов, а — Саши. И что теперь Саша узнала о нем то, чего ни одна душа на свете — кроме, разумеется, Логвинова и Анциферова — не знала и знать не должна была. И что не миновать разговора с ней об этой папке, а уж каким тягостным и постыдным будет этот разговор — догадаться, зная ее, было нетрудно.

Первым его побуждением было тут же спрятать папку в самый дальний ящик или и вовсе изодрать в клочья и сжечь, развеять пепел по ветру, будто никогда ее и не было, приснилась в дурном сне. Но он тут же сообразил, что таким образом уж и вовсе отпразднует труса, и Саша станет его презирать еще больше, а разговора с ней все равно не миновать, и оставил папку посреди пустого стола: умирать, так с музыкой, усмехнулся он. И еще, слабо и бессильно: «Безумству храбрых поем мы песню», — хотя и тогда, когда он взял злополучную книгу у Логвинова и написал свою «записку», и теперь, когда решил не уходить в кусты от разговора с дочерью, безумства было куда больше, чем храбрости. Именно безумства, потому что согласиться на предложение Логвинова можно было, лишь потерявши разум. Или — из страха, сказал он себе, так бы все и надо честно объяснить дочери: страх, один страх, ничего, кроме страха! — если только она захочет и сможет понять его. Но что она, что вообще они, молодые, знают о временах, когда не любовь и деньги, как принято от века думать, а один страх правил миром! По крайней мере миром, в котором прошла вся его, Рэма Викторовича, жизнь. Не поймет, не поверит, не то что не простит, даже не почувствует ему, не снизойдет.

И он стал ждать, сидя за столом с папкой перед глазами, замороженно не сводя с нее взгляда.

Хлопнула входная дверь, по быстрым, легким, с подскоком шагам он узнал Сашу. Увидав в передней чемодан отца, она прошла напрямик в кабинет, и у Рэма Викторовича екнуло тревожно сердце. Она не удержалась: прежде чем взглянуть на отца, невольно — или нарочно? — остановила взгляд на папке и лишь потом подняла глаза на Рэма Викторовича.

— Папа?.. А мы почему-то ждали тебя только к вечеру. — Подошла к нему, наклонилась, прикоснулась прохладной, шелковистой щекой к его колючей щеке — он опаздывал на утренний самолет, не успел побриться.

Нет, он решился, он не собирается прятать голову в песок и как бы в знак того, что принимает вызов и готов ответить на любой ее вопрос, положил ладонь на папку и взглянул вопросительно ей глаза в глаза.

— Ах, это!.. Я нашла ее за дедушкиными книжками, когда собирала их, чтобы отдать в клинику, нам-то они теперь ни к чему, — спокойно и равнодушно — слишком спокойно и равнодушно, отметил он про себя, чтобы это было правдой, — отозвалась она.

Он не отвел взгляда:

— Ты — читала?..

Она ответила не сразу, села, закинув ногу на ногу, в кресло напротив стола, достала из кармана плаща сигареты, закурила — прежде она никогда не осмеливалась курить при родителях — и, тоже не отводя глаз, ответила меж двумя за-тяжками:

— Ну, читала.

— И?..

— А ты уверен, что меня это касается? Что я вообще должна что-либо об этом думать?.. А если и думаю, почему обязательно тебе об этом знать? Разве моими делами ты когда-нибудь интересовался, рылся в моих бумажках, письмах? Тебе до них никакого не было дела, вот и мне нет дела до твоих... — голос ее дрогнул, Рэм Викторович не мог решить, от жалости к нему или от презрения, — до твоих делишек.

Он понял: этими «делишками» сказано все, она ставит точку, и не только она так и не начавшемся, по сути, разговоре — «делишки» она произнесла так, будто дала ему пощечину, будто ничего общего меж ними уже не может быть.

— И все же я хотел бы тебе объяснить...

— Про себя или про Пастернака? — перебила она его. — Так про тебя я не хочу, не желаю, а про него ты тыщу раз мне, извини, талдычил, у меня уже лет с пятнадцати его стихи обратно горлом шли, и не потому, что такие плохие, а — сколько можно?! В школе мне оскомину набили Горький и Маяковский, а тоже не самые плохие писатели, дома — ты со своим Пастернаком... Может, хватит? — В ее голосе не слышалось и намека на жалость, ни даже на презрение, одна с трудом сдерживаемая ярость, которая, еще одно слово, вырвется наружу, и тогда уж и вправду все будет кончено.

Ему бы промолчать, дать время и себе, и ей передохнуть, остыть, но не со владал с собой:

— Ты прекрасно понимаешь, что я хочу именно о себе...

— А мне все одно — что о тебе, что о... — не договорила, стряхнула пепел прямо на пол.

— Я твой, хочешь ты этого или не хочешь, отец...

— Я в этом меньше всех виновата! — дерзко, но и совсем по-детски огрызулась она.

В эти слова — и он понял это — она вложила всю свою обиду на то, что, не обнаружив она случайно эту папку, отец, как всегда, не нашел бы ни времени, ни побуждения поговорить с ней по душам, попытаться узнать, кто она, какая, как живет, чем, о чем думает и чего ей в нем, в отце, всю жизнь не хватало. А не хватало, признался он себе с запоздалой виноватостью, всего-то ласки, любви. Но такой уж у них был дом, такая уж семья, что ни любви, ни ласки, одни только дела, дела, дела, и в этом смысле Саша была, если уж называть вещи своими именами, сирота при живых и таких благополучных, таких добропорядочных и довольных собою родителях.

Они помолчали некоторое время: Саша — глядя в сторону и все сбрасывая, пока не догорела сигарета, пепел на пол, он — глядя на нее и не зная, что ей сказать.

— С меня было бы довольно, — неожиданно для самого себя признался он, — с меня было бы довольно, если бы ты сказала, что презираешь меня...

— Презираю?.. Нет, всего-навсего стыдно. Если бы презирала, тебе что, полегчало бы? А мне каково бы?! Вот ты и сейчас, как всегда, подумал только о себе...

— Неправда! Я просто признаю за тобой право судить меня!

— Зачем тебе мое презрение? Зачем тебе знать, что я к тебе чувствую?

— Потому что мне нужно, понимаешь ли ты, нужно знать, и что ты хоть что-нибудь ко мне чувствуешь — любовь, ненависть, уважение, презрение. Хоть что-нибудь!

— Безразличие тебя устроит? — спросила она с вызовом.

Теперь-то все уже было, кажется, сказано, говорить, сводить счеты или объясняться навряд ли имело смысл.

Саша подошла к столу, взяла с него тяжелую, еще Василия Дмитриевича, а может быть, и его отца или деда, малахитовую пепельницу, вернулась в кресло, закурила новую сигарету, и все это молча, далекая и недоступная Рэму Викторовичу.

— Ты хочешь знать, как я к тебе отношусь... — прервала она наконец затянувшееся молчание, сказала это ровно, спокойно, будто речь у них шла о погоде за окном. — Я тебе скажу, если уж на то пошло, а уж твое дело — понимать или обижаться. Я тебя, представь себе, папа, люблю и маму тоже — голос крови, никуда не денешься. Но и — не более. А ненавижу и презираю и тебя, и ее — да, именно, ненавижу и презираю! — за то, какими вы стали, и, что ужаснее всего,

на моих глазах, я уже не маленькая была, все видела, все замечала. Я вообще ужас до чего зоркая и приметливая! А стали вы... даже не знаю, как сказать... стали вы такие себе на уме и такие осторожные, будто из-за каждого угла ждете бяку какую-нибудь страшную, будто темноты, как малые дети, боитесь, и в ней вам тоже чудятся бяки и змеи-горынычи всякие, и потому вы ничего-то вокруг не видите, не замечаете, даже родной дочери... — Не дала ему прервать себя, сбить с мысли, отмахнулась рукой с погасшей сигаретой. — Знаю, что ты мне скажешь — время такое было, Сталин и вся прочая гадость, страху по горло наглотались, а чтобы заглушить его, ты в свой модернизм, авангардизм, или как там его еще, с головою, словно под воду, ушел, тебе кажется, что так ты ужас до чего смелый и независимый, а все равно до холодного пота боишься, как бы тебе не досталось за эту смелость, и хоть и делаешь вид, что гордишься тем, что достанется, а все равно полны страху трусики, есть такое выражение, если ты не слыхал... А мать и вовсе вся в карьеру ушла, решила по глупости, что, если она записалась в те, которые страхи на всех напускают, так сразу и стала одной из них, можно жить с гордо поднятой головой, а на самом деле она теперь еще и того боится, что рано или поздно хватятся — не своя она, затесалась не на свое место, еще и партбилет отберут, а что у нее теперь, кроме партбилета, за душой есть? — ничего. Это один среди вас всех дед ничего не боялся, ни на кого не хотел быть похожим, ни от кого не зависеть... Это моя большая беда, папа, что не на деда уродилась похожей, а на тебя с матерью, хотя вы, как вам кажется, такие разные, ничего общего. А на самом деле — два сапога пара. Только мне не по ноге они, я, слава Богу, на счастье поздно родилась... Я не хвастаю, не моя в том заслуга, но мне на ваше время, на ваши страхи и ваши делишки наплевать, для меня их нет и не было никогда. Я другая, только вы этого не заметили, не придали значения, и вся ваша любовь ко мне — знаю, знаю, любите! — в том, чтобы я стала такая же, как вы, только так, вы считаете, и можно меня защитить от этих ваших — ваших, а не моих! — страхов, а я не боюсь, мне до лампочки!

Говорила торопясь, сбивчиво, лихорадочно, будто опасаясь, что он ее прервет и не даст договорить.

Он поймал себя на том, что не слышит, что она ему говорит, этих безжалостных и справедливых слов, не в них было дело: его неожиданно и, может быть, впервые в жизни с такой ясностью и несомненностью ожгло сознание — она любит его, нет на свете человека, который бы его любил так, как любит она. С такой ясностью и определенностью он это сейчас понял, что зашло сердце, и он едва мог сдерживать слезы благодарности ей за то, что она вопреки, наперекор всему так его любит, и эта ее любовь — его и ничья больше: Ирина его разлюбила, кто знает, как прочна и как надолго окажется любовь Ольги, а Сашина у него — навсегда, что бы там ни было, и никому не под силу запретить или помешать ей любить его.

Саша перевела дух, закурила новую сигарету, заключила уже ровно, почти деловито:

— А что вам с мамой и на самом деле надо узнать обо мне, так это то, что я ухожу. В смысле выхожу замуж. И не делай такие круглые глаза! Я и так опоздала — двадцать шесть лет, можно бы было уже иметь по крайней мере двоих детей, вон бабушка родила тебя чуть ли не в семнадцать. Погоди! — опять не дала ему сбить себя с мысли. — Ты хочешь спросить, за кого, кто он... А вы с ним уже успели познакомиться у твоего приятеля или собутыльника, не знаю, кто он тебе больше, ты еще ему что-то наплел, будто был знаком на войне с каким-то его родственником, дедом, что ли...

— Анциферов?! — только и мог он выдохнуть из себя, да еще краем сознания мелькнуло: вот он, узелок, не развязать, не разрубить, который — а он это знал, предчувствовал загодя, всегда! — связал его намертво с Анциферовым!..

— И если уж все до самого доньшка,— продолжила, не обратив внимания на его восклицание, Саша,— если уж всю правду, так и тебе бы надо уносить от-

сюда ноги — неправда, не два вы с мамой сапога пара, а если и пара — так то ли с одной ноги, то ли разного размера. Да и что вас держит вместе — дом, прописка, штамп в паспорте?.. Уходи, так тебе да и ей будет лучше, я это говорю прямо, потому что теперь знаю, что держит людей вместе.

— Что? — спросил он, хотя заранее знал, много ума на это и не надо, ответ. Но договорить до конца не успели — в кабинет вошла Ирина.

20

Ирина и не подумала делать вид, будто, вернувшись домой, не слышала из соседней комнаты, о чем они говорили, не тот она стала человек, не в таких еще сложных перипетиях ей приходилось разбираться на работе — она там считалась специалистом по всевозможным личным, персональным делам, по «аморалкам», — села в соседнее с Сашиным кресло за низенький столик, попросила дочь:

— Дай-ка мне сигарету, свои я в машине забыла. — Она начала курить, как и ездить на казенной машине, сразу, как перешла на начальственную работу. Закурила, глубоко затянулась, сказала без обиняков: — Знаю, что помешала вам, но, кажется, в самое время. Все, что сейчас наплела Саша — надеюсь, в запальчивости, не подумавши хорошенько, — бред, детская истерика, это пройдет. Но с ней я предпочитаю поговорить наедине, без посторонних. — И, чтобы быть правильно понятой, уточнила: — Без вас, Рэм Викторович. — Этот «Рэм Викторович» вместо прежнего домашнего «Рэма» появился в ее обиходе, правда, только на людях, в то же время, когда она стала курить и пользоваться служебной машиной, и должен был означать, что она тем самым как бы поднимает на иной, высший уровень их отношения. А вот «вы» — это было что-то новенькое, наверняка не случайное и, по всему виду, должно было означать, что в их с мужем отношениях происходит или даже произошло уже нечто из ряда вон и что она намерена принять по этому поводу какое-то капитальное решение. — А вот о вас, Рэм Викторович, я бы хотела поговорить, и прямо, если не возражаете, сейчас, и Саша тут не помеха. Тем более что она тоже все знает.

— Что — все? — чувствуя себя в захлопнувшейся ловушке, спросил он, хотя ответ было нетрудно предположить.

— Мама! — укоризненно вскинулась Саша, но Ирина не обратила на нее никакого внимания.

— Я никогда ни словом не только не упрекнула, но и не намекала на ваши сомнительные, хотя наверняка и веселые, богемные развлечения, когда вы из ночи в ночь приходили из ваших вертепов и от вас пахло дешевой водкой. Я всегда предполагала, что у мужчин, кроме дома и семьи, могут быть еще какие-то стороны жизни, где им удобнее обходиться без жен, и не считала это предосудительным. — Она говорила так ровно и складно, будто выступала на каком-то публичном собрании и выступление ее было заготовлено заранее. Впрочем, ее и в юности отличала округлая, слишком литературная речь, и, о чем бы она ни говорила, было похоже, будто она отвечает на экзамене, но тогда Рэму Викторовичу даже нравилась ее манера разговаривать, в ней, как и во всем прочем в Ирине, он видел лишь проявление ему самому недоступной, не по зубам, интеллигентности. — Но есть пределы, есть, извините меня, нравственные границы, которые порядочному человеку преступать неприлично. Я говорю об этой вашей...

— Мама! — резко прервала ее Саша. — Еще неприличнее говорить об этом, да еще при мне! Я лучше уйду! — Пошла было в двери, но раздумала, вернулась, снова села в кресло. — Нет, лучше я останусь, не то такого наговоришь, потом самой стыдно будет.

— Напрасно ты так думаешь о матери,— даже не посмотрела в ее сторону Ирина,— я не собираюсь говорить ничего худого об этой... этой даме сердца твоего отца. В конце концов каждый делает сам свой выбор, по Сеньке и шапка. Если бы речь шла о короткой, никого ни к чему не обязывающей интрижке, даже назовем это, хоть и с преувеличением, романом, с кем не случается, тут еще можно вовремя одуматься и увидеть последствия, но, насколько я понимаю, в вашем, Рэм Викторович, случае...

— Казусе! — насмешливо фыркнула Саша.

— Хорошо,— охотно согласилась Ирина,— случае. В вашем случае дело зашло куда дальше и назвать его иначе, как...

— Любовью,— опять вмешалась Саша.— Тебе не приходило в голову, что это может быть просто любовь?!

— Приходило,— вновь спокойно согласилась Ирина.— Тем более. Впрочем, я не уверена, что отец способен на глубокое чувство. Как бы там ни было, дело зашло так далеко, что не избежать поставить точку.

— Развод? — перебила ее недоверчиво Саша.— Вот уж не ожидала!

— Нет,— с искренним сожалением отозвалась мать,— имея в виду ответственность, которую я несу по роду работы. Если еще и мы, чья жизнь у всех на виду, начнем разводиться, какой пример мы подадим остальным?! Нет, я не о разводе, скорее я готова согласиться с тобой, Сашенька: так продолжаться не может, жить под одной крышей — сплошной обман или, того хуже, самообман, жалкое лицемерие.— И, вздохнув, словно ей не хватало сил, сказала: — Не развод, но разъезд, твои, Саша, слова.— И, не дав возразить ни мужу, ни дочери, объяснила то, что, по-видимому, давно уже обдумала и приняла решение: — К счастью, у нас есть дача покойного папы, ею практически никто не пользуется, зимний дом со всеми удобствами, до станции рукой подать, да и у вас, Рэм Викторович, в институте всего один присутственный день в неделю, можете перебраться туда хоть завтра, мы с Сашей вам поможем. Мы останемся здесь, в Хохловском...

— Мы!..— усмехнулась Саша, но мать ее не услышала или сделала вид, что не слышит.

— Я надеюсь, вы согласитесь с таким выходом, Рэм Викторович, тем более что другого и нет. Во всяком случае, я не вижу. И не перемену своего решения.— Неожиданно сказала мягче и даже печально: — Мне очень жаль, Рэм, но так будет лучше в первую очередь тебе. Жаль, поверь, ведь ни ты, ни я не ждали такого конца...— Встала, пошла к дверям, на пороге обернулась к дочери: — А теперь поговорим о тебе, Саша. Я жду тебя.— И прикрыла за собою дверь.

Рэм Викторович и Саша долго молчали, не глядя друг на друга.

Наконец Саша прервала молчание:

— Сильная женщина, этого у нее не отнимешь... Соглашайся, папа, так будет действительно лучше. И Ольге тоже.

— Откуда ты знаешь, как ее зовут?! — поразился он.

— А я с ней даже знакома. Откуда — тебе дела нет. Мы едва было не стали то ли подругами, то ли соперницами. Но теперь все утряслось. Соглашайся.— И неожиданно добавила: — А вот маме каково будет, одной в этих хоробах!..

И тут они оба, не сговариваясь, прислушались: из дальней комнаты, почудилось им, слышны были приглушенные, в подушку, всхлипы Ирины.

Теперь Анциферову ничего не оставалось, как долгими пустыми днями и еще более бесконечными бессонными ночами, которые мало чем отличались друг от друга, осмысливать и подводить итоги — не жизни своей, а новым своим мыслям о ней. Он не желал ни трусливо виноватиться и молить о прощении и по-

щаде, ни отречься или что-либо зачеркивать в своем прошлом — в нем как-никак было три войны, и он на них воевал честно, не щадя себя, и это, может быть, было лучшее в его жизни, уж об этом-то нечего сожалеть и стыдиться; была юность и молодость, полные, как он сейчас понимал, ошибок, лжи и стадной, слепой покорности, но и ложь, и ошибки, и покорность долгу были для него освящены искренней, не знающей сомнений и колебаний верой в конечную великую цель. Хотя дорого бы отдал, чтобы во имя ее не пришлось совершать ошибок, оборачивающихся преступлениями. И лучше бы ему быть в этом стаде бессловесной, одной из тысяч и тысяч, овцой, чем бараном, натасканным на то, чтобы, позвякивая колокольцем на шее, вести стадо на убой; он бы мог сказать, что делал это бескорыстно, не из жадности поощрения, не из служебной жестокости, ни даже из самопоения безоглядной властью над стадом, но что до этого было обреченным на заклание овцам?!

Он не предал своего лучшего друга, но ставить себе это в заслугу было бы и вовсе низко и позорно; у него не случилась личная жизнь, но кто знает, может быть, за обязанностями барана-вожака ему просто не хватало времени на любовь к жене, он и вообще-то, честно говоря, никогда в прежней своей жизни не понимал, что такое любовь, — с него довольно было его веры в великую дальнюю цель, и она поглощала все силы, все чувства, потребные для любви — любви не к человечеству, не к пролетариям всех стран, а к одной-единственной женщине, предназначенной тебе судьбой. Всечеловеческая, вселенская любовь сводила на нет самую потребность в любви простой, земной, не отравленной стадной оголтелостью.

И для лейтенанта этого, который неведомо почему запал ему в сердце еще в Берлине, у него не нашлось, когда тот попал в беду, ни одного доброго слова тогда, в заснеженном сквере у Большого театра, и не потому, что служба, дисциплина, государственная тайна, а из страха, все из того же страха за себя, за собственную шкуру, которым в стаде равно одержима что безгласная овца, что вожак-баран в голубых погонах...

Он не зажигал света ночью и привык к темноте, да и комнату свою за долгие годы так освоил, что и без света не натыкался на мебель. Но вот к ночной кромешной тьме за окном так и не мог привыкнуть и всякий раз, укладываясь спать, задерживал плотные тяжелые шторы.

Он подошел к окну, раздвинул их и в который раз удивился тому, как черна за окном темнота. В городе, у себя в Сивцевом Вражке, такой тьмы никогда не бывало, фонари с улицы и горящие окна домов напротив освещали мир, делали его видимым, реальным, а тут... И снова в голову полез все тот же черный квадрат, дернул же черт Иванова рассказать ему о нем...

«Зря, — подумал Анфицеров, — бросил пить, врачи напугали: рюмка водки при вашем состоянии для вас смерти подобна. Никогда никому не верил, особенно врачам, а тут на тебе, поддался их уговорам... Мне сейчас как раз одна водка на пользу и была бы, хоть мозги бы передохнули. Надо будет в следующий раз сказать Иванову, чтобы захватил...» — Но, вспомнив, что до Девятого мая, когда Иванов его навещает, еще ждать и ждать, решил, что завтра же, с утра пораньше, надо сходить на станцию и купить, но тут же усмехнулся по привычке про себя: хоть напейся в лежку, а черный квадрат — не вокруг, а внутри него — никуда не денется, не выбраться из него, будь он неладен...

Нечаеву в конце концов дали-таки разрешение на выезд — как бы в творческую командировку на три месяца, но уже через неделю после его отъезда поспешили — мало ли что он там, в Бразилии или еще невесть где, натворит или наговорит, — лишили советского гражданства. Впрочем, Нечаев был готов к та-

кому обороту судьбы и лишь длинно и гневно выматерился, узнав об этом сразу по прилете в Буэнос-Айрес, чем поставил в тупик встречавших его бразильских журналистов, не слишком знакомых со специфическими русскими идиомами. Впрочем, кажется, они его поняли.

От людных проводов, подустав к этому времени от многомесячного ожидания, Нечаев решительно отказался, он наперед знал, как до пошлости похоже на десятки других подобных проводов это непременно будет: в мастерскую набьется толпа незваного и лишь отдаленно знакомого народа — друзья, недруги, почитатели, злопыхатели, завистники, а их наберется вровень, надо полагать, и среди почитателей, и среди хулителей, будет шумно, бестолково, скоро все перепьются на дармовщину, первым — он хорошо себя знал — сам хозяин, набравшие гости станут во всю глотку брататься и ссориться, деспоривать старые споры, сводить старые счета, позабыв начисто, для чего собрались и что подобному случаю приличествует хоть какая-никакая меланхолическая примиренность чувств. Да и сам Нечаев, очень даже просто, спьяну запомнит повод, приведший всех этих людей к нему в мастерскую. А то и расчувствуется, разнюнит-ся, а уж этого он никак себе позволить не мог.

Накануне отъезда — он улетал на рассвете, с тремя пересадками — собрались лишь самые близкие: Иванов, Левинсон. Анциферов-младший — Рэм Викторович про себя называл его так, хотя знал от Саши и имя его: Борис, и фамилию: Федосеев, но он для него был прежде всего внуком Анциферова, — помогал хозяину сворачивать длиннющие рулоны офортов, складывать в ящики картины, альбомы с набросками, графические листы: ничего этого Нечаеву не разрешили брать с собой, но и не изъяли, как можно было ожидать, и он поручил Борису хранить их до лучших, буде они наступят, времен. И то, что в хлопотах деятельно помогала ему не кто иная, как Саша, удивило Рэма Викторовича куда меньше, чем неожиданное — она ни разу с тех самых пор, как исчезла внезапно из мастерской, не переступала ее порог — появление Ольги.

Нечаев каждого из них одарил на прощание какой-нибудь своей работой. Рэму Викторовичу — Нечаев был памятливым и ничего не забывал, а может быть, и не прощал ничего, — Рэму Викторовичу достался тот самый альбом с набросками с Ольги, которые так его поразили в первое же посещение мастерской.

— Возьми, — сказал он, протягивая Рэму Викторовичу выдавшую виды старую папку на завязочках, — это тебе как раз по зубам. Новое искусство ты хваливаешь только потому, что оно новое, чтобы от моды не отстать, чтобы все как у людей, но понимать, не обижайся, не понимаешь, разве что в нос шибает, а одно это, тебе кажется, дорогого стоит. А по вкусу тебе — я тебя знаю лучше, чем ты сам, — именно вот такое: тихое, скромное, привычное, душещипательное, ты же у нас нетронутая целина из провинции, и нечего этого стесняться. — И, помолчав, добавил как бы про себя: — А может, и на самом деле ничего лучше, честнее этого я и не написал, остальное — фуфло на потребу вашему брату, критикам. Это не ты ли мне как-то рассказал трогательную байку про «Черный квадрат»?.. Только что же я теперь могу поделывать — не отречься же от фуфла, поздно, все равно никто не поверит, тем более что я, да и вы, кровопийцы наши, такие деньжищи на нем заграбастали... Нет, не поверят, да и небезопасное это дело — критиков дураками выставлять, съедят живо, одну «молнию» от ширинки выплюнут. — И, снова помолчав, заключил: — Очень даже может быть, что ничего лучше этих рисунков я и не сочинил. «Черный квадрат», говоришь?.. Однако запомнился же анекдотец...

И пошел помогать Борису укладывать в деревянные неоструганные ящики то, что составляло всю его прежнюю жизнь.

Ольга, как и до того, как исчезла из мастерской, была молчалива, возилась на кухне, готовя последний в их общей жизни ужин.

«Тайная вечеря... — подумал про себя Рэм Викторович и тут же устыдился своей выпренности: — Тризна...»

Он держал в руках прощальный, и, конечно же, не без намека и смысла, подарок Нечаева, не знал, куда его девать и боялся, не забыть бы, уходя.

К нему подошла Саша, не замечавшая его до сих пор, словно они и вовсе незнакомы, взяла у него папку.

— Давай ее сюда, у меня сумка большая, а то непременно ведь потеряешь. — И прибавила небрежно, будто не придавая своим словам значения: — Замечательные рисунки, мне они нравятся больше всего из нечаевского. Это — настоящее, а что до остального... И, как ни странно, Борис тоже так думает, хотя, казалось бы... — Не договорила, да он ее и перебил:

— Ты их видела?.. — И тут же пожалел о своем вопросе, потому что — и Саша не могла этого не понять — спросил не о рисунках, а об Ольге.

Она и поняла:

— Я хочу тебе сказать, давно собиралась... Одним словом, я тебя не то что оправдываю, но... Будь я мужчиной, я бы тебя, наверное, поняла. — И резко, словно он пытался ее опровергнуть: — И хватит об этом. Я, наверное, не должна была это говорить. Кстати, — тут же перевела разговор на другое, хотя, собственно, и об этом ей не следовало говорить отцу, по крайней мере здесь и сейчас, — если хочешь, Борис мог бы помочь тебе уложить книги, он большой мастер по этой части. И вообще навести на даче порядок, там грязи — выгребай и выгребай, пять поколений культурный слой по себе оставили.

— Уже?.. — И вдруг впервые представил себе все ему предстоящее ясно и отчетливо и испугался. — Это мать настаивает?

— Это я. И чем скорее, тем лучше для всех. И для меня в том числе. Когда тебя не будет на Хохловском, мне проще будет и самой слинять.

— Бежать? — И только покачал горестно головой. — От чего бежать?..

— От кого мы все и всегда бежим? — пожалала она плечами. — От себя, больше не от кого. А вот куда... Это уж как у Чехова: «Если бы знать, если бы знать...» Но и об этом хватит.

— Откуда ты ее знаешь? — все-таки настоял он и опять пожалел о своем вопросе.

— Ольгу? — усмехнулась она чему-то, о чем не следовало бы вслух. И все же ответила: — А Борис мне в наследство от нее и достался, такой уж, папа, представь, гиньоль. — И жестко, безжалостно, но с тем лишь, чтобы — ничего недоговоренного, никаких околичностей: — А уж она от него — тебе. Не вздумай ревновать, это — жизнь, папа, а не твои побитые молью представления о ней, хотя ты и сам в них не веришь и живешь иначе. К тому же у них это было так давно, быльем поросло, о тебе тогда еще ни слуху ни духу... — И неожиданно, так что он даже вздрогнул: — А вот любишь ли ты ее?.. То есть любишь ли так, чтобы ломать жизнь и себе, и маме, и мне? Да и ей, может быть?.. Не говоря уж — любит ли она тебя, но на это ответа нет ни у тебя, ни у меня, ни, очень может быть, даже у нее... А раз не знаем ответа, глупо мучиться вопросом, верно?.. — И, чего с ней никогда прежде не бывало, чего он от нее никак ожидать не мог, поцеловала его в лоб — она была чуть ли не на полголовы его выше. — Ведь с нас достаточно и того, что я тебя люблю, а то и, чем черт не шутит, может, и ты меня?.. — И, словно застенчившись своей откровенностью, так на нее не похжей, быстро отошла в сторону.

Ольга в первый раз за весь вечер подала голос, сказала то, что обычно говорила и в прежние времена:

— Все готово, садитесь к столу. До утра далеко, успеете улечься. Садитесь.

Выпили первую рюмку, и вторую, и третью, по требованию Нечаева молча — никаких тостов, никаких напутствий, никаких соплей, по его же выражению. Но привычное его ретивое витийство после третьей взяло в нем верх, и остановить его уже не могло ничто и никто, разве что, воспользовавшись паузой, когда у Нечаева перехватывало дыхание, Исай Левинсон позволял себе высоким надтреснутым дискантом реплику, которой он пытался заявить о своем не-

согласии со всем и со всеми, но хозяин тут же пресекал эти неуместные и обреченные попытки.

В этот раз красноречие Нечаева было не похоже на прежние его филиппики — он говорил, казалось, лишь по закоренелой привычке всех переговаривать, никому не дать рта раскрыть — не было в нем обычной наступательности, агрессивности, жажды свести со всеми разом действительные или придуманные им самим счеты, раздать всем сестрам по серьгам. И говорил он не о том, что ждет его в новой, неведомой и ему самому жизни, не о будущем и будущих своих всесветных победах, а о каких-то давно, казалось бы, потерявших живое значение вещах: о Житомире, откуда он, оказывается, был родом, о войне — но не о подвигах своих, не об опасностях и геройстве, а — с отвращением, с горьким сознанием потерянных на ней годов, которые надо бы употребить совсем на другое, на легкомысленную, веселую молодость, на любовь, на удивление неоглядным, удивительным миром, что был, вопреки войне, вокруг и в нем самом, на то же искусство наконец. В войне он видел одну человеческую глупость, преступную ложь тех, кто начал, кто не сумел отвести ее, грязь, окопную тоску и тупость, и это тоже было непохоже на него: прежде он вспоминал войну как лучшую часть своей жизни, когда он был свободен и волен в себе, и эта свобода и воля сливались со свободой и волей всех остальных, а такого ни до, ни после войны с ним никогда не было, и именно с нею было связано то «лермонтовское», что, помимо мнимого внешнего сходства, он в себе лелеял. Он честил всю Россию, которая его не поняла, не приняла и вот, чего и следовало ожидать, извергла, выхаркнула, не жалел крепких слов и проклятий, но в этих проклятиях было любви к ней, и нежности, и неизбежно предстоящей ему вскоре маеты по ней больше, чем если бы он говорил о ней со слезою. Однако слеза эта все равно неизбежно набрякла бы в глазах и рано или поздно выдала его, и он, прервавши себя на полуслове, сказал грубо и решительно:

— Все! Пошли вы все к чертовой матери! Я-то точно — туда. Свидимся, не свидимся когда, да и нужно ли... Все уложено? — спросил Бориса.

— Утром я пораньше приеду с грузовиком, все заберу к себе, можешь не беспокоиться.

— Да гори оно все огнем, кому это теперь нужно, старье это?! Я теперь совсем иначе собираюсь писать, по-бразильски, вы варежки разинете! И еще и псевдоним какой-нибудь ихний себе придумаю, чтобы комар носа не подточил. А теперь идите — выпили, закусили напоследок на халяву, хоть это, может, обо мне запомните. Где вам теперь будет и кабак, и говорильня, и дом родной?.. — И уже не в силах совладать с тем, что и надо было сказать на прощание, что ньюло у него внутри, да не тот он был человек, чтобы рассусолиться, заорал: — Идите! Все! Чтoб духу вашего!.. — И круто повернулся, ушел на кухню.

— Идите, — сказала негромко Ольга. — Так ему лучше.

Все растерянно молчали, не решаясь уйти, не распрощавшись по-людски.

— Идите, — повторила Ольга, — вы же его знаете.

Они нерешительно направились к выходу. Ольга не тронулась с места.

— А ты? — спросила ее Саша с порога.

— А мне прибраться надо, не оставлять же здесь этот бардак. Не впервой... — И вдруг совершенно неожиданно для себя самой сказала, не повышая голоса, но и с вызовом: — Я хочу ребенка от него. Я его люблю. Да идите же, Бога ради!..

Был второй час ночи, метро уже не работало. Левинсон вскоре свернул за угол:

— Нам не по пути. Свидимся. — Но сказал это как бы не утвердительно, а с сомнением, более того — так, будто твердо знал, что нет, не увидятся им боль-

ше. И растворился в темноте переулка, маленький, худощивый, невзрачный, будто его и не было.

Они шли втроем по широченному безлюдному проспекту Мира, молчали, говорить, собственно, было не о чем и незачем.

С отъездом Нечаева для Рэма Викторовича начинался, он знал это, новый, неизведанный и чреватый важными переменами кусок жизни. В чем была эта важность, и какие такие перемены его ждут, Рэм Викторович не мог бы себе объяснить словами. Он был благодарен Нечаеву за то, как дружба с ним повлияла на прежнюю его жизнь, даже в самом прямом, обыденном понимании — без него семья, дом, Ирина, университет, научные его занятия походили бы на заведенный до упора будильник, отмеривающий обычный, повседневный, постылый порядок жизни. Дружба с Нечаевым составляла ее изнанку, оборотную ее сторону, ту подсветку, которая окрашивала обыденность в какие-то недостающие ей краски. Это помогало ему вырваться хоть на вершок за черту общепринятых и, как он теперь считал, обывательских, закоснелых предрассудков и давало какое-никакое ощущение внутренней свободы, пусть и призрачной. Нечаев и его молодые друзья заронили эту свободу в послушную от природы, смиренную душу Рэма Викторовича, не дерзающую хватать с неба звезды, да к тому же еще не нанесенные на небесный глобус, — мало ли этого?.. Да еще Ольга...

Он взял на ходу у Саши сумку с нечаевской папкой.

— Давай я понесу. — И, ощутив в руке тяжесть папки, подумал, что вот — это все, что ему после того, что он узнал сегодня и чему был свидетель, осталось от Ольги...

Саша его поняла, не стала спорить, отдала папку. Они с Борисом шли в нескольких шагах впереди него и говорили меж собою вполголоса о чем-то своем, он не слышал о чем, да и не его это теперь дело. Вот и Саша вслед за Ириной и Ольгой уходит от него — или он от них? — и теперь-то уж, особенно после того, как он переселится на дачу, ждет его то, что в неумолимо наступающем, наступающем на пятки его возрасте печальнее и нестерпимее всего: одиночество.

И еще эти вопросы, которые ему задала Саша там, в мастерской: любит ли его Ольга и любит ли он ее?.. К своему удивлению, он не испытывал ревности к Нечаеву. Любила ли его Ольга — на этот вопрос ответ уже дала она сама, и ответ этот, как ни странно, не жалил его самолюбие: если и любила, то в лучшем случае так, как любила — до Нечаева или после него — Бориса и еще наверняка многих других, такова уж, видать, участь всех натурщиц; да она никогда и не говорила Рэму Викторовичу, что любит его, напротив, в постели, в горячке страсти, она требовала от него слов любви: «Говори, что любишь меня! скажи, что любишь! говори, говори, не молчи!..» — и наверняка требовала этого не только от него, но и от всех прочих своих мужчин. Ей не хватало любви, подумал Рэм Викторович, — вот чего ей не доставало от них от всех, такой малости — любви. Но не любви этих случайных, несть им числа, мужчин, не его, Рэма Викторовича, любви ей не хватало, а — одного Нечаева, один он ей был нужен, все остальные, в том числе и Рэм, просто заполняли зияющую брешь, пустоту сердца, были если не мезью Нечаеву, так хотя бы бессильным что-либо изменить напоминанием самой себе, что не сошелся клином свет на Нечаеве, что есть и другие, только бы говорили — пока она в постели с ними, зажмурившись, чтоб не видеть их, отдавалась Нечаеву, ему одному, — только бы они говорили ей то, чего она желала и ждала от него одного: «Я люблю тебя!»

А вот второй Сашин вопрос — любит ли он ее, Ольгу? — казался ему сейчас, на ночной, ни души, московской улице, самым главным, от которого зависят не только его отношения с Ольгой — какие могут быть теперь отношения после сказанного ею в мастерской?! — но и нечто куда более важное, на него ему надо себе ответить немедленно. И вопрос этот не только в том, любит и любил ли он Ольгу, а любил ли когда хоть кого-нибудь? способен ли он вообще на лю-

бовь? — и от ответа на него зависит ответ и на самый решительный вопрос: а жил ли он до сих пор?

Но и отвечать себе было страшно.

В постели он словно находил ответ — именно и только в постели, потому что до нее или после он мог днями, неделями не думать об Ольге, обходиться без нее и без ее близости. Дела, работа, заботы, вернисажи, выставки, обсуждения или просто заменившие со временем и то, и другое, и третье и ставшие неотъемлемой частью московского коловращения тусовки, где можно со всеми повидаваться, всем улыбнуться, со всеми перекинуться парой пустых, никого ни к чему не обязывающих слов, на ходу, не прекращая этого, белкой в колесе, бега по кругу, обделать как нельзя лучше свои дела-делишки. В постели же с Ольгой он ощущал такую полную свободу, такую волю от себя самого и от тесных правил, которыми, словно тяжкими веригами, была опутана его жизнь — и дома с Ириной, и на работе, и в общении с коллегами и знакомцами, — что и одним этим он был счастлив и не лгал нисколько, когда на ее иступленные и обращенные, как он теперь наверняка знал, вовсе не к нему мольбы: «Скажи, что любишь меня, говори, что любишь, говори, говори!» — отвечал так же неосознанно: «Я люблю тебя, люблю, люблю». Но, насытив голод и утолив жажду телесного желания и умиротворившись, ни она не просила его об этих словах, ни ему не приходило в голову говорить ей их. Обманывали ли они друг друга? Каждый получал именно то, чего желал, и на большее не покушался. Обманывали ли себя самих? — тоже едва ли, потому что в эти мгновения говорили именно то, что чувствовали.

Она была так свободна в любви, так бесстыдно изобретательна и ничем не скована, что это, по его все еще провинциально стеснительному, скудному любовному опыту, казалось ему почти распутством, развратом, и именно это манило, распяляло и привязывало его к ней. И он сам чувствовал себя таким же свободным, смелым и сильным, как она, и это льстило его мужскому тщеславию.

Тем более поражало и ставило его в тупик то, что не в постели, а в обыденности, при свете дня ничего не выдавало ее сладострастности, он просто не узнавал ее, не мог совместить воедино ее — ту, в постели, и эту, на людях, на улице, в обычной, будничной жизни.

Как не мог узнать и в себе, сдержанном, благопристойном, деловитом, того себя, который шептал ей в закрытые ее глаза: «Я люблю тебя, люблю!»

Теперь-то уж, после того, как она бросила всем — ему в первую очередь! — в лицо там, у Нечаева: «Я люблю его, я хочу от него ребенка», — и стало ясно, что никого и никогда она, кроме Нечаева, не любила, теперь Рэму Викторовичу было куда проще — и он сделал это хоть и с печальным вздохом, но и с облегчением — признаться себе, что то, что было у него с Ольгой, было прекрасно, и он навсегда будет ей за это благодарен, но любовью — нет, любовью это назвать, пожалуй, было бы преувеличением. Страсть, одержимость, неутолимая жажда ее тела и ласк, память о которых никогда не забудется, — да, но любовь...

Значит, не знал он никогда любви, не умеет, не способен любить, нет у него той железы, что ли, которая вырабатывает любовь, всечасно ее источает и оплодотворяет ею человеческую жизнь?..

Но тут Рэм Викторович поймал себя на том, что все эти укоры самому себе, все эти уничижительные признания он делает как бы не вправду, как бы понарошку. Нет, не то чтобы он совсем не огорчен тем, что вот так, неожиданно-негаданно, кончилась его любовь — любовь ли? — с Ольгой, но при всем при этом готов — признался он себе, — пусть с сожалением, но и почти с облегчением принять все необратимо произошедшее с ним как некую неизбежную, никуда не денешься, данность.

И тут неведомо откуда явилась и вовсе унижительно-постыдная, ставящая на всем точку и вместе успокоительная в своей простоте и непреложности мысль: не сегодня, так завтра переезжать окончательно на дачу, а стало быть, начнется у него какая-то новая, не испытанная пока жизнь, и уж вовсе неведомо,

что она с собою принесет. А все прежнее останется по эту сторону, так уж сложилось или таков уж он, каждому — свое...

И, словно подслушав эту его мысль, к нему обернулся Борис и предложил как нечто отсекающее возможность какого-либо иного выбора:

— Я помогу вам при переезде, Рэм Викторович, я мастак на такие дела, всю жизнь перебираюсь с одной квартиры на другую, из одного угла в другой, мне не привыкать. Нам с Сашей сейчас направо, а вам все прямо...

— Ты не пойдешь домой?! — неуверенно, понимая, что нет у него уже на то права, спросил дочь Рэм Викторович.

На что она ответила тоже как о чем-то само собою разумеющемся:

— Я — к Борису. Не бойся, завтра-то я еще вернусь.

И Рэм Викторович не нашелся, что ей ответить, не говоря уж — запретить отцовской своей волей.

— Я вот что подумал,— как ни в чем не бывало предложил Борис,— отчего бы, в самом деле, и не сходить познакомиться с вашим другом, с Анциферовым? Если старичку так уж хочется... Для порядка, а то и получить ненароком от сомнительного родственника благословение на законный брак, тем более с вашей дочкой. Вы-то, как я понимаю, против не будете?.. Вместе и поедем к нему, в любое время, как скажете.

Саша, наскоро поцеловав отца в щеку, взяла под руку Бориса, и они исчезли за ближайшим углом, оставив его в одиночестве на совершенно пустой Сухареvской площади.

24

Анциферов, казалось, ничуть не удивился не ко времени приезду Рэма Викторовича: Девятое мая давно прошло, и, верный своей привычной манере не интересоваться никакими новостями «с воли», даже не спросил, с чем тот неожиданно-негаданно явился. А Рэм Викторович не знал, с чего начать, как объяснить собственный, на свой страх и риск, почин, о котором Анциферова он загодя не предупредил, и совершенно неизвестно, как тот к этому отнесется.

Однако выслушал его сбивчивые и маловразумительные предположения Анциферов спокойно и молча, не оборачиваясь к нему в своей соломенной качалке, даже не удивился совпадению его и Иванова мыслей: Иванов и знать-то ничего о внуке не мог. Глядел по всегдашней привычке неотрывно в окно, на начинавший уже желтеть лесок вдали и на одетую в строительные леса церковку, и глаза его были такие же непонятные и непроницаемые, как у Бориса. Выслушав Рэма Викторовича не перебивая, не сказал ни «да» ни «нет», вообще ничего не сказал и лишь много погодя, после долгого и тягостного молчания, только и спросил:

— Зачем? — но тут же, коротко, словно требуя служебного отчета и полной ясности: — Когда?

У Рэма Викторовича отлегло от сердца.

Больше ни он, ни Анциферов ни словом не возвращались к тому, ради чего, собственно, и приехал к нему не в срок Иванов, говорили о разном, незначащем, случайном, разговор не получался, и вскоре Анциферов прервал Рэма Викторовича на полуслове:

— Вот что, лейтенант, ты давай-ка поезжай, что-то мне сегодня лясы точить не по потребностям. Скажешь: в любой день, в любое время, кроме ночного,— нас же тут, гордость партии, на ночь запирают, как арестантов... А не придет — вольному воля, я ни в обиде, ни внакладе не останусь. Иди.

С тем Рэм Викторович и уехал восвояси.

Оставшись один, Анциферов еще долго глядел в окно на знакомую до последней сосенки, до самой малой подробности, приевшуюся за долгие годы кар-

тину: все одно и то же — редкий лесок, макушки церковки, за ними уже убранное картофельное поле, да сбоку — две высокие кирпичные трубы не то завода, не то котельной.

Мысли в голове были путаные, перескакивали с одного на другое, мешались в смутную невнятицу, и надо было сделать над собой усилие, чтобы расставить все по местам — до полной ясности, четкости и определенности. Чего Анциферов всю жизнь терпеть не мог и не позволял самому себе, так это именно что неопределенности: всему — свое время, место и назначение. А тут попал как кур в ошип, как мышшь в сметану, а ведь эта мысль — найти внука и посмотреть ему в глаза — не Иванову, а ему самому неотвязно приходила на ум, мог бы, кажется, загодя понять и решить, зачем это надо им обоим, ему и внуку, зачем.

Одно только давно уж он понял, хотя и никак не мог решиться, все уклонялся, откладывал: он должен это сделать, обязан, может быть, это последнее, что ему неизбежно предстоит сделать, прежде чем свести окончательно счета — так, чтобы дебет сходился с кредитом, чтобы все стало на свои места и он мог бы почувствовать себя свободным — от чего? от кого?! — и поставить последнюю точку.

Однако мысль никак не становилась решением, ускользала, как рыба из рук, а времени — все меньше, уходит водою в песок, а теперь уж его — и вовсе в обрез.

Внизу ударили в дребезжащий гонг — время обеда, но он не пошел в столовую, снял с себя казенную суконную пижаму с брандесбурами, подошел к шкафу, достал с верхней полки свежую белую рубаху, повязал галстук, надел темный, обвисший, за столько лет, на плечиках костюм, ботинки с трудом налезли на избалованные войлочными тапочками ноги, и пустыми в этот обеденный час лестницей и вестибюлем вышел наружу.

Спроси его кто, зачем и куда он направляется, едва ли он смог бы внятно ответить, но про себя знал, куда приведут его ноги.

Ноги были слабые, тяжелые, будто не свои — он давно уже не выходил никуда за пределы дома ветеранов, — однако он старался идти все тем же твердым, уверенным шагом, каким ходил всегда, сколько себя помнил, хотя сейчас это давалось ему нелегко. Но он не позволил себе ни сбавить шаг, ни остановиться, чтобы перевести дух. Правда, дорога шла все больше под уклон, а вот обратно, в гору, придется потруднее.

Ноги и привели его туда, куда надо, куда он и хотел прийти. Да и тропинка, по которой они сами вышагивали, в другое место и не могла привести: вот она, «коммуналка», стройные, по ранжиру, ряды стоящих торчком черных, не отличимых одна от другой могильных плит, похожих на стадо черных овец. Впрочем, тут не бессловесных в своей слепой покорности овец хоронили, усмехнулся он недоброй, едкой своей ухмылкой, тут хоронят одних заслуживших это безропотной, верной службой баранов-вожаков, ведущих за собою овец на бойню; право упокоиться на «коммуналке» дается далеко не каждому, их строго сортируют, прежде чем закопать навечно здесь, как, впрочем, еще строже и придиричивее сортируют главных вожаков, вожаков над вожаками, — кому в кремлевскую стену, кому на Новодевичье, партийная иерархия торжествует и после смерти.

И на каждой плите выбитая в камне или нанесенная непрочной бронзовой краской — не имя главное, не годы рождения и смерти — дата вступления в партию. В стадо. В стадо, в котором и он прожил всю свою жизнь и в котором ему истлеть, превращаться в прах, в историческую пыль после смерти.

Что ж, это будет и правильно, и справедливо, да он и сам это для себя избрал — правда, для него это будет не посмертной данью тщеславию, не почетной наградой, а спокойно и свободно принятым приговором, воздаянием за некогда им самим сделанный выбор.

И пусть на его плите тоже будет выбита навечно дата вступления в стадо. Но он велит Иванову, берлинскому своему лейтенанту-переводчику и сего-

дня единственному своему другу — не другу, так близкому человеку, и Иванов не осмелится ослушаться его последней воли, сделает так, как он ему велит,— он велит Иванову, чтобы на плите рядом с этой датой не было и упоминания о КПСС, ни даже о ВКП(б), не в этой партии он состоял душою, а в той, какой и вовсе не было, когда он желторотым юнцом верил безоглядно во всеобщую, одну для всех и на всех, свободу, справедливость и счастье. Он и сейчас, несмотря ни на что и вопреки всему, в это верит. И готов снова и снова не щадить себя во имя ее дальней, высокой цели. Хотя теперь он знает, что цель эта недостижима. Ну и что, подумал он упрямо, пусть недостижимая, но высокая, выше нее он ничего не знает. Ведь не синица в руке, а журавль в небе нужен человеку, чтобы можно было хоть как-то жить в этом не лучшем из миров, чтобы хоть чем-то жить, во что-то верить. Конец делу венец? Что ж, и это тоже правда, но началото, первая вера, как и первая любовь, пусть и обманутая — ее со счетов тоже не сбросить. И я — верю, и буду лежать здесь, среди этого стада, потому что должна же быть в стаде хоть одна овца, все под конец жизни понявшая, всему узнавшая цену и ничего себе не простившая.

Ноги совсем обмякли под ним, и он присел на краешек ближней плиты. Мысли туманились, кровь молотком стучала в висках, на затылок навалилась свинцовая тяжесть, но он себя пересилил, справился с собою, посидел недолго и пошел обратно тою же тропинкой. Взглянув вверх — не достигнет ли его дождь, и чуть вправо, на вершину кладбищенского холма, скорее угадал, чем увидел за разросшимися деревьями три стремительно взметнувшиеся к небу верхушки сосен и, вспомнив, усмехнулся: скажите, как он угадал, как наперед глядел: «Предвесьтем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход...»

25

Переселение, а если уж смотреть правде в глаза — выселение на дачу решительно переменяло весь уклад жизни Рэма Викторовича, а со временем, день за днем, незаметно и исподволь, и его самого. Он и предполагать не мог, что так безропотно покорится этим переменам.

Саша и Борис взяли на себя все заботы по переезду, Ирина не только ни во что не вмешивалась, будто все это нисколько ее не касалось, но даже — из тактичности, как она сама себя убедила, — уехала в командировку на все дни, по Сашину выражению, «великого переселения народов». Даже с книгами, а их у Рэма Викторовича набралась тьма, управились в каких-нибудь три или четыре дня.

И началось у Рэма Викторовича новое, ничем не схожее с прежним житье-бытье.

Оказалось, к его удивлению, что все дела в институте и в редакциях безо всякого ущерба можно решать и по телефону и что его отсутствие вовсе не так невозможным, как он привык думать: однажды запущенное, колесо катилось по наезженной колее и без него. А иногда целыми днями телефон и вовсе молчал, и тогда Рэм Викторович еще бессильнее ощущал это новое для себя состояние: одиночество. Одиночество, тягостное, постоянное, и стало главным, если не единственным чувством, которое он теперь испытывал. В Москве, в семье, где он тоже, собственно говоря, был одинок,— если не считать тех давних уже, как казалось ему, времен, когда у него был, рукой подать, Нечаев с его мастерской, его шумливые друзья, наконец, была Ольга,— память о тех временах, хоть и тускнела день ото дня, а долго еще саднила. В Москве он этого чувства за бесконечной суетой прежде с такой остротой не слышал бы в себе. Теперь же оно поселилось в полупустой, отдающей нежилым духом даче постоянно и бессрочно, вроде ноябрьского скучного и тусклого дождя, который не вчера начался и неизвестно, кончится ли.

Спасала работа, да вечерами, с семичасовых новостей и до полуночи, а то и дольше, телевизор, причем было совершенно неважно, что по нему показывают, важен был сам наркотический процесс мнимого общения с миром в тесном окошке экрана, кнопки на пульте можно нажимать в любом порядке — и фильмы, и передачи новостей, и оглушительная музыка так неотличимо похожи меж собою, что кажется, будто из вечера в вечер смотришь один и тот же набивший оскомину фильм, слушаешь одну и ту же громающую, без конца и начала, песню, а уж о политических новостях и говорить нечего... Исключение составляли только футбол летом и хоккей зимою, и Рэм Викторович поневоле стал со временем болельщиком и даже знатоком в этом деле.

И в отношении собственных занятий он стал замечать нечто схожее — важно было не то, что он думает и пишет, а опять же сам процесс писания, само сидение перед матово-серым бельмом компьютера, устройства которого Рэм Викторович не понимал и доверял ему куда меньше, чем обычной и такой внятной пишущей машинке: механическое убивание времени, которое на даче оказалось куда медлительнее и просторнее, чем в Москве, почти бесконечным. А под рукой — один компьютер да телевизор...

Да разве еще собственные мысли.

В них Рэм Викторович тоже терялся и переставал себя понимать.

Не принесло давно ожидаемой радости и избрание в члены-корреспонденты академии, разве что, помимо институтской зарплаты, академическая, «гонорис кауза», стипендия стекалась ежемесячной струйкой на его счет в сберкассе, так что денег на более чем сносную жизнь вполне хватало.

И это притом, что он все еще ощущал в себе и крепость сил, и бодрость после утренней пробежки трусцой по дачному поселку, и вообще не наблюдал в себе никаких предвестий телесного увядания, да вот вкус к жизни день ото дня увядал, все стало казаться неинтересным, безразличным, ненужным.

И лишь изредка перед глазами невольно вставали нечаевские карандашные наброски с Ольги — обнаженной, хрупкой, юной, с глазами узнавшей почем фунт лиха женщины, узкие ее ступни с детскими пальцами. И тогда он начинал думать об Ольге, и эти мысли вытесняли все другие, и он слышал в себе свою перед ней запоздалую без вины виноватость. Но вина, теперь он понимал это и признавался себе, была: он не любил ее, не умел любить.

26

На выходные дни на дачу к Рэму Викторовичу приезжали Борис и Саша. Вот уж чего он никак не мог прежде ожидать от дочери, так это такой ее заботы о нем. И вообще ему казалось, что он теперь раз от раза узнавал ее как бы заново, с еще одной неведомой ему раньше стороны, и, никогда об этом вслух не говоря, они становятся все ближе, все понятнее друг другу, даже, может быть, все необходимее. И он уверял себя, что ее еженедельные приезды на дачу — все не из одного только дочернего долга.

Но при этом дамкловым мечом висело над Рэмом Викторовичем твердо принятое ею и Борисом, трезво, по их словам, взвешенное и загодя подготавливаемое, но по разным обстоятельствам все откладываемое решение уехать вслед за Нечаевым. Нечаев же за это время, даже опережая собственные ожидания, настолько преуспел на так и не полюбившейся ему гостеприимной чужбине, что жил теперь, естественно, не в какой-то там, на краю света, Бразилии, а вперемежку то в Америке, то в Париже, стал мировой знаменитостью нарасхват, университетских почетных званий и наипрестижнейших премий пруд пруди, и звал Бориса к себе, пророча ему, при своих-то связях и его, Бориса, таланте, сногшибательные проекты и контракты, просто-таки золотые горы. Поставив Рэма Викторовича в известность, ни Борис, ни Саша больше не заговарива-

ли с ним на эту тему, вопрос не подлежал обсуждению, и ему только и оставалось, как ждать все более близкого дня их отъезда с ясным, безжалостным пониманием того, что тогда-то останется уже окончательно, бесповоротно один на один с одиночеством, да не таким, как прежде, как сейчас — от приезда Саши до другого, а таким, что ни конца ему, ни края, ни просвета.

С Борисом Рэму Викторовичу не часто доводилось поговорить — приехал из Москвы, тот тут же забирался в мезонин, отведенный ему под мастерскую, и до самого вечера не спускался оттуда, да и за ужином был не слишком общителен. Но с Сашей, судя по всему, они умели обходиться и без слов.

И уж о чем они, Рэм Викторович с Борисом, никогда бы и не заговорили, так это об Ольге. Как, естественно, и с Сашей.

Недели за две до отъезда — уже и виза в паспортах стояла, и билеты были на руках — Борис совершенно неожиданно и как о чем-то само собою разумеющемся и просто упущенном в предотъездных хлопотах, спросил Рэма Викторовича:

— Так когда же мы к деду-то, невидимке, наведаемся? Времени осталось всего-ничего.

Вопрос застал Рэма Викторовича врасплах — за заботами последнего времени: переселением на дачу, все близящимся отъездом дочери, за невеселыми мыслями о том, как же ему теперь жить одному, он совсем позабыл о своей же идее свезти Бориса к Анциферову, да и о самом Анциферове было недосуг вспоминать.

— Когда?..— переспросил он растерянно, на что Борис ответил чисто по-анциферовски — тоном, не допускающим разнотолков:

— Да хоть завтра, с утра пораньше.

Хотя у Рэма Викторовича все еще была на ходу, с грехом пополам, старая, дребезжащая всеми суставами «Волга», он предпочел поехать в Переделкино на электричке — боялся кольцевой дороги, узкой и опасной. С электрички на метро, из метро опять на электричке, — и через каких-нибудь полтора часа были в Переделкине. На этот раз Рэм Викторович пошел, минуя вопреки давнему обыкновению кладбище, прямо, коротким путем к дому ветеранов.

Всю дорогу в поезде Борис молчал, рисуя что-то карандашом в большом блокноте, с которым никогда не расставался, и когда Рэм Викторович попытался поговорить с ним об Анциферове, чтобы как-то подготовить к встрече с дедом — если тот ему и вправду дед, в чем ни у одного, ни у другого не было полной уверенности, — Борис прервал его на полуслове, не подымая на него глаз:

— Не надо, Рэм Викторович, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. — И вновь уткнулся в свой блокнот.

Все те же укрывшие лица полотнищами «Правды» старики и старухи на скамейках перед входом, все та же садовница в выцветшем синем халате, копошащаяся у цветочной клумбы, — казалось, жизнь тут остановилась, впала в спячку, часы отмеривают время давно минувших, канувших в непроглядное прошлое дней.

В вестибюле им навстречу встал из-за столика с двумя на нем телефонами — городским и внутренним — вахтер в офицерском кителе со споротыми погонами, преградил путь к лестнице.

— Вы к кому, товарищи?

— К Анциферову, — объяснил Рэм Викторович и двинулся было дальше.

У вахтера округлились почему-то глаза, удивление смешалось в них с подозрительностью.

— Одну минутку, товарищи, одну минутку! Без разрешения начальства никак нельзя. Сейчас я его вызову, а уж как оно посмотрит... — Набрал трехзначный номер, сказал торопливо в телефонную трубку: — Антон Сергеевич?.. Извиняюсь, Сидоренко докладывает. Тут товарищи пришли к... — Прикрыл трубку ладонью, сообщил вполголоса, будто поверяя государственную тайну или

предупреждая о неожиданно нагрянувшей опасности: — К товарищу Анциферову. Да! Вот именно что...— Выслушал ответ начальника, положил трубку на рычаг, сказал сухо, словно бы ставя Рэма Викторовича на место: — Ждите. Антон Сергеевич сами выйдут, разъяснят по форме.

Антон Сергеевич, двух минут не прошло, тут же появился из боковой двери, пошел к посетителям твердой, вышколенной походкой, выдававшей в нем, несомненно, тоже военного в недавнем прошлом человека.

— В чем дело, товарищи? — спросил строго, переводя взгляд с Рэма Викторовича на Бориса. Как бы смягчая официальный тон, представился: — Овчаров Антон Сергеевич,— но руки подавать не стал.— Вы к кому, собственно говоря?

Это «собственно говоря» почему-то ужасно оскорбило и вывело из себя Рэма Викторовича.

— Собственно говоря, к товарищу Анциферову, и не в первый, заметьте, раз, и никогда...

Овчаров не дал ему договорить:

— Кто вы ему будете, разрешите узнать?

— Фронтовой друг! И какое вам до этого дело?! А это,— указал рукою на Бориса,— его внук, и я не понимаю...

И не столько увидел краем глаза, сколько догадался, как Борис на это усмехнулся той самой анциферовской усмешкой — едкой, холодной.

Овчаров подозрительно покосился на обоих:

— Если фронтовой друг, а тем более еще и близкий родственник, как же вы оба не в курсе?..

— Не в курсе чего? — не понял его Рэм Викторович.

— А того, что умер он, ваш друг. Уже два месяца как умер. И похоронили сразу. Все по распорядку. На похороны, как положено, не приехали, а теперь — вынь да положь вам фронтowego друга.

— Ну, ну! — резко оборвал его Борис и посмотрел ему глаза в глаза тем взглядом, который Рэм Викторович знал за одним Анциферовым: так, будто за ним стояла некая сила и воля, для которой Овчарова и не существует.

И Овчаров это разом почувствовал, повторил уже совершенно другим, мало не искательным тоном:

— И похоронили, все честь по чести. Даже пытались отыскать родственников, но...

— Умер?..— не мог прийти в себя Рэм Викторович.— Как же так?!

— А как все умирают, закон, можно сказать, жизни, да и было ему чуть ли не за девяносто,— пожал с намеком на печаль плечами Овчаров.— Личные вещи сохранили, опечатали, если желаете, можете взять. Только документ по форме потребуется. А на могилу свести — хоть сейчас, сам и проведу, у меня как раз обеденный перерыв.

Они пошли по заросшей пожухлой травой узкой тропе низом кладбищенского холма — Овчаров впереди, за ним Борис, следом Рэм Викторович.

Овчаров на ходу что-то объяснял насчет кладбища, и в его голосе слышалась гордость толкового администратора за вверенное ему хозяйство, за то, в каком порядке оно содержится, на ходу читал надписи на могильных камнях и пояснял, словно хвастаясь, какие достойные, при жизни на высоких должностях, люди под ними лежат.

Оказавшись в середине кладбища — «коммуналка», вспомнил Рэм Викторович, как называл его Анциферов, и ему вновь пришло на ум, что эти надгробные камни, неотличимые один от другого, похожи на стадо черных овец, согнанных на заклание,— Борис присвистнул от удивления и неожиданности и долго молча озибался вокруг, будто пытаясь запомнить все это навсегда.

— Ну вот,— остановился Овчаров у могилы Анциферова,— отвели лучшее место, учитывая, что покойный товарищ Анциферов, говорят, на самом верху

исполнял обязанности. Хотя нам тесно стало здесь, и не знаешь, где хоронить, а расширяться — площади нет.

— Бумаги какие-нибудь после него остались? — неожиданно спросил Борис.

— Бумаги, — сухо и официально отозвался Овчаров, — передали кому следует, по форме. — Помолчав, сказал так, будто был не уверен, что это можно доверить посторонним, пусть даже фронтовому другу или близкому родственнику: — Тут такая закавыка еще была... Он умирал при полном сознании и все ждал кого-то, кому то ли завещание свое хотел передать, то ли распоряжение насчет захоронения...

— Меня... — скорее самому себе, чем Овчарову, сказал Рэм Викторович. — Меня он ждал... а я — на даче...

— Ну вот, а вас нет и нет... Тогда он пригласил меня, как главного ответственного по дому ветеранов, и потребовал... именно, что потребовал, а не попросил! И так, знаете, будто приказ отдавал, видать, в больших был начальниках когда-то!

— Что потребовал? — тоже не спросил, а, как дед, приказал дать отчет Борис.

— А насчет надписи на плите — видите, как у нас: обязательно дата членства в партии — член КПСС с такого-то или такого-то года...

— Ну и?.. — настоял Борис.

— Я даже поначалу и понять не мог, чего он хочет! Сказал, даты поставьте, но обязательно чтобы никакого, представьте, КПСС!

— Ну а вы?

— Так не положено! Да и в какой партии, получается, он состоял?! Другой-то у нас никакой и нету. Сделали по форме, как у всех.

На черном граните свежей еще, не осыпавшейся бронзовой краской было выведено: «Член КПСС, 1924—1987».

— Понятно, — сказал не то с насмешкой, не то с печалью Борис. — Службу знаешь, командир. — Повернулся к Рэму Викторовичу: — Пошли, делать тут больше нечего. — И первым направился в сторону станции.

В электричке, на обратном пути, они не обмолвились ни словом.

И только неуместным и бездушным показалось Рэму Викторовичу то, что, не успев занять место у окна, Борис вытащил свой блокнот и принялся в нем рисовать что-то.

— Не берите себе в голову, Рэм Викторович, — вдруг сказал Борис, не отрываясь от рисования. — Не было у меня дедов, да и быть не могло, уж не взыщите. Я ведь подкидыш, мне и имя-то в детдоме дали. А что поехал с вами — так вам же и хотелось этого. Ну разве еще из любопытства — а вдруг?.. — И, перевернув страницу блокнота, принялся за новый рисунок.

Телефона в квартире, которую Ольга в кои веки получила — и тоже у черта на рогах, где-то в Конькове, — не было, и Рэму Викторовичу позвонить ей было нельзя. Да он и решил про себя, что после той сцены на проводах Нечаева, что ни говори, а обидной и оскорбительной для него, звонить и не станет: зачем, что они могут друг другу сказать?.. Не выяснять же отношения, на которых она так решительно, раз и навсегда, поставила крест!

Но временами он слышал в себе томительную память об Ольге, такую же нетерпеливую, каким было прежде желание ее близости. И как в ту первую ночь, после знакомства с нею в мастерской Нечаева, ему нет-нет, а непрошено являлись сны, в которых он был смел и безоглядно свободен с нею, и поутру не мог с уверенностью сказать себе, было ли то во сне или наяву.

А ведь прошло ни много ни мало, а дай Бог памяти сколько долгих лет...

От Саши, и то обиняками, он знал об Ольге лишь то, что Саша считала нужным ему сообщить: Ольга родила и по срокам — несомненно от Нечаева, родился мальчик, Миша, ему шел уже шестой год, здоровый, нормальный ребенок, живут они скудно, Ольга работает машинисткой все в том же детском издательстве, платят ей там гроши; Нечаев признал ребенка, но усыновлять не стал, помогает оттуда, из своих Парижей и Нью-Йорков, правда, от случая к случаю, с оказиями. На вопрос Рэма Викторовича, продолжает ли Ольга подрабатывать «левыми» рукописями, Саша загадочно усмехнулась, только и сказала, что это касается не одной Ольги, но еще многих других людей, и потому она не вправе ничего больше говорить.

Однажды Рэм Викторович, уже незадолго до Сашиного отъезда, набравшись храбрости, спросил ее, не считает ли она, что ему бы следовало навестить Ольгу, может, он и окажется ей чем-либо полезным, на что Саша сухо ответила: поздно, минула целая вечность, незачем ворошить старое, у Ольги и без этого забот по горло. Возражать Рэм Викторович не стал, вероятно, Саша была права, но огорчился и даже обиделся: ведь не он же, а сама Ольга порвала с ним, ушла, как в воду канула, даже не сочла нужным на худой конец хоть объяснить... Но вслух ничего этого не сказал, проглотил горькую, вяжущую рот пилюлю.

И лишь когда Ольга заболела и надежд на выздоровление никаких не оставалось, Саша сама сказала ему: «Езжай» — и дала адрес. Но при этом предупредила, что надо непременно поставить Ольгу в известность и получить ее согласие, и она сама займется этим.

И опять Рэму Викторовичу не оставалось ничего, как ждать с беспокойством: как они с Ольгой встретятся после стольких лет, какой он найдет Ольгу и каким она его, о чем они станут говорить и о чем молчать, и он никак не мог взять в толк, поверить, что она неизлечимо, безнадежно больна и он идет к ней проститься...

Шел Рэм Викторович на эту встречу с бьющимся тревожно сердцем, однако вопреки его страхам свидание с Ольгой прошло спокойно, ровно, так, словно они совсем недавно виделись и виделись часто, постоянно и, главное, будто никогда и ничего меж ними не было такого, что могло бы дать повод не только к взаимным упрекам или запоздалым пеням, но даже и к воспоминаниям.

Это Ольга задала с первых же слов такой тон их встрече, и, казалось, безо всяких усилий с ее стороны, а как единственно возможный и естественный.

Рэм Викторович нашел ее почти не изменившейся за эти без малого семь лет, и даже болезнь ее — а Саша предупредила его, что недуг уже в последней стадии, все средства испробованы и тщетно, — даже болезнь на первый взгляд Рэма Викторовича не наложила на нее видимых следов: то же легкое, невесомое, словно бесплотное тело, та же мягкая деловитость движений и выражения лица, те же стройные, узкие в лодыжках ноги с ладными, узкими ступнями — Ольга ходила по дому босиком, как прежде в мастерской Нечаева или в своей комнатке у дяди Васи и тети Тани. Краем слуховой памяти Рэм Викторович как бы даже услышал дребезжание заезженной патефонной пластинки: «Едем мы, друзья, в дальние края»... Разве что в затененной от полуденного солнца дешевыми ситцевыми, в крупный рисунок занавесками тесной комнате Рэм Викторович не сразу разглядел, как осунулось и поблекло, покрылось нездоровой желтоватой бледностью ее лицо и во взгляде не стало прежней дерзкой защитной усмешки.

И все же она ничуть не изменилась, была все тою же, которую знал и помнил Рэм Викторович, и именно потому, что она была прежней и при этом на душе у Рэма Викторовича ничего не дрогнуло, ничего не зажгло, не затеплилось, и видел, и узнавал он ее не сердцем, не памятью сердца, а одними лишь глазами, одной только зрительной памятью — он с новой, обостренной ясностью понял,

в чем его вина перед нею: он не любил ее. Впрочем, тут же нашел и смягчающее обстоятельство: она его тоже не любила, любила она всегда, как любит наверняка и сейчас, одного Нечаева, и сын ее — сын Нечаева.

Но это, тут же одернул он себя, ничего не меняет и не умаляет его вины. Напротив, вина его куда более неотмолима, и не перед одной только Ольгой, или, дело прошлое, Ириной, или даже перед Сашей, вина эта заключалась в том, что он вообще никогда никого по-настоящему не любил, не умел любить, не испытывал в этом потребности столь же неистребимой, как дышать, пить, есть, просто жить и радоваться тому, что живешь. Так уж он был мечен судьбой — уродиться без той неутомимой мышцы сердца, без той клеточки мозга, без той жадной и вместе бескорыстной неутолимости в душе, которая и рождает потребность любить и питает, лелеет ее, делает жизнь не юдолью душевной пустоты, а расцветивает ее всеми цветами радуги, ощущением полноты ее и высшей, совершенной осмысленности существования.

Ему-то после постных, стыдливо-холодных ласк Ирины казалось, что смелость, свобода и раскрепощенность Ольги в постели, распахнувшие перед ним неведомые, не подозреваемые им прежде обжигающие услады, сделали из него мужчину, пробудили и выпустили на волю его мужскую душу, а на самом-то деле — сняли оковы лишь с его тела, не с чувства, а с одной грубо-телесной, себя — и только себя! — любовной чувственности; это было всего более похоже на то, как вытаскивают из воды утопленника и пытаются вернуть ему дыхание и сердцебиение, и никому в голову не приходит, каково его бессмертной душе, заглянувшей в пучину вечности. Ольга его спасла в тот день на бульваре, после позора отступничества в кабинете Логвинова, от отчаяния и потом, во все их другие встречи — от жалющих, едких воспоминаний об этом отступничестве; она ему и вправду нравилась, с нею ему было хорошо и покойно, она многому его научила в изощренном ремесле — именно ремесле, а не искусстве! для искусства у него кишка тонка! — любви. Но если смотреть правде в глаза, была она для него чем-то вроде спасательного круга, не более. И не миновать было сверх всего признаться, что, как ни смешно и унижительно узнать такое о себе, его тогда и то тешило, что досталась она ему не от кого-нибудь, а от Нечаева, и это льстило его мужскому — не мужскому: жеребьячьему! — тщеславию.

Миша, сын Ольги, был крепенький, складный, не стесняющийся постороннего и легко с ним сошедшийся мальчуган, осенью ему уже в школу, в подготовительный класс, Ольга много и подробно говорила о школе, о необходимости загодя купить одежду и учебники, он уже читает, скоро будет бегло читать и по-английски. Говорила так, будто не знала — а она наверняка знала! — что ей всего этого уже не увидеть: две операции только оттянули конец, отказывали почки, днем и ночью не прекращались боли в спине, метастазы прожорливыми спрутами расползлись по всему ее телу, внешне никак не поддававшемуся болезни и умиранию. Она не обманывала себя — она верила в это по той простой причине, что не могла себе представить, что может оставить Мишу одного, что может *там*, куда она уходит, быть без него.

Рэм Викторович искал в мальчишке сходства с Ольгой или с Нечаевым и не находил, и ему неожиданно пришла совершенно уж шальная мысль: а что, если сроки врут, и Миша вовсе не нечаевский, а его, Рэма Викторовича, сын?! И было совершенно непонятно, что делать с этой мыслью, каким образом утвердиться в этом подозрении или опровергнуть его, он даже не мог себе ответить в эту минуту, чего больше ему хочется: утвердиться в нем или опровергнуть, и как быть, что следует делать ему, как поступить, когда Ольги не будет и Миша останется один.

Но оказалось, что Ольга уже и это предусмотрела, и об этом позаботилась, — и сказала об этом Рэму Викторовичу так просто, так рассудительно и расчетливо, что у него перехватило дыхание от удивления, жалости и восхищения ею — она уже подумала о том, как быть с Мишей, когда он останется без нее: родители его лучшего друга по детскому саду, люди замечательные, доб-

рые, на них можно без страха положиться, очень хотят второго ребенка, но у жены была тяжелая операция, рожать она уже никогда не сможет, они любят Мишу как собственного сына и сами предложили взять его к себе и усыновить, уже и все нужные документы подготовлены. Вот только подпишет она их в самую последнюю минуту, хотя тут тоже надо бы не опоздать... Так что Миша будет в хороших руках, она за него спокойна. И, главное, никому он не будет в тягость.

И — ни слова о Нечаеве, который бы, казалось, и должен забрать сына к себе, воспитать, поставить на ноги: будто его и вовсе не было, будто родился Миша без участия отца. Она слишком хорошо знала Нечаева, его иступленную сосредоточенность на себе и на своем искусстве, которое для него важнее и святее всех любовей и всех привязанностей, на то он и гений... Может быть, пришло на ум Рэму Викторовичу, она это делает, пусть и бессознательно, тоже из вечной своей, одной на всю жизнь любви к Нечаеву, которую Рэм Викторович понять был не в состоянии: не хочет мешать его гению, навьючивать на него обузу, к которой он не привык и с которой наверняка не сумеет даже при желании, из лучших побуждений справиться, только будет раздражаться и мучиться угрызениями совести, и раздражение это — ей ли его не знать! — невольно вымещать на сыне, которого, собственно, ни разу в глаза до сих пор не видал.

Ошеломленный Рэм Викторович не знал, что на это сказать, молчал, и только в голове — глупее не придумаешь! — назойливо вертелось: «Едем мы, друзья, в дальние края...» да перед глазами, словно он перелистывал подаренный ему Нечаевым альбом, стояли, сменяя один другой, рисунки: нагое, хрупкое, словно после долгой болезни тело Ольги, ее ноги, ступни с детскими пальчиками, коротко, почти наголо, стриженная маленькая голова, темные вишенки сосков, курчавящаяся тень ниже живота... Но сейчас он испытывал к ней не жадное плотское желание, как в тот первый раз и во все другие разы, когда они встречались в ее сиротской комнатке у дяди Васи и тети Тани и боялись, как бы не закрипела под ними панцирная сетка узкой железной кровати, а некий впервые им испытываемый бескорыстный порыв души, не порыв даже, а словно некий теплый и нежный ток подул из дальних, невдомек ему доселе тайников ее, как предвестие, обещание того, что могло бы при иных обстоятельствах стать тем, что называют любовью.

Но он ни словом не обмолвился об этом новом и незнакомом ему чувстве, не чувстве даже, а скорее предчувствии, а Ольга и не услышала, не угадала эти его мысли, до него ли ей, и продолжала все так же спокойно и рассудительно говорить о том, как славно устроится судьба Миши, то есть о собственной смерти, которая была для нее лишь одним из огорчительных обстоятельств, ставящих определенные трудности перед тем, чтобы как можно продуманнее, осмотрительнее и дальновиднее устроить будущую — уже без нее — судьбу сына.

А Миша рассматривал — из одной вежливости, потому что он уже читал сочинения и посерьезнее, — книжки с картинками, которые ему принес Рэм Викторович, и, несмотря на запрет матери, поедал одну за другой конфеты «коровка».

И ни с ее стороны, ни с его — никаких «а помнишь», никаких попыток если не оживить, так хоть помянуть — добрым ли, худым ли словом — их общее прошлое. «А ведь было же, было, было!» — хотелось Рэму Викторовичу напомнить Ольге, но не осмелился, да и знал: не нужно. А будущего у них не было, и не только у Ольги, но и у него самого. Не станет Ольги, как не стало у него Нечаева, как не стало Анциферова, скоро уедет Саша со своим Анциферовым — мнимым внуком, которого, признаться, он тоже так и не сумел полюбить и, как и мнимого деда, называет про себя не иначе как Люцифером, «князем тьмы»: увел у него дочку, единственного человека, в чью любовь к себе Рэм Викторович верил, а теперь вот еще и увозит за тридевять земель... конечно же, Люцифер, весь в деда!..

— Ты иди, — неожиданно сказала ему Ольга, — мне Мишаню обедом кормить надо, он при посторонних плохо ест. Хотя какой уж тут обед, когда он объ-

елся твоими конфетами! А ведь говорила Саше, предупреждала: никаких сладостей не надо! — И при этом смотрела на сына с такой любовью и преданностью, что, понял Рэм Викторович, любой посторонний ей помеха. — Иди, еще увидимся, времени у нас еще вагон. — А посмотрела на него так, что он понял: приходить больше не надо. Кроме Миши, у нее на этом свете никого уже нет, и никто ей не нужен, а вот на том свете, сказала ему слабая и чуть насмешливая ее улыбка, на том свете отчего бы и не повидаться?..

Когда он уже был в дверях, окликнула его:

— Вот что... Не знаю, будет ли у меня время повидать Левинсона... Ему еще два года сидеть...

— Сидеть?... — удивился Рэм Викторович. — А что с ним стряслось, с Левинсоном?

— Ты откуда свалился?! С луны, что ли?

— С дачи... — невпопад ответил он, и в ответ увидел в Ольгиных глазах что-то очень напомнившее ему презрение, которое он прочел целую жизнь назад в глазах Анциферова на заснеженной скамейке у Большого театра.

— Тогда я и не знаю... — не могла решиться она, но все-таки решилась. Подошла к комоду, порылась на дне нижнего ящика, достала оттуда не то толстую тетрадь, не то конторскую книгу, неуверенно протянула ему. — Больше мне ее оставить некому. Вернется Исай, услышишь о нем — отдашь. Да он сам тебя найдет, он про нас с тобой знает. Читать тебе это не обязательно, да и ничего для тебя интересного, хотя наверняка не удержишься. И — никому ни слова, да ты и сам не захочешь. И иди, а то как бы не раздумал брать. Или я раздумаю. Положи в портфель. Иди.

В электричке, по дороге домой, Рэм Викторович, благо вагон был пуст, все-таки достал тетрадь из портфеля, заглянул в нее: то была не тетрадь, а лишь обложка общей тетради, а в ней, на папиросной тончайшей бумаге, листок к листку, аккуратно отпечатанные на машинке столбцы фамилий, имен и отчеств, против каждой фамилии стояли, — Рэм Викторович не сразу угадал, что они означают, — примечания: «58/1/а», «58/11» — почти все записи начинались с цифр «58», а рядом еще — «10 лет, отбыл 4». «8 лет, отбыл 2», «Помещен на принудительное лечение», — и он понял, что это списки арестованных, приговоренных, посаженных, высланных, упрятанных в психушки. Так вот в чем была Ольгина «левая работа», вот почему Саша на его вопрос отвечать не захотела! Вторая, другая ее жизнь, которой она заполняла пустоту первой и о которой никто, даже наверняка и Нечаев, не догадывался...

Но вовсе ошеломила его подпись, стоявшая под каждой страницей, — он заглянул в конец, всего страниц было восемьдесят четыре, — «Председатель Московской Хельсинкской группы Исай Левинсон».

Тот самый Левинсон, Исайка, как называл его снисходительно Нечаев, с которым он годы и годы пил водку в нечаевской мастерской и которого всегда считал хотя и искренним, честным человеком, но слишком восторженным и наивным, чтобы быть способным на настоящее, реальное и небезопасное дело...

На похоронах Ольги Рэм Викторович не был — она попросила новых родителей своего сына никого не оповещать, да уже и некого было.

К тому времени Саша уже уехала, так что и некому было поставить Рэма Викторовича в известность, а самому звонить — телефона у Ольги не было.

Теперь на не предполагающий, собственно говоря, ответа вопрос коллег и знакомых: «Как поживаете?» — Рэм Викторович неизменно отшучивался: «Доживаю свой век под забором», — что означает всего-навсего, что живет он безвыездно за городом, на даче, за высоким, в человеческий рост, дощатым забо-

ром. При этом он и сам слышит, как жалко звучит его шутка, и к тому же всякий раз вспоминает, что забор давно покосился и надо бы его починить, да руки все не доходят.

Он продолжает ездить еженедельно на заседания своего отделения в институт, но, отсиживая на них положенные часы, все больше помалкивает, да и его мнение, честно говоря, никому уже не интересно: время круто и необратимо изменилось, пришли, беспардонно расчищая себе дорогу острыми, натренированными локтями, новые, молодые, как уничтожительно называл их некогда Нечаев, «искусствознатцы» с новыми критериями, вкусами и мнениями, которые Рэму Викторовичу тоже неинтересны, он не понимает их и решительно отказывается до них снизойти.

Впрочем, он и собственные воззрения на этот счет стал все больше подвергать сомнению, во всяком случае, былой увлеченности ими давно уже в себе не слышит и чувствует себя человеком, безнадежно отставшим от поезда — паровоз летит вперед неведомо куда, очень может быть, что и машинист этого не знает, и только и остается, что глядеть ему вслед.

От Нечаева за эти годы — ни письма, ни звонка, Саша тоже не пишет, только раз в две недели звонит по телефону, судя по ее словам и бодрому голосу, у них с Борисом все хорошо, у Бориса заказов по горло, стало быть, и с деньгами все в порядке; внучки — у нее родилась вскоре после отъезда двойня, девочки, — растут не по дням, а по часам, но, когда она привезет их показать деду, сказать нельзя, слишком еще маленькие, пусть пока любитесь на их фотографии: толстощечие, большеглазые, неотличимые одна от другой, со смышленными, сияющими улыбкой лицами. Рэм Викторович поместил фотографии за стекла книжных полок, для одной купил рамку и поставил ее на свой письменный стол.

Впрочем, за работу Рэм Викторович садится теперь не часто, а сев и включив компьютер, упирается без мысли взглядом в фотографии внучек или просто в окно — белое за ним сменяется зеленым, потом желтым и багряным, чтобы снова все покрылось снегом, мельтешат одно за другим времена года, — и, просидев так час за часом, не притронувшись к клавишам компьютера, выключает его, идет на кухню, готовит из полуфабрикатов обед, ест, моет посуду, в любую погоду выходит на прогулку, правда, не более чем на полчаса, потом усаживается к телевизору и — так же бездумно, как смотрел за окно, — просиживает перед ним допоздна, переключая кнопки на пульте, не досмотрев ни одной передачи до конца.

Ирина после краха всего, на что она положила полжизни, всех своих парткомов, пленумов и совещаний партактива, отнюдь не канула на дно, не ушла в тень, напротив, Рэм Викторович чуть ли не каждый вечер видит ее в последних известиях выступающей с трибуны Верховного Совета, а когда и тот приказал долго жить, на заседаниях Думы. Кто-то из бойких журналистов назвал ее даже «Жанной д'Арк непримиримой оппозиции». Одевается она все по той же партийной непреходящей моде: строгий темный жакет, прямая юбка, белая блузка с чем-то средним между бантом и галстуком бабочкой. Рэм Викторович звонит ей под Новый год и — без задней мысли тем уязвить ее — первого мая и седьмого ноября, она холодно благодарит его и справляется о его жизни, но таким тоном, будто именно он и давешний их разрыв послужили первопричиной последующей катастрофы, ввергшей в пропасть всю страну.

Первые годы после смерти Ольги он нетерпеливо дожидался — будто это был его последний долг перед ее памятью — появления Исаея Левинсона и, сидя за столом, невольно поглядывал на верхнюю, под самым потолком книжную полку, где за Брокгаузом и Эфроном была укрыта от посторонних глаз папка с бумагами, которые оставила ему для Левинсона Ольга. И всякий раз ловил себя на ядовито жальщем воспоминании, как он так же не мог отвести глаза от верхней полки стеллажа в кабинете покойного тестя, за никому не нужными медицинскими книгами которого прятал от греха подальше свою «записку». Однако

и это воспоминание год от года тускнеет, блекнет, но забыть его совсем он не может да и не хочет, пытаясь себя уверить, что нежелание это способно, пусть и с натяжкой, сойти если и не за по доброй воле покаяние, так хоть за запоздалую явку с повинной, дающую некое гипотетическое право на отпущение грехов.

Левинсон так и не объявился, но Рэм Викторович не стал доставать с полки предназначенную Исаю папку — хранить ее было уже неопасно, а уничтожить он не решился: все-таки это было последнее, что связывало его с памятью об Ольге.

Он ни разу не съездил на могилу Ольги да и не знал, где она похоронена, и узнать было не у кого. Как не ездил и на могилу Анциферова в Переделкино — и Ольга, и Анциферов, и Нечаев остались в прежней его жизни, путей вспять он не знал и не искал: зачем?..

Присутственный день в институте был пятница, он не пропускал ни одной, но в этот раз прособирился и опоздал на последнюю до перерыва электричку, теперь жди ее невесть сколько и все равно на заседание опоздаешь. Он присел на скамейку, раздумывая — ждать или не ждать.

Он и не заметил, как собака подошла к скамейке, присела на задние лапы, вежливо подобрав под себя хвост, и уставилась на него не мигая — без подобострастия и ожидания ласки или хотя бы подачки: просто сидела напротив и не сводила с него внимательного и доброжелательного взгляда.

Станционная платформа была пуста, лишь переходила от скамейки к скамейке, собирая пустые бутылки из-под пива, пьяная, едва державшаяся на ногах и всякий раз, приседая за бутылкой, с трудом и беззлобно матерясь пытающаяся возвратиться в вертикальное положение женщина в рваной шубе, подпоясанной солдатским ремнем, и в стоптанных кроссовках.

Потом на платформе, громко лопоча на своем, непонятном ему языке, появились гурьбою дети, таджики или узбеки, а может быть, и чеченцы, из тысячами осевших в Подмосковье беженцев, чужих здесь и знавших, что они чужие, что их тут не любят и едва терпят, — это недетское знание Рэм Викторович угадал в их озирающихся с опаской и недоверием, похожих на спелые сливы глазах. Смуглооливковые их лица были покрыты грязными потеками пота — они волоком тащили на салазках, резко скрежещущих полозьями по асфальту платформы, тяжеленные мешки то ли с картошкой, то ли со свеклой, купленной, вероятно, на соседнем рынке. Но вопреки опаске и недоверчивости они весело, во весь голос над чем-то смеялись.

Дети... Он глядел им вслед, и сердце вдруг зашло от жалости к ним. И только тут он обратил наконец внимание на присевшую перед ним на задние лапы прилудную собаку, не сводящую с него глаз, и ему показалось, что она глядит на него так же, как он на детей, сочувственно и с жалостью.

Когда дети поравнялись с пьянчужкой, та вдруг, собравшись с силами, выпрямилась во весь рост и, потрясая над головой пустой бутылкой, стала осыпать их такой грязной, злобной руганью, которую не часто услышишь и на подмосковных платформах, с такой оголтелой ненавистью в голосе, что они, с натугой волоча за собой салазки с поклажей, бросились бежать от нее в дальний конец платформы. Не поспевая за ними на своих разъезжающихся в стороны ногах, она запустила было в них бутылкой, но, замахнувшись, потеряла равновесие, села задом в не просошную после вчерашнего дождя лужу и вдруг мигом успокоилась, будто нашла наконец удобное положение для тела.

Рэм Викторович поймал себя на том, что ему и ее жалко, и не вскочил со скамейки, чтобы помочь ей, потому лишь, что ему внезапно пришла на ум, да так резко и отчетливо, будто ударили по глазам фары встречной машины, мысль, разом представившая в совершенно новом свете все, что он до сих пор думал о себе и о своей жизни.

Промчалась идущая из Москвы электричка, уши заложило от грохота и лязга и полоснуло по лицу холодным сквозняком, в окнах вагонов мгновенно

промелькнули усталые, сонные, неулыбчивые лица возвращающихся после ночной работы домой пассажиров, но это не отвлекло Рэма Викторовича от неожиданно обрушившейся на него мысли.

Вот он торопится, поразила его своей простотою и несомненностью эта мысль, боится опоздать на совершенно ему не нужное, по правде говоря, заседание, где два десятка образованных, интеллигентных, убежденных в значительности своего занятия людей умно и со знанием дела будут говорить, говорить и говорить о вещах, до которых ни этой пьяной, потерявшей человеческий облик женщине, ни этим замызганным, запуганным, чужим для всех детям, ни тем, кто спешит на работу или с работы в громыхающих мимо платформ электричках, нет никакого дела, все это не имеет к ним и к их жизни даже самого малого, самого отдаленного отношения. Те два десятка, в свежих сорочках и при галстуках, образованных и довольных собою, и тысячи вот этих других, взрослых, глушащих свое недоумение перед жизнью водкой, и тысячи тысяч вовсе не ведающих, что эта жизнь им сулит, детей — они и не догадываются друг о друге, словно живут в разных, не пересекающихся мирах, а не в одной стране, заплутавшей в собственной судьбе как в трех соснах...

«Что-то я слишком выпренне,— поймал себя за рукав Рэм Викторович,— слишком витиевато рассуждаю, а все на самом деле так просто, так понятно и так страшно...— Но остановиться не мог, мысль вслепую влекла его за собой: — Я боюсь опоздать на заседание, где вместе с другими, такими же, как я, образованными, интеллигентными людьми буду долго и самонадеянно рассуждать об искусстве, о красоте, не слишком доверяя пророчеству, будто «красота спасет мир». А многое ли спасло или хоть что-то изменило к лучшему в мире невысказанное количество великих книг, прекрасных картин, потрясающих душу симфоний, гениальных стихов?! И на проверку выходит, что эта наша доверчивая надежда на красоту — самообольщение, самообман, и все эти великие книги, картины, симфонии и стихи — суета сует и всяческая суета! А ведь не они ли веками учили нас любви, состраданию, жалости: “И милость к падшим призывал”?!»

Книги, картины, музыка — всего лишь иллюзия, фата-моргана, благие намерения, которыми вымощена дорога известно куда и в которые мы прячем голову, как страус в песок...

И он подумал о собрании картин, акварелей, графики, офортов, презентованных за долгие годы недавними его друзьями по мастерской Нечаева, перевезенных с Хохловского на дачу, едва хватило стен, чтобы их развесить. Куда ни повернись, взгляд Рэма Викторовича наткнулся на них, не мог вырваться за пеструю их черту, опоясывающую его и как бы ограждающую от внешнего мира, как прежде, в Хохловском, ограждали палевые шторы и золотой круг, отбрасываемый лампой на письменный стол покойного Василия Дмитриевича. В свое время Рэм Викторович потратил немало сил и настойчивости, не малым и рисковал, поддерживая и защищая молодых, не в ладах с казенными вкусами, художников,— иные из них за эти годы преуспели, стали знаменитостями, ухватили свой кусок пирога, другие бесследно исчезли в вечной сваре за место под солнцем,— и очень дорожил своей коллекцией, достаточно обширной, полагал он, чтобы стать основой — честолюбивая мечта, лелеемая все эти годы,— музея современного искусства, так необходимого, по его глубокому убеждению, Москве...

Но теперь, сидя на пустой платформе, вдруг осознал, что теперь, когда остался, словно пленник этих полотен, один на один с ними и взгляду, кроме как на них, не на чем было остановиться и передохнуть, он подспудно стал ощущать тягостность этого плена, стал ловить себя на том, что, чем дольше их рассматривает, тем меньше отклика они находят в его душе, тем чаще его искушают сомнения: а истинное ли, в самом высоком смысле, как его понимали из века в век, искусство эти абстракции, эти беспредметные, лишённые мысли и чувства, идущие не от сердца, а от одного ума, а то и вовсе от тщеславного зуда поразить и удивить,

композиции и, прости, Господи, инсталляции, эти цветковые пятна, раздражающие, ласкающие, лстящие, будоражащие, эпатирующие лишь клетчатку глаза и не проникающие дальше — в сердце, в душу, в сознание человека, в его представление о мире?..

В оправдание себе и своему нежданному ренегатству он вспомнил и ухватился за давнее, давно уж и позабытое, еще конца тридцатых годов, публичное письмо Пикассо, в котором тот в порыве совершенно, казалось бы, на пустом месте то ли откровенности, то ли раскаяния с пеной у рта уверял, что истинный он как художник лишь в ранних своих полотнах, в «голубом периоде», и именно по ним и только по ним о нем и следует судить, а все последующее, начиная с кубофутуризма, — лишь сдача на милость правящей шабаш в искусстве модной критике, лишь потакание вкусам жаждущей острых ощущений пошлой буржуазной публики.

К крику души — или кокетливой позе, а то и рекламному трюку — знаменитого художника, ясное дело, никто всерьез не отнесся: немало и он сам, и галерейщики, и аукционщики, не говоря уж об «искусствознатцах», успели заработать на абстрактных его работах, слишком много уплатили за них коллекционеры, чтобы поверить ему на слово. Да он и сам, судя по всему, в это не очень верил: до конца дней продолжал писать — и зарабатывать миллионы — в манере, которая и сделала его знаменитым.

И все же Рэм Викторович сейчас с каким-то даже сладострастием мысленно бичевал себя: отступник, ренегат!

Но тут же, словно козырного туза из рукава шулера, память услужливо подкинула давнишнее детское воспоминание о «Черном квадрате», о его, Рэма, тогдашнем недоумении и подозрении: а не насмешливый, не язвительный ли то кунштюк, не издевка ли, брошенная художником в лицо доверчивой по недомыслию, по кудиной слепоте, по душевной глухоте к настоящему, без подобострастия и лицедейства, искусству публике — черный квадрат на белом фоне, который он, ученик второго класса художественной школы, без усилия тиражировал и тиражировал в своих ученических альбомах для рисования?.. И — ничего более?!

Это воспоминание как бы выпростало из памяти на свет Божий — будто матрешку из матрешки, вторую, третью, десятую, до бесконечности, — картины и ощущения из безмятежного детства Рэма Викторовича: тихий, затерянный в глуши городок, где он родился и рос, скромный, обжитой еще дедами и прадедами родительский дом с уютно трещавшими сосновыми поленьями в кафельных печах; отца и мать, учителей единственной на весь город средней школы, вполне счастливых временем и местом жизни, выпавшей им на долю, и ни о какой другой не мечтавших, утренний туман над садом за церковью, медленно рассеивающийся с первыми лучами солнца и оставляющий по себе крупные, искрящиеся капли росы на кустах и на перилах деревянного крыльца...

Вместе с этими воспоминаниями возвращались через годы и годы столичной жизни — мысли, приходившие ему на ум еще в ИФЛИ, и в университете, и особенно в тот день, когда он впервые переступил порог профессорского дома в Хохловском и перед ним нежданно-негаданно вдруг распахнулся новый, вождеденный, но и чужой мир, и уж вовсе остро и опасно, когда случилась беда с тестем: а не совершил ли он ошибку, перебравшись в содом и гоморру столичной вечной суеты и замороченности, не лучше ли и безопаснее было остаться там, где ему и надлежало жить, и трудиться, и растить детей, и не знать искушений честолюбивых терзаний?..

Потому-то приходило ему на ум, и не по мне, видать, не для меня, не задевает, если по правде, моей души это новое искусство, которое заполонило от пола до потолка все комнаты на даче, потому-то сейчас спадает у меня пелена с глаз, что я как был, так и остался закоренелым, неисправимым провинциалом, воспитанным на Пушкине, Толстом, Чехове, на Репине, Серове и даже на Шиш-

кине, человеком из российской глуши, куда новым веяниям добраться — три года скачи, не доскачешь. Прав был Нечаев, когда сказал перед отъездом: тебе бы что-нибудь попроще, попонятнее, душещипательнее, вроде этих набросков с Ольги, а новая мода просто шибанула тебе с непривычки в нос, вот ты и побежал, задрал штаны и зажмурил глаза, вслед за нею...

«Оставаться самим собою: я таков и жить буду сообразно тому, каков я есть,— еще говорил Нечаев,— вот и вся недолга, если хочешь знать. Проще пареной репы».

«Так каков же я на самом деле?» — вопрошал себя Рэм Викторович и не мог решить, на каком из этих двух живущих в нем людей остановиться: на завязанном, неисправимом, без затей провинциале или, как значится на его визитной карточке из лакового картона, на докторе искусствознания?..

Но тут Рэм Викторович испугался, что зашел слишком далеко и совсем запутался. И главное — что тем самым как бы отрекается, предает все то, что до сих пор составляло не просто его ремесло «искусствознатца», а весь смысл его жизни. Он даже вскочил на ноги от возмущения самим собою, бормоча почти что вслух: «Ренегат, ренегат!».

И встретился глазами с взглядом собаки.

Собака все еще сидела перед ним и не сводила с него агатово-черных глаз, и в них были все те же, как ему показалось, сострадание и жалость, а может быть, пришло ему на ум, даже и любовь, хотя за что, казалось бы, приبلудному псу полюбить с первого взгляда совершенно незнакомого человека? Разве что — «возлюби ближнего как самого себя»? Но уж этого-то собаке не дано знать.

В памяти мельком возник тот старик в слишком коротких вельветовых штанах с таким же, как он сам, одышливым псом на поводке, который прошел мимо по бульвару после его разговора с Анциферовым в тот позорный день его, Рэма Викторовича, отступничества, и он еще подумал, что, кроме собаки, у старика наверняка никого больше нет. А потом на бульваре появилась Ольга, и все в его жизни смешалось и пошло кувырком...

И опять парадокс, усмехнулся он про себя, опять в нас уживаются совершеннейшие несовместимости: с одной стороны, «собака — лучший друг человека», с другой — желая обидеть и унижить человека, говорим: «сука», «сукин сын»...

Ну их к чертовой матери, Москву, и институт, и заседание, решил он внезапно, ни мне от них, ни им от меня уже давно ждать нечего. Это, как ни крути, все тот же искусительный черный квадрат, черная бездонная дыра, куда ушла без следа моя жизнь, черный квадрат окна, за которым не разглядеть ни этой пьяной, костерящей все на свете женщины, ни этих всем чужих детей с испуганными, недоверчивыми глазами-сливами, ни колесящих в электричках из конца в конец бескрайней, плоской, как блин, страны усталых, вечно недоспавших людей, ни меня самого, величины столь малой, что никому не приходило на ум понять меня и полюбить, разве что вот этой приبلудной дворняге...

И вновь схватил себя за рукав: а сам-то хорош! Опять одного себя жалеешь, опять по одному себе крокодиловы слезы льешь, страус, ренегат, себялюбец чертов!

Он решительно, словно надумав начать жизнь сначала, с белого листа, спустился, держась за перила, с платформы и торопливо, оскользаясь на усыпанной влажными осенними листьями тропинке, пошел назад.

Собака деловито, будто того только и ждала и наперед знала, куда и зачем, потрусилась за ним, аккуратно обходя лужи. А Рэм Викторович все удивлялся и удивлялся на самого себя, что ему никогда не приходила в голову такая простейшая мысль, как завести собаку или на худой конец хоть кошку. «Ты так давно,— не давал он себе спуска,— освоился с тем, что, кроме тебя, на даче — да что там на даче, во всей твоей незадавшейся жизни! — нет ни одной живой души, так привык, что ни о ком не надо заботиться и тревожиться, так уютно угнезвился в

своем одиночестве, что откуда бы этой мысли было взяться?! Ты и словцо оправдательное ввел про себя в оборот, щеголяешь им перед самим собою: «самодостаточный», а на поверку цена тебе — грош. И боишься, что заведи ты, скажем, хоть и собаку, так сразу же и появится опасная брешь в возведенной из трусливого себялюбия, тщательно и осмотнительно, крепостной стене этого выбранного, как ты был до сих пор уверен, добровольно, в трезвом уме и твердой памяти, никто под локоть не толкал, способа коптить небо...»

Собака забежала вперед, и теперь со стороны могло показаться, что не она идет за ним, а, напротив, он следует по пятам за нею в одном ей известном и безошибочном направлении. Несомненно, глядел он ей вслед, дворняга дворнягой, а что-то в ней есть независимое, этакое чувство собственного достоинства, что ли. Бездомная бродяжка, наверняка оголодавшая, а ведь глядит на меня без искательства и не виляет холуйски хвостом, как полагалось бы потомственной дворняге... И — не боится меня. Может быть, даже ничего на свете не боится, неведом им, собакам, тот вечный, неистребимый, привычный и как бы само собою разумеющийся страх — перед чем? перед кем? за что? — в котором я прожил всю жизнь, полагая, что иначе было и нельзя...

«А боялся ты просто-напросто, — вспомнились ему слова Нечаева, — быть самим собою, каков ты есть, а ведь это проще пареной репы, если задуматься...»

У калитки дачи собака остановилась, оглянулась на Рэма Викторовича, словно ожидая не просто согласия, а приглашения по всей форме, чтобы потом не могло быть на этот счет никаких кривотолков.

Рэм Викторович приподнял скобу, открыл калитку и подождал, пока собака пройдет впереди него. Потом закрыл калитку, проверил замок и пошел вслед за псом в дом.



Андрей КУЧАЕВ

В германском плёну

РАССКАЗЫ

ПЛЕНЕНИЕ

Вместо предисловия

Кто как попадает в плен.

Для того, чтобы попасть в плен, нужна война.

Война и началась. Незаметно. Всех против всех. И мои соотечественники напали на меня. Я оказался в окопе. Оборвалась связь. Огонь, который я пытался вызвать для огневой поддержки, оказался огнем по мне: «Вызываю огонь на себя» — не мой девиз, но я вызвал.

Первыми по выстрелу сделали друзья: «А чего ты, в самом деле, тут делаешь?» «Ты что, не понимаешь, что поезд ушел?» «Вместе с платформой, — добавил один остряк. — Поезжай в Израиль!» «Но я же русский!» — парировал я штыковой удар. «Не важно. У тебя жена — с этим самым пунктом. Сделают вызов для нее — вместе отчалите!»

На дне окопа жена перевязала мои раны. «Я не поеду туда, — сказала она. — Там жарко — раз. Моих детей там возьмут в армию — два». Это была атака с тыла. Мы стали сводить концы с концами, пытаюсь использовать передышку в боевых действиях, чтобы наладить боевое обеспечение — провиант, боеприпасы: она рисовала, я писал, в промежутках (только чего промежутках!) мы торговали на вещевом рынке чужими вещами, пока это имело смысл. После захода противника с фланга — нас слегка обчистили на рынке — мы капитулировали. Друг сообщил, что Германия принимает пятый пункт. Жена подала документы. Я не возражал.

Рано утром под нашу дверь подсунули пакет. В пакете было приглашение немецкого правительства переселиться в Дойчланд. Приглашение в плен. Добровольно. Жена сдалась. Куда я без нее? Я отправился следом.

Нет, мы не были вольными искателями приключений. Мы не были плейбоями, плейгёрлами или диссидентами. Эти все давно «отчалили». Этот народ уже возвращался! Возвращался из плена, куда «герои» попали в честном бою. Их и встречали как героев. Нас, малодушных, даже не провожали. Нас спраживали — лишние рты, лишние притязания, лишние претенденты. Тихо отплыли мы.

Плен есть плен. Что было дальше? Читайте, если интересно.

СТРАСБУРГСКАЯ АЛЛЕЯ

«Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего-навсего “водопой”». Это из «Весны в Иудее» Бунина. Из сборника «Темные аллеи». Даже в этой оторванной от целого фразе сквозит тоска. Тоска эмигранта. Мои герои — тоже эмигранты, они уехали на семь де-

сятков лет позднее героев Бунина. Только тоска осталась той же. Кто-то живет в Израиле, «Иудее». Кто-то здесь, в Германии, в центре Европы. В Берлине, на Александерплатц коют и жонглируют уже герои Кунина. Цирк. Смех сквозь слезы. Мои живут кто где, авторской волей я поселил их на одной улице. И не только потому, что такая улица есть в моем городе. Просто мне нравится название — «Страсбургская аллея»... Длинная, от Аугсбурга до Гамбурга или от Амстердама до Праги, она никогда не пересечется с Остоженкой или Арбатом. Но жители ее радуются и плачут, ссорятся или развлекаются, работают или учатся, стараясь не думать хотя бы днем об этом прискорбном факте. Так только, иногда, глядя на камни с надписями на уже знакомом языке, что лежат на ухоженных участках фридриха, подумают: «Если и мне лежать здесь, а не на Ваганьковском или Митинском, то уж *по ту сторону* я обязательно попаду “домой”...»

Дома моего героя звали Алешей.

Алеша в России занимался тем же, чем и все: ничем путным. Теперь, как известно, это зовется «бизнесом». Он переправлял какие-то обои из Прибалтики. Занимался лесозаготовками для строительства подмосковных коттеджей. Потом книгами: поставки и реализация. Разок смотался в Китай — за куртками из подозрительной кожи. Если бы он копил деньги, они бы у него завелись, но после тридцати человек либо резко богатеет, либо ему уже окончательно не дается богатство. И он понемногу привыкает тратить. Вино, женщины, то-се. За тридцать — возраст для мужчины критический. Тут и претензии, и разочарования. Схоронил Алеша мать, сменял двухкомнатную родительскую квартиру на однокомнатную и на разницу завел палатку в районе, где жил. Палатка стояла на бойком месте. Рядом торговали в таких же кавказцы из одной независимой республики. И все вместе они принадлежали какому-то «крестному отцу», который и собирал дань. Исключением была девушка неопределенного возраста Тамара, которая торговала с лотка яйцами. Тамаре ни один нормальный человек палатки бы не доверил, а яйца были товаром неуважаемым, ими мог заниматься только совсем пропащий человек. Почему? Неизвестно. Может, потому, что вечно их надо было перебирать, отделять «бой», порченые. И еще: не надо было ломать голову над расчетами. Округлый товар, яйца, почему-то и стоили круглую сумму при всех денежных котировках. Три тысячи десятков. Пять тысяч. И брали их почему-то кругло: десятков, два. Редко какой бедолага попросит пять. А уж одно — этого не позволил бы себе и алкаш. Простой товар, простые расчеты, простая жизнь, в чем-то не завершенная, как судьбы куриных эмбрионов внутри. Тамара от этой жизни выпивала и была благосклонна к мужскому полу. Яйцами ее снабжал некий армянин. Откуда он их брал, оставалось тайной. Так же, как и откуда он взял свое красивое имя Нарцисс. Да и не видел его в глаза никто, кроме, наверное, Тамары. Товар привозил русский человек на мотороллере. Алеша подружился с Тамарой после одного случая. Какой-то нетрезвый человек однажды спросил Тамару: «А что, яйца-бой в продаже есть?» «Нет», — сказала Тамара чужаку. «Сейчас будут!» — пообещал тот и достал из-за пазухи камень. Все смотрели, только Алеша вышел на шум и отобрал кирпич у пьяного. Тамара с тех пор опохмелялась из Алешиной палатки, расплачиваясь яйцами. Не к ночи будь сказано, яйца в нашей истории играют не последнюю роль. Алеша их вообще-то ненавидел. Но в то время он экономил на всем, не выпивал и терпел яичную диету. Приносил домой и готовил. Пока они готовились, считал выручку и складывал в коробку из-под китайских курток.

Так шло, пока Алеша не полюбил Марину. Он и раньше ее замечал, потому что жила она где-то поблизости. Когда же она стала регулярно покупать у Алеши сигареты и шампанское «Спуманте», которое предпочитала, наш коммерсант совсем потерял голову. Ему нравилось, как она говорит и особенно как зовет его по-своему: «Алик». Словно они уже давно родные люди. Марина поселилась в однокомнатной квартире Алика, и они отметили свой союз, распив ящик «Спуманте» из палаточных запасов. Марина стала торговать вместе с Аликом. Нередко Марина торговала одна, пока Алеша спал, выпив «Спуманте» уже с утра.

Французы говорят: «Ищите женщину». Вот Алеша и нашел. Марина быстро стала называть шампанское «Спуманте» «компотом», и они перешли на красивый напиток «Пушкин», привозимый из Германии (вот в нашем рассказе и промелькнуло это судьбоносное слово!), но изготовленный где-то в России. От него быстро синели язык и мозги. Тогда Алеша предложил пить американскую якобы водку «Белый орел» — все было ведь под рукой! «Белый орел» отстирал язык, но мозги пошли у Алика набекрень. Он вовсе перестал заниматься коммерцией, только пил и спал на блоках сигарет и пачках чая. Проснувшись, он «поправлялся» и на все реплики возлюбленной отвечал односложно — оплеухой. Марина в слезах убегала, а он частенько опять засыпал. Однажды он заснул, не заперев палатки. Среди бутылок, полных и початых. Обнаружила это Тамара. Не добудившись хозяина, она угостилась сама и угостила друзей. Вскоре весь квартал был подгулявши. Пили за здоровье Алика. Марина прибежала слишком поздно. Урон оказался таким большим, что Алик расстался и с палаткой, и с накоплениями, и с Мариной. Такой он не был нужен никому. Только Тамара один раз попыталась подкормить его яйцами — принесла целую «клетку». Он спустил Тамару с лестницы. Яйца-бой были налицо.

Тут-то и объявился загадочный Нарцисс. Он тактично отправил куда-то совсем загулявшую Тамару, поставил на ее место Марину, а потом, убедившись, что Марина совершенно не справляется с сортировкой яиц, сделал ей заманчивое предложение: он разводится с семьей, женится на Марине, а пока просто приносит ей шампанское «Спуманте» и шоколад. И, разумеется, сигареты. Марина пришла ко мне советоваться.

— Какие советы! — сказал я. — Соглашайся. Нарциссы в наше время на дороге не валяются.

— Он никакой не Нарцисс, — сказала Марина. — И даже не армянин...

— Какая разница! — отмахнулся я. — Во-первых, мужик, во-вторых, с деньгами.

— В-третьих, он еврей. Соломон. Согласись, это далеко не Нарцисс.

— Да хоть пенджабец! Он тебя любит! — поднял я проблему на должную высоту.

— Да, но я, кажется, люблю Алика. Мне его жалко. Его какие-то бандюги выгнали из квартиры. Он сейчас у меня живет.

— Это уже серьезно. Немедленно выходи за Нарцисса!

— Соломона... Я уже согласилась. Потому что Алик все время или спит, или дерется.

Тут я заметил синяк под глазом у невесты.

— А как же Нарцисс на все это смотрит?

— Соломон. Я ему рассказала про Алика. Он очень переживает. Принес тут десяток яиц. Он ушел, Алик их в окошко, прямо на Соломоново авто.

— Похоже, вы во всем уже разобрались, ребята, — сказал я. — Включая яйца.

Довольно скоро они сыграли свадьбу. Соломон-Нарцисс и Марина. Потом я уехал в Германию и думал, что больше не увижу никого из этих людей.

Недавно я оказался в одном уютном южном городке, недалеко от Аугсбурга. На высоком месте, в «биерхалле», откуда открывается великолепный вид на Изар и окрестности, я присел за столик. Вокруг говорили с баварским акцентом веселые люди в штанах под колено и в шляпах с метелками. Среди этих людей диссонансом смотрелась пара: русская красавица в косынке и пожилой печальный аид. Я узнал Марину. Она поймала мой взгляд и кинулась ко мне. С бокалом.

— Ой, привет! А ты откуда здесь взялся?

— Этот же вопрос я могу задать тебе. — Я глянул в сторону мужчины в бейсболке «Босс», он по-советски безнадежно сыпал в пиво соль. — Хотя откуда взялся Соломон, более или менее понятно. Что с Аликом?

— Ой, ты знаешь, Алик тоже здесь! Это целая история. В общем, Соломон помог ему с выездом. У него временный вид на жительство...

— С вами не соскучишься, ребята... На что же он живет?

— Понимаешь, он после переезда все время приходит к нам.

— К тебе?

— Да нет! Он приходит, когда я учусь. Так-то я ему запретила! Пусть сам теперь крутится. Надоел, честно. Так он тайком приходит. К Соломону.

— Что за страсти? Денег просит?

— Естественно! Соломон дал раз, другой. А потом предложил ему вместо денег продукты. Из своего магазина. У него оптовый магазин. Как в Москве.

И тут меня осенила дьявольская догадка:

— Ты хочешь сказать, что Соломон вместо денег предложил ему... яиц?

— Ну вот! Догадался! — И Марина весело расхохоталась. — Представляешь, что было с Аликом? И куда он ухитрился «достать» Соломона?!

Трудно и мне было не рассмеяться...

«Начиналось трагедией, а кончилось, как всегда, фарсом», — подумал я.

«ВАРУМ» И «НАЙН»

Конечно, я знал, что эмиграция не сахар, и был готов ко всему. Поэтому, быть может, сумел воспринимать все, даже самое тяжелое и унижительное, не то чтобы с чувством юмора, но с чувством, похожим на таковое, — чувством, что меня все это как бы не касается. Этаким сон наяву. А может быть, это защитная реакция человека, перешагнувшего давно пятидесятилетний рубеж, которому, если на все смотреть слишком серьезно, прямая дорога на помойку. Или на кладбище, что, собственно, для эмигранта одно и то же.

В Унне Массен мы жили в лагере для таких, как мы. Когда-то здесь были казармы для американцев, построенные пленными — чьими, этот вопрос я не уточнял. Мне предстояло разобраться сначала, на кого теперь похож я сам: на пленного, на солдата или на дезертира? В документах стояло: «флюхтлинг», что означает — беженец. Когда я однажды посмотрел в зеркало, которое стояло в витрине мебельного, в нем я увидел нечто четвертое: некий выдавший виды мексиканец в пончо, парусиновых чеховских штанах и с советским выражением лица. Из всего перечисленного я решил сменить выражение лица: я стал глядеть на окружающее с видом американского миллионера, попавшего в страну с неконвертируемой валютой.

С таким выражением лица я пришел к коменданту лагеря беженцев за посудой. «Чаго нада?» — спросил меня комендант, по слухам поляк. Из головы вылетели все заготовленные слова типа «геширр — посуда», и я сказал: «Ихь виль цу филь!» Поляк ухмыльнулся на мое «хочу много чего»: «Дойч ферштее нихт — пшел вона!» Тут я пустил его трехэтажным. Негромко. Как подобает миллионеру. Он понял. И я получил требуемое, включая кофейник, который давали не всем.

В нашей коммуналке с общей кухней жили три семьи: немецкая — с Кубани, еврейская — из Ленинграда и моя, смешанная, — из Москвы. Четвертая комната пустовала.

Древнюю, неизвестно чью бабушку из еврейской семьи звали Ханна Самуиловна. Ей с первого дня никак не удавалось помыться. У нас был душ, совмещенный с туалетом, и это родило известные сложности. Тем более что ей, как выяснилось, почему-то неудобно было мыться под душем — она привыкла мыться в тазу. Однажды в субботу поляк-комендант явился к нам чуть свет и затарахтел, вспомнив опять русский: «На субботник, товарищи! Лос! Все путцен газон! Разен убирать! Бери лопата! Давай, давай!...» Корпус опустел. Ханна Самуиловна решила, что от нее проку на субботнике будет мало, нагрела таз и начала понемногу мыться. Не знаю, как пронюхал комендант, что в квартире кто-то остался, но он с грохотом взлетел на третий этаж и, по рассказу с трудом успокоенной только к вечеру Ханны Самуиловны, отругал ее за самоуправство — то ли в кухне мыться было нельзя, то ли воду греть было нельзя, то ли ему Ханна Самуиловна показалась вполне пригодной для субботника, — в общем, она

так испугалась, что в банном виде с полотенцем на голове кинулась на фронт работ с лопатой. Дальше комендант ловил уже ее, чтобы от ее вида не нарушался порядок работ. «Таки прав был мой покойный муж Моисей, когда говорил: в субботу ничего не делай, Ханночка, даже если надумаешь помереть!»

В немецкой семье главой и диктатором была жена — высокая женщина с усами, которая на «радость» еврейской семье готовила всякую еду на перекаленных свиных шкварках. Муж, щуплый, вьедливый субъект, терся рядом и канючил: «Клади швайнины дюже!» «Оставь мне у покое, шайссерл!» — гнала его дородная половина. Выпив, этот муж «забывал» напрочь русский язык и переходил на немецкий, из которого знал два слова — «варум» и «найн», что, как известно, значит «почему» и «нет». Вот наша беседа на кухне:

— Работать собираешься? — спрашиваю я с подковыркой.

— Найн, — говорит он и отоваривается у меня сигаретой.

— А в деревне? Бауером?

— Варум?

— Ну ведь ты говорил, что дома держал свиней?

— Найн! — отрезает он.

Перед кассовым окошком в финансамте, где нам выдавали пособие, я застал такую картину: они с женой получали деньги, причем говорила с кассиршей на варварском немецком жена. Она же и спрятала деньги в сумку. Муж попросил у нее на табак. «Найн!» — коротко отрезала жена. Тогда он сунулся в кассовое окошко со своим «варум». «Дарум», — сказала ему молодая подтянутая немка-кассирша. Она все поняла. Он — нет. Он повернулся к очереди и спросил: «Товарищи, варум так мало?!» «Остальное получишь позже», — негромко и мрачно сострил кто-то.

Иногда они выпивали вместе с женой. Тогда из их комнаты слышались возгласы, падали тяжелые вещи. Я бы не удивился, если б узнал, что крупная подружка угощает своего «шайссерла» тумакими. После одной особенно шумной сцены он замолотил в мою дверь. Среди ночи, которую я проводил, естественно, без сна — они жили за тонкой стеной. «Пошел к черту!» — крикнул я не вставая. «Варум?» — откликнулись из-за двери. Я открыл: «Чего тебе надо?» «Найн, — тяжело вздохнул он. — Варум?». Я понял, что он ищет общения. «Поздно уже, иди, друг, спать», — сказал я примирительно. «Найн!» — завопил он и попытался войти. Я вспомнил поляка-коменданта и одно русское выражение. «Пошел на...», — сказал я. Он испарился. Утром он был предельно вежлив.

Молодые из еврейской семьи переживали медовую пору. Они уединялись, где могли, включая незанятую комнату и стенной шкаф. Когда не уединялись, обсуждали проблему помывки Ханны Самуиловны. «Только не в субботу, — сопротивлялась она. — Мой Моисей мне всегда говорил...» «Мама, оставь на минуточку твоего Моисея! — просила ее дочь Циля. — К тому же никто не собирается умирать! Или тебе приспичило?!»

В субботу опять был субботник, на который я решил не идти. Хотел выспаться — накануне за стеной особенно разгорелись страсти. Послал за нас обоих жену. В квартире было подозрительно тихо. По закону вредности мне от этой тишины не спалось. Я пошел покурить в кухню. Дверь была заперта. Я толкнулся — не поддается. «Наверное, Ханна моется», — подумал я и решил покурить в совмещенных удобствах. Распахнул дверь — внутри что-то обрушилось. «Это ты, Циля?» — донеслось до меня. «Нет, это не Циля», — глупо ответил я. «Мужчина! — воскликнула Ханна Самуиловна с намыленной головой. — С места мне не сойти — посторонний мужчина!» С этими словами она не то что сошла — слетела с места, таз упал мне под ноги. Я наступил на мыло и благополучно съехал на нем с третьего этажа на первый. Тут меня поджидал поляк-комендант с метлой. «Бери лопата! Давай-давай!» — затараторил он. «Пошел ты в баню!» — ответил я. И пошел туда сам...

«Кто же все-таки был в кухне?» — с этой мыслью я рванул дверь, кто-то отскочил от нее, и я с удивлением увидел, как дородная жена «шайссерла» затиснулась в стенной шкаф и притворила дверцы. «Дела! — подумал я. — Прятки!» И оказался, как выяснилось, на этот раз близок к истине. Стоило мне поравнять-

ся с дверью темной комнаты, как та распахнулась, и оттуда, сметая меня, выскочил «шайссерл». «Я иду искать! — с любовным озорством он пролетел через кухню к стенному шкафу. — Кто не спрятался, я не виноват!» Он распахнул дверцы, из шкафа вывалился молодой муж Семен и следом — дородная половинка «шайссерла». «Варум?» — обиженно и уже сердито возопил он. «Обознатушки-перепрятутки!» — сказал Семен. «А я смотрю — кто тут сховался», — хихикала грозная усатая женщина. «Найн!» — ревниво обижался муж. Мне стало стыдно: люди так лирически настроены, играют в прятки, несмотря на чужбину и возраст... «А ты-то, Семен, что тут делал?» — спросил я. «Да достали бабы, — поморщился Семен. — Сходи, узнай, талдычат, не полагается ли Ханне надбавка за пребывание в детском возрасте в гетто?»

Вечером все-таки вымытая, но все еще возбужденная Ханна Самуиловна в третий раз высказала сентенцию: «Таки мой Моисей оказался прав: ничего не делай в субботу, Ханночка, даже если тебе приспичит умереть!»

ПОРА ПРИВЫКАТЬ К ЗДЕШНЕМУ КЛИМАТУ

— Тут, старик, никогда не бывает холодно, — сказал мне друг-художник, встречая меня в аэропорту по приезде на ПМЖ в Германию. — Так что зря ты напялил на себя все эти шмотки! — Он показал на свитер и пальто, в которых я прилетел. — Тут Гольфстрим, Европа, демократия и теплынь. Надо привыкать к здешнему климату!

Надо сказать, что мое барахлишко мне изрядно надоело на родине, и я с удовольствием от него избавился в соответствии со здешним обычаем — бросил в первый попавшийся контейнер Красного Креста. И глупо сделал, потому что несмотря на Европу и демократию завернули холода. Многих они застали врасплох. В благословенной Унне, первом приюте «беглецов», мы дружно мерзли, прогуливаясь от «амтов» до «хаймов», пока не набрали на здешний «Каритас» — вид Красного Креста от евангелистов. Там давали утеплиться. Я постеснялся взять дубленку, взял мексиканское пончо. Какая-то хрупкая девушка постеснялась взять шубейку и взяла китайский халат с драконами. А какой-то мужчина, крепкий и румяный, но все равно изрядно поношенный, взял и дубленку, и шубейку.

— Нас тут много, — сказал он служащей «Каритаса» и повел рукой почему-то в мою сторону.

Вышли мы вместе: девушка в драконах, я в пончо и крепыш лет шестидесяти, нагруженный тулупчиками. Он подтолкнул меня локтем и сказал, кивая на девушку и драконов: «Между прочим, страшная женщина!» — И подмигнул мне.

Я продолжал то потеть, то мерзнуть: утрами и вечерами морозило, а с двенадцати до двух жарило и парило. «Надо привыкать к здешнему климату!» — сказал мне давешний «дубленочник», перемещая на тележке внушительный тюк, набитый, судя по весу и форме, чем-то теплым и мягким. Вдали проплыла в мареве тумана девушка в халатике в сопровождении огнедышащих чудовищ. — Видите? Смотрите! Какова? Между прочим, страшная женщина, хочу пригласить ее сегодня в гости. В Дортмунд. Я живу в Дортмунде, знаете ли...»

— А чего вы тут делаете, в Унне? Все-таки не ближний свет...

— У вас тут «Каритас» отличный... Нас ведь много...

— Кого это нас? — поинтересовался я.

— Кто страдает от холода и отсутствия свободы. Я помогаю таким людям — импорт-экспорт. Отсылаю дубленки в «совок», другими словами. Но это — между нами. Надо как-то привыкать к здешнему климату!

— Но вы ведь посылаете их в «совок»?!

— Разумеется. Там они хорошо идут. Один поляк берет у меня их чистить. Со скидкой. Правда, после его чистки вещи приходится долго проветривать: он получает очиститель с фабрики удобрений — превосходно чистит, но... приванивает. Всего!

На следующий день мы прогуливались между турецким базаром, почтой и памятником жертвам всех гонений. Прогуливались со «страшной женщиной» и ее подружками.

— Ну как? Были в Дортмунде? В гостях у...

— У дубленочника-то? Были. Ничего, хорошо принял, только у него нехорошо пахнет. Он там держит что-то пахучее.— Девушка поежилась в своем грозном халатике, я не стал ее просвещать относительно запахов, а просто пожалел:

— Чего вы мерзнете? Купили бы у дубленочника дубленку!

— Я просила. Он не продает. «Вы же знаете,— говорит,— что с вас я не могу взять столько, сколько могу и получу за нее в «совке»! Вы,— говорит,— страшная женщина!»

— Как вам не стыдно! — сказал я тулупщику при встрече.— Продали бы бедной женщине тулуп!

— Вы что, с ума сошли? Нас ведь много! Если я всем буду продавать... Послушайте, она вам жаловалась? О! Я же говорил — страшная женщина! Я, между прочим, ее опять пригласил в гости. С подружкой. Ко мне в Дортмунд. Я, знаете ли, живу в Дортмунде!

— Как же, знаю, знаю,— хмуро сказал я и потихоньку тронулся спать.

Мне не спалось. Крепко морозило. Поздним часом я прогуливался в своем пончо по Унне. Шел вдоль каменных не деревенских и не городских домов, вдоль темного поля, мимо страховой автомобильной конторы поляка-эмигранта, мимо закрытой «штубы» с «лонг дринк» за пять марок и гамбургерами за три. Мимо загадочного здания, как говорят, тюрьмы, где решетки заменены стеклоблоками. Навстречу мне из темноты вынырнула процессия: две девушки в симпатичных полушубках и хозяин всех благотворительных дубленок, тоже в тулупе. Мы поздоровались.

— Как я рад вас всех видеть! — сказал я, действительно радуясь, что девушки сегодня тепло одеты и что дубленочник пожалел их и теперь даже провожает. Я высказал эту мысль вслух.

Девушки переглянулись и хихикнули. Тулупщик громко откашлялся. Мы разминулись. Когда я шел уже к своему корпусу, опять встретил его. Он тащил огромный мешок.

— Ха! Это вы?! — Он скинул мешок на землю.

— Даже ночью в трудах? — похвалил я силача.

— А что делать? — ответил он мне вопросом на вопрос.— Вы вот думаете, мы здесь все получаем задаром? Нет! Приходится приспособливаться к здешнему климату! — И его фигура с мешком растворилась в сумраке, теснимом ртутными фонарями на пути, ведущем к станции «Унна Массен».

Утром в супермаркете я встретил девушку, драконов и подругу в валенках и платке оренбургских мастеров.

— Как? Почему? — всплеснул я руками, если скептик может чем-нибудь всплескивать.— Что за маскарад? Где теплые вещи? Где дубленки?

— Дубленочник их увез! — расхохотались девушки.— Он и провожать нас взялся, чтобы сопроводить товар туда и... обратно! — Они зашлись от хохота.— Он позволил надеть тулупы только до дома и забрал их на пороге.

«Страшная женщина,— подумал я.— Она еще смеется». «Нас же много», — вспомнил я слова дубленочника и улыбнулся. «Надо привыкать к здешнему климату», — хотел сказать я девушкам, но не сказал, решив вернуть совершившую круг фразу знакомому художнику...

«ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ?»

Тут попал я как-то в больницу. Сердце. О немецких больницах можно писать бесконечно. Они поражают бывшего россиянина, а уж бывшего «советского» и подавно: столько мы насмотрелись на койки в коридорах, палаты на доб-

рых полсотни человек, равнодушный персонал и плохое питание, — и сами если лежали, и если навещали близких и далеких. Чтобы вам каждый день меняли постельное белье? Чтобы вы сами себе заказывали еду по карточке? Чтобы по малейшему требованию прибежала сестра? Чтобы все лекарства тут же появлялись, а минералка освежалась по мере потребления? Нет, это все сказки, скажут мне те, кто сам, не приведи Бог, не испытал на собственном опыте. Лежишь таким членом политбюро, и только одна мысль мешает: а не ошибка ли? Не придут ли и не вытряхнут сейчас из койки? Медленно начинаешь понимать, что стоит вся эта музыка не одну сотню марок... в день! Интересно, когда члены всяких ЦК у нас лежали в разных Кунцево и Барвихах, не было у них таких мыслей? И что их могут вытряхнуть, и что стоит это кому-то многие тысячи? Если бы я был членом политбюро, я бы, например, задумался. Но я, наверное, потому и не был членом даже партии. Правда, до революций 1991-го и 1993 годов неплохо было и в нашей писательской клинике-больнице, но где теперь и сам Союз писателей и та больница? Арендованы кем надо за что надо. Может, оно и к лучшему: писатель должен жить на уровне своего народа, причем не самых выдающихся его представителей. Брат Глеба Успенского побирался, Помяловский умер в трактире под лавкой — вот это были писатели! А уж про эмигрантов и говорить нечего — все бедствовали, включая Нобелевского лауреата Ивана Бунина.

Вот таким мыслям я предавался, лежа на больничной койке и пытаюсь понять, о чем по телефону из палаты говорит сосед — пожилой немец, которому продули через катетер важный сосуд сердца. Между прочим, телефон этот оплачивать должен сам больной, будь он хоть трижды социальный, а мой сосед говорил по телефону полдня. И все с женой. Которая остальные полдня торчала на стуле рядом с его койкой. «Что ж, — думал я, — пенсии у них неплохие. Могут и поболтать». Дверь в палату распахнулась, и сестра ввела какого-то бойкого посетителя с папкой под мышкой. Указала на мою койку — дескать, вот ваш клиент. Надо сказать, что посетителей я не ждал, жена уже была, а больше ко мне никто прийти просто не мог — кому я тут нужен? А тот малый прямо ко мне. «Абенд», — говорит. Дело к вечеру. «Абенд», — и я говорю, хотя какие-то нехорошие предчувствия во мне шевельнулись. Он сел прямо на койку. Потом встал. «Извините, — говорит, — я на минутку». «Ничего, — говорю, — но лучше бы вы все-таки сели. А то я лежу, неудобно». «Ничего, ничего, — говорит он, — у меня к вам только один вопрос». «Валяйте вопрос, — говорю. — Мы люди привычные. За вопросы денег не берем». «Варум зинд зие хир?» — рубит он сплеча. Ну такую простую фразу даже я понимаю без повтора: «Почему вы здесь?» То есть почему здесь я? Как-то он меня врасплох застал с этим вопросом. Особенно если учесть философский склад моего ума. Я какое-то время подумал и начал отвечать. Разумеется, я думал, что говорю по-немецки. Я подбирал слова, а он внимательно слушал и кивал. Вот как я ответил в переводе на русский:

— Я здесь потому, что у меня болит сердце. Я очень не хотел заниматься этим своим жизненно важным органом, но моя врач, хаузарцт, как у вас говорят, настояла. Потому что в России у меня был инфаркт. И, по ее словам, мне следует не ждать второго, а разобраться, что там теперь не в порядке. Тут хорошие специалисты. Например, вот в этой больнице, где сейчас я, целых два специалиста, и оба из России. Один работал у Амосова, а второй — его жена. Инфаркт же у меня был потому, что жизнь в России такая нервная, не захочешь, а схлопочешь. Кстати, я этот инфаркт перетоптался на ногах, так как его не заметил. Так, думал, обычные перегрузки или похмельные дела, это строго между нами, но вы ведь на честность? Я вам честно и говорю. Непьющих писателей же в России нет. Справьтесь у Чехова, его брат был талантливее его, да спился. Не Михал — который актер — другой, тот тоже писал. Что еще? Водка в России очень плохая, хотя, если верить этикеткам, порой приходит из Германии. Это ваши и наши жулики, видать, снюхались. Что еще? За последнюю свою книжку я получил гонорар, который, если перевести в привычную для вас валюту, составляет сто марок, потому что договор со мной заключили в одно время, а расчисли-

тались в другое. Что еще? За публикацию в газете я получал десять марок, а за рассказ в журнале — двадцать. Один раз я получил хорошо, когда дал рекламу одному страховому агентству. Скрытую рекламу. За нее мне исполнительный директор заплатил аж сто долларов, когда же я узнал, что он жулик и обобрал всех, кто у него застраховался (агентство называлось «Последняя Надежда» по имени его последней жены, а кто страховался, вероятно, подразумевали другое), я хотел вернуть ему деньги обратно — швырнуть в лицо, но к тому времени уже проел их и потому чувствовал себя пособником жулика. У нас теперь так: если ты сам не ворует, то каким-либо образом обязательно влипаешь в пособничество. Вот оттого и инфаркт, оттого я уехал, оттого я здесь!

Я закончил эту тираду, способную пронять носорога, и перевел дух.

Он внимательно слушал, ни разу не перебив. Он даже кивал. Когда я закончил, он снова посмотрел на меня колочим вопрошающим взглядом и спросил как отрубил: «На! Клар! Дох! Варум зинд зие хир?!» То есть снова здорово: «Однако! Почему вы здесь?!» Тупой какой-то попался. Я собрал силы и снова начал ему объяснять:

— Я здесь потому, что в России мне негде жить. Потому что мне пришлось за гроши продать свою безобразную площадь, чтобы помочь родне, которой еще хуже, чем мне. Что жить у жены мне, творческому человеку, трудно, ибо она — тоже творческий человек, а ее подростки дети — хоть и не творческие люди, но вполне могут сотворить своих детей, и всем вместе будет уже не до творчества ни первого, ни второго рода. Особенно если учесть, что дом, где мы все жили, стоит между новой веткой метро и старой веткой железной дороги, как раз на потолке станции «Петровская-Разумовская», которая, станция, намечена к расширению в отличие от нашей бывшей квартиры. Что еще? Что комбинат, где работала жена художником, приватизировали скульпторы, специализирующиеся на надгробиях для павших в бою мафиози. Что жена по этому случаю расписывала по хохломской технологии шкатулки и пасхальные яйца специально для нужд двора Ее Величества Королевы Англии, но шкатулки уехали, и от Ее Величества никаких известий, а за телефон не плачено и за квартиру по-прежнему. Что еще? Что я попытался преподавать в родном гуманитарном и совершенно новом университете эстетику Аристотеля студентам и студенткам, которые оплачивали сами свое обучение, поэтому ничего из Аристотеля им не было нужно, кроме справки об окончании, о чем они мне на экзаменах простодушно поведали и нашли понимание, потому что выгнать весь курс я не мог — остальные преподаватели остались бы без зарплаты, а Аристотелю уже все равно. Что еще? Что в родном Союзе писателей один детский писатель сказал мне вместо приветствия: «Ты еще не в Израиле?» А другой детский писатель, проживающий в Париже, попрощался так: «Будь здоров! Вообще-то я думал, что ты умер...» И вот поэтому я здесь и еще, кажется, жив!

Он опять внимательно все выслушал. Даже сел, видно, устал. А потом мне опять лепит свое: «Варум зинд зие хир?!»

«Дарум!» — чуть не ляпнул я. Но не ляпнул. Чутье подсказало мне — не надо.

— Я здесь, наверное, по ошибке. Вообще-то я попал под велосипед, мне, наверное, полагается быть на кладбище...

— О' кей! — сказал он. — Велосипед — это годится! Это хорошо — велосипед! Можете оставаться здесь! А я напишу в отчете, что вас правильно поместили сюда, и вам оплатят через социал ваше лечение на все сто процентов! Всего хорошего!

— Скажите: а почему вы здесь?

— Вие, битте?*

— Варум зинд зие хир?

Он не нашелся, что ответить.

* «Что, простите?» (нем.)

ОХ, УЖ МНЕ ЭТОТ ЕВРЕЙ КОСОЛАПОВ

Ох, уж мне этот еврейский вопрос! Перефразируя Вольтера: если бы его, этого вопроса, не было, его бы надо было выдумать! Германия и евреи. Тут почесешь в затылке. Как-то останавливает полицейский, что здесь редкость невероятная, перешедшего улицу классического еврея — шляпа, пейсы, пальто трубой, черного все цвета — и что-то говорит этому человеку. Тогда еврей в ответ с апломбом: «Может, мне опять надо носить звезду Давида на лацкане? Или на спине нашить?» Полицейский ему по-немецки: «Надо соблюдать правила уличного движения! Битте шён и аллес гуте!»

У меня в кармане удостоверение, где мой статус обозначен: «юдиш флюхтлинг контингент». Как известно, бьют не по паспорту, а по морде. Без лишней нужды я свой статус кому попало в нос не сую. На «морде» у меня ничего не написано, так, собачье выражение преданности на грани зарычать и тяпнуть. Поэтому меня поражает Косолапов. Великий человек. И фамилия у него, и «личность» вполне соответствуют: типичный великоросс-красавец с пышными усами и с налетом, я бы даже сказал, хохлацкой пригожести, что соответствует вполне и месту «догерманского» жительства Косолаповых — они из-под Донецка. Сначала я грешным делом принял его за немножко ловкача. Когда встретился с ним в одном присутственном месте. Я там с женой интересовался, что может заменить утраченную справку о «националитете» родни. Косолапов брал приступом более серьезную высоту:

— Могу я претендовать на дополнительные выплаты как пострадавший от нацизма во время войны?

— В чем заключались ваши страдания? — вежливо осведомился служащий.

— Мы были в оккупации, а потом я мальчишкой, вот таким хлопцем, — он показал каким, — попал в гетто.

— Нужны какие-то свидетельства, документы, — осторожно заметил служащий. — Без документов, боюсь, рано говорить о выплатах. Кроме тех, что вам уже причитаются как контингентному беженцу.

— Все документы пропали во время землетрясения в Ташкенте, — сказал Косолапов с таким трагическим выражением лица, что на минуту мне и служащему показалось, сейчас он будет требовать компенсации за это знаменитое землетрясение.

— Запросите Ташкент, архивы, где могли сохраниться следы ваших бумаг, — посоветовал служащий.

— Придется так и сделать! — сказал Косолапов если не с угрозой, то с упреком в бюрократизме служащего, которому безо всяких бумаг должно было бы быть ясно, насколько правдив проситель, коль он коснулся таких тяжелых для него и для всего еврейского народа вещей.

— Чего тебе дались эти выплаты? — спросил я. — Хлопотное дело. Могут подумать, что ты из-за денег все это затеял...

— Да плевать мне на деньги! — завелся он. — Тут дело принципа. Если мы пострадали, они должны заплатить!

Логика была железная. Я прикинул: Косолапову было лет пятьдесят с хвостиком. Нужен хороший «хвост», чтобы сходились концы, — пяти-шестилетним «хлопцем» он тогда бы мог и побывать в гетто. Дело тонкое, я расспрашивать не стал, а выглядел он моложе. «Неужели ловкач?» — подумал я безо всякого осуждения. Будь моя воля, я бы дал ему право на выплаты хотя бы за смелость и из принципа: если кто-то страдал, кто-то должен расплачиваться. Устного заявления должно быть достаточно!

Я подружился с Косолаповым, потому что мы были соседями по общежитию, жили в одной квартире на улице «цинковых хижин», или Цинкозаводской улице, ибо «Цинкхюттенштрассе» переводится и так, и так. Косолапов научил меня бережно относиться к своему прошлому. И еще: он научил меня бережно относиться к имуществу, даже если оно оказалось на чей-то взгляд не заслуживающим бережного отношения. Нам, прибывшим из страны, где диван стоит

миллион, матрас — четверть лимона, а кожаный гарнитур по карману лишь новым ротшильдам, больно было видеть выброшенные безжалостно на улицу совсем хорошие столы и стулья, серванты, кровати и целые гарнитуры, в том числе и кожаные! Про бытовую технику я не говорю: стиралки, холодильники и плиты стояли на каждом углу в дни, а точнее, ночи «шпермюлей». Чтобы рано утром чудовищная машина собрала и поглотила все это, предварительно перемолов железными челюстями.

В такие ночи Косолапов вытаскивал меня, ленивого, из общаги, и мы обходили, а позже объезжали на велосипедах «выставки» этих извергнутых из молчаливых домов, ставших сразу и вдруг ненужными вещей. Нагрузимся — и, как говорил Косолапов, «до хаты». Сам он мало что брал, только то, что было нужно, чего не хватало в «хате». Он был словно уверен, что его нужда где-то будет услышана и нужная вещь, как по волшебству, возникнет и будет поджидать его в поздний час, как «дивчина» своего «парубка». И такие вещи всплывали из небытия! Портативный телевизор. «Работает, Андрюшка, лучше нового! На кусок провода! Четыре программы!» В одно из таких скитаний я осторожно спросил его: «Откуда у тебя такая фамилия? Ну, совсем не еврейская?» Он сказал: «Сам удивляюсь. На моей родине целая деревня — и все Косолаповы!» — «И все еврей?» «Ага! — радостно вместе со мной удивился он, не замечая никакого подвоха в моих расспросах. — Глянь, какой телевизор! Хорошая фирма — «Дуаль»! Мне-то он не нужен, мне портативного хватает». Мы взяли телевизор, я поставил его в комнате общежития и не мог нарадоваться, как он работал. Так только, чуть бледноватая картинка. Потом я пошел на «шпрахи», долго не пересекались мы с Косолаповым, я рано вставал и поздно приходил. Не до «шпермюлей». Настало лето. В ночной час, проветриваясь у телефонов, я встретил Косолапова. Он катил тележку, в которой ничего не было. «Что так? Без улова?» — «Да мне ничего не нужно, — горячился он. — Гриль ищущу. На природу выезжаем, надо бы мяса пожарить». — «Так они ж в «Коди» по девять марок!» — удивился я. Он поморщился, словно я своими словами предал какую-то чистую, разделяемую раньше совместно, идею. «Да зачем? Выкинут! Похожу чуток и — выкинут».

«Все-таки он выжига, — неприязненно подумал я. — Мелочный человек!» И эта мысль неприятно бросила тень на все остальное, чем он жил и за что боролся. Из общежития он вскорости переехал. Письма какое-то время еще приходили на его имя к нам. На одном, толстом, с обратным адресом Ташкентского архива значилось: «Мойше Косолапову-Кановичу». Мне стало стыдно. Я не анализировал своих чувств. Не было у меня искушения и заглянуть в плохо заклеенный конверт. «Доверие должно быть чистым и исходить из души, а не из архива!» — вот что-то такое мелькнуло и погасло. Погас и телевизор «Дуаль». И не просто погас — из него пошел белый плотный дым. Это был материализованный упрек мне за Косолапова-Кановича. Я вспомнил, что он всегда проявлял хозяйскую сметку — такая жилка в нем была: сам таскал тюки с бельем в «наш день» вниз к машинам на всю семью, закладывая, извиняясь: «Короткая стирка, Андрюшка, полчаса — час». И мы с женой стирали уже ночью. Он краснел застенчиво, вынимая из сушки последнее, и говорил свое любимое: «Машина свободна! Кайн проблем!» Я представил, как он вел хозяйство дома: каждая вещь на месте и сберегается. Он и там помогал детям и... Тут я вспомнил, что у него есть внучка, то есть ему точно пятьдесят с тем самым «хвостом». Все сходилось. Я при первой возможности зашел к нему на новую квартиру и передал толстый конверт. Он реагировал спокойно: «Да не буду я ни о чем их больше просить!» — «Почему?» — «Да вот еще! Иди доказывай, что ты не верблюд! Вот подучу язык, устройню на работу — и кайн проблем!» Нет, не был он выжигой. Просто хозяйственный хлопец. Целая деревня хозяйственных мужиков — Кановичей, и каждый третий — Мойша. Я пожал ему руку. У них в высотке была сауна, пару раз мы с ним парились. «Представляешь, Андрюшка, не пускают в портках! В парную. А там, не поверишь, женщины бывают!» Вот тебе и «кайн проблем!» Проблемы для нас, из «совка», кое-какие были...

На берегу озера, в Видау, что на юге Дуйсбурга, какие-то люди играли в волейбол. Выделялся статный усатый хлопец. Я узнал в нем Косолапова. Он играл превосходно. На груди Косолапова, на золотой цепочке мотался-подпрыгивал золотой Могендовид. Мне стало стыдно. За то, что я прикрываю свой православный крестик футболкой.

В отдалении лежала жена Косолапова, она следила за грилем. Чуть поржавевший, приземистый, чуть ли не кованый, он исправно жарил мясо, а от него шел аппетитный бледно-синий чад. Если бы на моем месте был тот служащий, он бы больше не требовал от Косолапова доказательств. Он на слово поверил бы и в Ташкент, и в пропавшие документы, и в целую деревню Косолаповых, и в гетто.

ХОЧУ НАХ ХАУЗЕ!

Кто из эмигрантов не мечтает попасть в Париж? Только тот, кто уже попал туда. Собрался и я с женой. Мы купили самый дешевый тур — ночью садишься, утром приезжаешь. Выкатываешься из автобуса — и на все четыре стороны. Без гида, без гостиницы и прочих излишеств. Гуляешь на подножном корму весь день. Вечером автобус подбирает там, где высадил десант, — и нах хаузе, то есть домой. «Стоять там долго нельзя, прошу всех не опаздывать, ждать никого не будем!» — сказал водитель по-немецки, когда мы погрузились в Эссене. Все пассажиры были немцы, я заметил только одну японку, которую сопровождал немецкий, вероятно, бизнесмен. Еще водитель добавил: «Кто хочет прокатиться по городу с объяснениями — цуцален еще двадцать монет». Похоже, желающих не нашлось, мы тоже решили сэкономить, тем более что объяснения на немецком мало бы расширили наш кругозор. Тронулись. На коленки рухнули спинки передних кресел — немецкая супружеская чета устроилась перед нами на ночлег поудобней. Я попытался откинуть спинку своего кресла — никак! Мне помог молодой упитанный турист, сидевший через проход от меня. «Кто вы?» — спросил он, сразу сообразив, что я не местный. «Шаде...» — начал я со слова сожаления по поводу чего, еще сам не представляя. «Швабе?» — спросил он, нахмурившись — по-видимому, не любил швабов. Я опять за свое: «Шаде...» «Шабел!» — теперь вздрогнула и его жена, услышав про тараканов. «Во зинд зие шабен?» — спросила она привстав. «Найн тараканов!» — сказал я, глядя на усатого туриста впереди. Он обернулся, принял несостоявшуюся шутку на свой счет и обиделся на меня на всю оставшуюся часть пути. Мы проехали Эссен и влились в транспортный поток на автобане. Скрючившись кое-как в кресле, я стал придремывать, разбудила жена. «А что, нужен паспорт?» — спросила она невинным голосом. «Послушай, когда ты собираешься за границу, ты вообще-то берешь документы?» — «Вообще — да, но сейчас не взяла». — «Очень хорошо! Прокатимся до границы, а там нас, возможно, ссадят». С мыслями о паспорте и границе мы ухитрились заснуть. Проснулся я, кажется, в Бельгии. Дорожный указатель в ночном неверном свете фонарей указывал кратчайшую дорогу до Люксембурга. Жена спала. Автобус стоял у бензоколонки.

Я вышел промяться, заодно заглянул в буфет при колонке: там были представлены цены на ценниках совершенно несуразные, и мои попытки уразуметь, сколько бельгийских или французских франков или дойче марок я должен заплатить за эскимо, не увенчались успехом — продавец совал в нос калькулятор с несусветной ценой — сто! Чего «сто»? Да чего бы ни было «сто» — сто мне за все много! Поплыли дальше без эскимо и паспорта жены. Соснул — проснулся — Голландия?! Не понял и снова заснул. Проснулся от боли во всем теле — плас Пигаль! Автобус стоял прямо у «Мулен Руж», правда, знаменитая мельница по поводу нашего прибытия не завертелась — девяти утра еще не набиралось. Легендарный Париж лежал у наших ног. Фигурально выражаясь. Шел мелкий дождь. Может быть, мы спим? Мираж не рассеивался! Это был тот самый Париж. Париж Мане и Моне, Марке и Матисса, Мопассана и Гюго, Бодлера и Мал-

ларме, Хемингуэя и Фитцджеральда, Жана Жене и Миллера. С ума сойти! Жена, хоть и находилась в полуобморочном состоянии, сумела выговорить: «Сначала кофе с булочкой, а потом — на Монмартр». — «Как скажешь, дорогая!» — «Ты знаешь, как туда идти?» — «Конечно!» — отвечал я, полагаясь на литературные ассоциации. Как вам хорошо известно, на плас Пигаль кофеен и забегаловок гораздо меньше, чем секс-шопов и накт-герл-шоу. Отовсюду на нас смотрели обнаженные девицы, а проснувшиеся зазывалы уже примеривались выудить нас из людского потока, чтобы приобщить к греховному миру секса. Прямо с утра. Мы с видом голодающих африканцев из Белоруссии огибали привратников и сами врата порока. Рядом с внушительной рекламой «сексодрома» притулилось итальянское кафе. Мы сдуру присели за столик, еще не сообразив, что кофе за столиком стоит вдвое дороже, чем у стойки. Однако и отдохнуть от дороги не мешало. Итак: знаменитые бриоши, они же в моем представлении и круассаны, и кофе-эспрессо или капуччино — все это на столе, гарсон улыбается, французы косятся на голодающих афробелорусов и смеются, хозяйская собака выпрашивает кусочек. В туалетном отсеке вполне различим ничем не отгороженный писсуар. Париж. Ура, ура! Нет, мы с женой не верим.

Завтрак окончен, половина вымененных на марки франков испарилась. «Париж — очень дорогой город!» — предупреждали нас. Теперь верим и счастливы. В просветах между домами белые груди туземных девственниц — купола Секре-Кёр. Это — маяк для плавания к Монмартру, его берегам. Странно открывать открытое уже душой. Карабкаемся крутыми улочками вверх, вверх, вверх. Много марокканцев: ковровые лавки марокканцев, кофейни марокканцев, одежда на уличных вешалках-стойках для марокканцев — бурнусы, балахоны. Старики за стеклами играют в карты, дымятся кофейники. Круче вверх, до той точки, где рисовал, писал маслом Писсарро как раз тот угловой дом, что часто репродуцирован на его проспектах, на обложках: улица кардинала... Посмотрите сами, какого. В корзинке моей памяти все, ранее упорядоченное, смешалось в пеструю круговерть. Вот храм. Вот витражи. Вот молится индус. Кому? Горят свечки в плошках. Даю на реставрацию Секре-Кёр, то есть бросаю в барабан русскую монету. Чувствую себя самаритянином-эйкуменистом. Из храма — на площадь, где рисуют художники со всего света. Пахнет немного арбатской московской обираловкой — отловить интуриста, сделать портрет и слупить деньги. Много посредственных рисунков, много просто халтуры. Все и тут схвачено плотно сбитой компашкой. Ловят в основном японцев, берут за локоть, предлагают портретироваться. Японцы отбрыкиваются, немцы соглашаются. Судя по портретам, немцев не очень любят. Живописно-опереточно одетый художник пишет маслом пейзаж, картинно орудует мастихином. Отрепетированность все же заметна. Рядом стоят «свежие» полотна. Конвейер. Турецкая и хорватская речь. Изредка сербская и польская. Совсем редко — французская. Туристы говорят по-английски и немецки. Японцы шушукаются, у них самая лучшая видеотехника. Стрекочат камеры. «Хочу в собор Парижской богородицы», — говорит беспаспортная жена. Я смотрю с балюстрады на панораму Парижа: собор — руку протянуть, но все же на другом конце города. Мираж. Верю — не верю. Спускаемся и находим метро. По дороге мелькнуло: крутой переулочек, белый дом на самой границе Монмартра, окно со ставнями — жалюзи, в окне — кухонный стол, клеенка, рука высыпает на нее картофельные клубни, нож лежит рядом, на огне — кастрюлька... Сивцев Вражек? Сон...

Парижское метро обозначено решетками в стиле арт-нуво, это литые — нарицательный знак, примета Парижа, с фото и репродукций только сейчас перекочевала в сердце — теперь я ее буду хранить уже как «мое». Спускаемся и шалеем. Десятки направлений, переходов, воротца, турникеты, таблички и табло. По совету бывалых людей покупаем десяток билетов — это должно быть дешевле, но на это ушла вторая половина франков. Мы свободны и чисты. Свободны и от денег тоже. По картам-схемам упираемся в одну станцию: «Шатле». Это что-то вроде «Библиотеки Ленина» или «Калининской» в недавнем прошлом. Здесь уйма пересадочных вариантов. С трудом на эскимосском англий-

ском выясняем у интеллигентного негра, как ехать до Нотр-Дам. И таки приезжаем. Разноязычная речь. Вьетнамка торгует сувенирами — золоченая Эйфелева башня и прочее. Японцы идут компактными стаями. Русская женщина в супердорогой шубе сидит на газете, постелив ее на гранит балюстрады. На лице — брезгливое недовольство. «Хочу видеть Эйфелеву башню», — говорит беспаспортная жена. Она художник, ей в Париже отказа нет. Опять кносский дворец метро, слава Богу, без Минотавра. Выходы, как в бывшем Ленинграде, — на две стороны, важно угадать правильную, иначе кружным путем на ту же станцию по движущимся тротуарам — плывут люди, бегут, плывя, обгоняют и знают, куда бегут. Мы — не знаем. Я хочу в туалет, моя беспаспортная жена — нет. «Той-летте» — пожалуйста. Надо совать мелочь. Два франка. По монете можно? И если скорей — меньше можно? Сдачи он дает? Рассуждать лично мне некогда. Сую монеты. Одну — двери молчат. Две — открылись. Я зашел, закрылись, я приготовился — опять открылись. Я в смущении — опять закрылись, но погас свет, потому что я что-то нажал. Как я справился, не знаю. Выйти не могу. Замуrowали. Тьма и заперто. Сила не помогает. Догадается жена бросить еще монету, чтобы освободить супруга? Не догадывается. Каким-то образом выскребся из узилища. И первая мысль: «Хочу домой!» Куда — «домой»? В Германию, как ни смешно вам это покажется. Чудо Эйфелевой башни. Семьсот восемьдесят шесть дней до двухтысячного года. С другого берега Сены глядят комфортабельные дома района Пасси. «Я даже не предполагала, что она такая воздушная!» — замирает жена. Золотая, как корзинка для свежих круассанов, уносящаяся вверх чудо-башня, символ Парижа, его воздухоносный атрибут. Зажигаются огни, плывет широкий, как баржа, прогулочный пароходик, добрых сотни две людей сидят на лавках, вертят головами по сторонам. Японцы снизу целятся в меня видеообъективами. Проходим мост. Высокие каштаны, и каштаны на жарких решетках — мавр продает их жареным в куляках, парижский гамен покупает кулек. «Проживу я еще семьсот восемьдесят шесть дней?» — спрашиваю я Эйфелеву башню, прощаясь. Мимо проносятся, прыгая по ступеням лестницы, на роликах, на досках дети всех цветов кожи. Кто-то «рэпует», кто-то крутится на выгнутой в дугу спине на асфальте. Трокадеро. Дождь. Я хочу домой. Куда? Вспоминается окно на углу кривого переулка, на Монмартре, на его границе — клеенка, рассыпанная картошка — Сивцев Вражек. «Хочу здесь жить!» — сказала, помнится, жена. Где? На Монмартре? Или все-таки на Сивцевом Вражке? А дождь все идет. Меняем последние пятьдесят марок. Бредем куда глаза глядят. До автобуса — три часа. Опаздывать нельзя. Удастся ли нам за три часа распутать лабиринт метро? Точнее — распутать клубок Ариадны, чтобы по тонкой красной нитке выбраться к «Мулен Руж»? Идем по широкой нарядной улице. Люди здесь живут иначе, чем в Германии: окна высокие, занавеси — до полу, никаких рюшей и коротких занавесок-передничков. Никаких горшков с цветочками. За цельными окнами — картины в рамах, высокие потолки, медленно двигающиеся люди. Париж! Божественный призрак. Я уношу тебя в сердце, но я хочу домой. В Дойчланд. В Мюльхайм. В квартиру с короткими занавесками-штюрцен, с цветами на подоконниках. В тепло. Холодно, мы промокли. Улица выводит нас к Триумфальной арке. Ее омывают потоки машин. Кран приготовился вешать игрушки на гигантскую елку: скоро вайнах — Рождество. Метро. За какой-нибудь час или меньше мы на плас Пигаль. До автобуса два часа. Мокнем рядом с путанами и сутенерами. С посетителями «Мулен Руж» — в его подъезде сухо и тепло. Билетер и вахтер смотрят на нас недружелюбно. Безбилетники и безденежники. Я вижу давешнюю японку из нашего автобуса, ее бургер рядом. Подхожу и спрашиваю: «Вы тоже из Эссена?» Спрашиваю по-русски почему-то. Бургер тарачится на меня сердито: чего, дескать, пристал к женщине на плас Пигаль? Она хмурится, потом открыто и дружелюбно смеется. И отвечает на чистом русском: «О! А я смотрю — знакомые лица! Мы тоже раньше пришли! — И своему немцу: — Зие зинд аус унзерен группе!» Так хорошо услышать в Париже, под дождем, родную русскую и почти родную немецкую речь. Мимо идут марокканцы и негры. Прошел француз с гордым тонким лицом без подбо-

родка, но в шарфе через плечо. В берете. Вот и автобус. Я плюхаюсь в теплое кресло на своем втором этаже. «Гутен абенд, швабе!» — шутит давешний сосед. Даже его дружок с усами улыбаётся. «Гутен абенд, ландман!» — говорю я, что по-русски должно звучать так: «Привет, земляк». Только когда пересекли немецкую границу, оба — я и жена — вздохнули с облегчением. Я — потому что прибыл «домой», жена — потому что теперь у нее уже не спросят паспорт.

УСЛЫШАТЬ ЗАВЕТНЫЙ ГОЛОС

В один прекрасный день, месяц спустя после моего водворения в городе Мюльхайме, я узнал, что в этот же город приехал великолепный оперный певец, баритон. Я считал, что люблю оперу и хорошие голоса. Это мне помогало жить: слушаешь голос — на душе легче. А если уж голос исполнит что-нибудь вроде «Ямщик, не гони лошадей» или «По диким степям Забайкалья», все во мне вспаряет, и жизнь на чужбине становится куда легче. Я стал наводить справки про певца: где его можно услышать? И согласится ли он спеть мои любимые вещи? Поет ли он только на публике за деньги или дает для своих концерты «аушлусс дер оффентлихкайт» — при закрытых дверях, вольный перевод. Верные люди мне сказали, что певец он хороший, но не баритон, а баритональный тенор — раз, второе — он имеет очень сложный характер, таится от людей, репетирует где-то тайно, готовит большой концерт под афишу, «уберрфшунг» — сюрпризом, на ошеломление. Сведения не обнадеживали: капризный баритональный тенор не будет меня радовать «Ямщиком» за просто так, а на публике, конечно, хоть и хорошо тоже, но уже не так интересно: будет в угоду немецкой публике петь немецкие песни Шуберта, «Выпьем, ей-богу, еще» и так далее. Не люблю казенщины. «Как подъехать?» — ломал голову я. Помогла, как всегда, жена. «Я знаю, где он репетирует!» — сказала она. «Откуда?!» — обрадовался я. «Я там веду детский курс рисунка и акварели, а он приходит после меня, — сказала она. — Это «сеньорин дом», — назвала она место, известное в городе. «Сеньориними» называют дома, которые в России назывались бы «домами ветеранов» или что-то в этом роде. «Я приду к концу твоих занятий, — сказал я, — мы ненароком задержимся и послушаем певца, а может быть, и попросим его спеть что-нибудь для нас. Пригласим его в гости на худой конец!»

Вечером я пошел в полуподвал «сеньориного дома», где с подростками мучилась жена, при дневном свете вымучивая из них грамотные «штильлебенс» — натюрморты со всеми тенями и полутенями, рефlekсами и бликами, которых при искусственном освещении много даже для взрослого и матерого живописца. Тенор появился неожиданно рано. Действительно характер у него был не из легких. Буркнув приветствия и извинения, он приблизился к роялю и окликнул черноволосого крепыша, с которым пришел: «Попробуем, как с этим инструментом...» «Попробуем», — сказал крепыш и вдавил по клавишам так, что осыпались лепестки на букете из натюрморта. «Распоешься немного?» — спросил аккомпаниатор. «Немного распоеюсь, — сказал баритональный тенор и грянул басом: — А-а-а-аа!» Самый маленький мальчик в группе юных художников зарыдал. Самая старшая девочка, способная акварелистка, уронила кисточку. «Ааа-ааа!» — рокотал бас, начиная переходить в баритональные регистры. «Хорошо!» — сказал крепыш за роялем. От мощного звука вдруг лопнул тонкий стакан с водой пурпурного цвета — туда макал кисть подросток, который из всех цветов по русской привычке предпочитал красный. Вода залила скатерть — собственность «сеньориного дома». Крепыш налег на клавиши всерьез, с pedalю, певец на очень крутом подъеме доказал, что он еще и тенор, хоть и баритональный. Погас свет. Просить спеть «Ямщика» или «По диким степям» стало бессмысленным. Дети кое-как собрались, мы еще долго при свечке убрали за ними и стирали скатерть. Певец, как в известном фильме времен «культы личности», «петь в темноте тенором» отказался. Даже баритональным. Я решил подождать удобного случая. И он предоставился. Наша знакомая Инна, обществен-

ница и музыковед, получила конфиденциальное приглашение на маленький концерт как раз «аушлусс дер оффентлихкхайт». Исключительно для близких в уютном кафе, когда двери его для широкой публики закрываются. Только хозяин — меломан немец, Инна и мы. Причем Инна сказала, что мы — сверх программы, поэтому нам лучше прийти попозже, а то хозяин будет не слишком доволен — он запланировал праздник для себя одного. Хозяин — барин, известно. Мы подошли на полчаса попозже названного термина — часа. В кафе было подозрительно тихо. Открыла нам дверь Инна и сразу приложила палец к губам: «Сядьте и сидите тихо!» Мы сели и затихли. Хозяин, изрядно под мухой, восседая за столиком перед бутылкой «Скотча». За роялем сидел давешний плотный черноволосый аккомпаниатор. Певец стоял в классической позе, взявшись одной неслабой рукой за угол инструмента. Все его естество выражало крайнюю готовность петь и крайнюю досаду. Он кивнул аккомпаниатору. Тот ударил по клавишам начальные аккорды: «Выпьем, ей-богу, еще!» Хозяин выпил. Певец грянул. Хозяин икнул и громко потребовал: «Клаппен зие мауль!» Это очень грубое немецкое пожелание заткнуть глотку. Певец сорвался и на фальцете замолк. Он вопросительно посмотрел на Инну. «А что я могу сделать?» — негромко огрызнулась она. «Ай лав джаз! Ай лав пьяно!» — сказал хозяин, вероятно, в который раз признаваясь в любви к джазу и инструменту под названием фортепьяно. «Ай лав Оскар Петерсон! Ай лав Эроул Гарнер! Олднет Колмен! Дейв Брубек!» — перечислял хозяин возлюбленных пианистов джаза. Он рос примерно в мое время, я тоже любил этих пианистов, но при чем здесь вокал приглашенного маэстро? «Плюнь на него и пой!» — сказала Инна, краснея от гнева и смущения. «Выпьем, ей-богу, еще! Бетси, нам грогу налей...» — певец пошел вабанк. Он не стал дожидаться аккомпанемента. Хозяин остекленел. То ли от неожиданности натиска, то ли от выпитого, то ли от громкости баритона. «Меррррррзавец, кто с нами не пьет!» — припечатал певец. «Точно!» — сказал хозяин, уронил голову на руки и заснул. «Пошли,— сказала Инна.— Он теперь будет спать как минимум час». Мы пошли. «Где вас можно послушать? — спросил я певца.— Очень хочется. Может, к нам зайдете?» Певец посмотрел куда-то мимо меня и ничего не сказал. «Ты что, не видел афиш? — спросила Инна.— В замке Заарн будет большой концерт. Билеты продаются». «Почем?» — скромно поинтересовался я. «Двадцать для всех, десять для социальщиков», — ответила музыковед. «Нам дорого,— грустно сказал я.— Двадцатка на двоих — два дня жизни», — честно, я не жлобствовал. «За настоящее искусство вам жалко какой-то двадцатки?» — спросила музыковед. «Во-первых, не какой-то, а кровной,— сказал я.— А во-вторых, где гарантия, что это искусство — настоящее?» — Я проследил, чтобы певец обогнал нас, прежде чем позволил себе эту наглую реплику. «Он первоклассный певец. Весь Союз объехал!» — горячо сказала Инна. «Я тоже много чего объехал», — сказал я под нос. «Как не стыдно! Не можете поддержать своего же товарища!» «А меня кто поддерживает? — огрызнулся я.— И потом: я даже не знаю, как зовут “своего товарища”!» «Альберто Секундо! Неужели никогда не слышал?» «Никогда,— сказал я.— Поэтому скажи ему, чтобы он пригласил нас как прессу. Я напишу куда-нибудь про концерт». «Я скажу, только это бесполезно. Концерт организует Общество, а Обществом руководит Тамара. Тамара никакой халявы не допустит». «Она что, жена ему?» — хмуро спросил я. «Она ему не жена, но как посредник участвует в выручке, и на Общество отчисляется тоже процент», — заявила Инна, мне крыть было нечем. Деньги есть деньги.

В день концерта я пришел в замок Заарн. Один, без жены. Я готов был на авантюру, не хотелось подставлять близких. Зал был почти полон, однако солидная группа социальщиков шилась поодаль от двери и Тамары, все они надеялись на халяву. Я их понимал. И тоже встал с безразличным видом у стенки. Тамара смотрела на нас, как на врагов прекрасного. Мы позевывали. «Пора начинать», — сказала по-немецки распорядительница из Общества с немецкой стороны. «Закрываю двери!» — громко сказала Тамара. И она-таки закрыла двери. Мы подождали, когда польются рулады рояля, потом тихонько стали просачи-

ваться в зал. По одному — свет в зале был пригашен, освещалась только сцена. Все понемногу растворились в рядах, один я как-то неловко застрял у колонны. Певец, естественно, начал с немецких песен Шуберта. Аплодировали жутко. Кричали «бис» и «браво». Я набрался наглости и воздуха в легкие и крикнул: «Ямщика!» «Минутку, товарищи!» — сказала Тамара. «Херрен, херрен, господа», — негромко подсказала изменница Инна, она буравила меня взглядом, и я знал, что сейчас последует. «Майне дамен унд херрен! Энтшульдинген! — начала с извинений Тамара. — Некоторые находятся в зале без билетов. Или покиньте зал, или приобретите у меня билеты!» — ультимативно закончила она. Народ прижал уши. Певец сдвинул брови. «А “Ямщик” будет?» — спросил я. «Я не пою этой вещи», — сухо сказал певец со сцены. «Тогда “Бродягу”», — сказал я примирительно. «Такой вещи мы не знаем», — сказал от рояля аккомпаниатор. «По диким степям Забайкалья», — рыл землю я. «Он срывает концерт, по-моему», — сказала изменница Инна. «Покиньте зал, това... херр Кучаев», — поправилась Тамара. «За “Бродягу” я дам чирик», — больше от безнадеги наглед я. «Нельзя же быть такими мелочными», — подумал я себе в оправдание. «Не пою я “Бродягу”!» — крикнул певец фальцетом и закашлялся. «Все! Я ушел! Нет так нет!» — Я полез через чьи-то немые плечи и локти, спины и груди к выходу. В спину мне несся кашель певца. Половина зала шикала осуждающе, половина — сочувствовала молча. Я вышел и закурил. В зале кашлял певец. Потом к нему присоединился аккомпаниатор — товарищ по работе, коллега. Потом басом закашлял мой знакомый Косолапов, я знал его кашель — как из пушки. Мелко затыкала кашлем Инна. У нее эти простуды — аллергические, идут такими очередями, я как-то переживал полчаса, когда она переводила для меня в арбайтсамте. Захихикала-закашляла распорядитель-немка, очень по-немецки заперхла. В конце концов весь зал принялся на разные голоса «цу хустен» — хорошее немецкое слово, передающее звукопись процесса. Концерт прервали, объявили перерыв. Я смылился вниз, чтоб не раздражать людей, стал под лестницей, наблюдал, как певцу побежали за минералкой в бар-кафе. Минут двадцать шла шуровка. Потом все, с билетами и без, повалили в зал, уселись. И тут произошло такое, в чем я ну совсем не повинен! Открылось окно во дворе замка, оттуда понесли звуки магнитофона: народ, живший в этом крыле, был из России, я знал кое-кого, сейчас вспомнил; иногда они гуляли. Между прочим, Тамарины друзья из Питера. «Ямщик, не гони лошадей! — пел мальчишеский голос, наподобие Робертино Лоретти. — Мне некуда больше спешить...»

«Закройте окно! — потребовала Инна. — Плотнее!» «Начинайте, Альберто», — попросила Тамара. «Сбегайте кто-нибудь! Уймите их!» — взмолилась до толе молчаливая жена певца, скромная женщина. «Я знаю, чьи это штучки», — сказала Инна. «Я тут ни при чем», — веско сказал я, просунувшись в дверь. «И за него я сорвал голос!» — едва не плача крикнул Альберто Секундо. «А вы попробуйте “Ямщика” тоже! — предложил я. — Кто кого?!» «Мне некого больше любить...» — пел задорный мальчишеский голос в отдалении. И вдруг в певце что-то лопнуло, и он закончил: «Ямщик, не гони лошадей!» Тут начался всеобщий гвалт. Инна зарыдала. Тамара обняла Секундо, успокаивая истерику. Жена певца набросила на него пальто, как на бесноватого. Я ушел.

Шли недели и месяцы. Я не терял надежды услышать заветный голос. Услышать любимые песни: «Ямщика» и «По диким степям». В конце концов нам мешали случайные обстоятельства, какое-то невезение. На Рождество Общество устраивало детский праздник. Я пошел посмотреть безо всякой задней мысли. Просто хотелось окунуться в немецкую рождественскую атмосферу, хотя и посредством «общественного» мероприятия. В зале Общества было многолюдно от детей и родителей. Работал буфет. Первый, кого я увидел, был Секундо. Он тоже увидел меня. Сразу. И немного побледнел. Я постарался придать лицу и всему своему облику непринужденный и даже несколько разудалый вид: «Ничего не было, а если было — забудем». — Подошел с этим к певцу, насильно обнял его и попытался расцеловать. Он слегка отшатнулся, но тоже сделал какое-то почти приветливое лицо. «С наступающим», — сказал я. «И тебя также», —

ответил он. «Пришли немножко развеяться?» — спросил я. «Нет, я тут по делу, меня пригласили сыграть Деда Мороза, Николауса по-здешнему», — сказал певец. «Как трогательно!» — поддержал его я. «Пора! Пора!» — захопала в ладоши Тамара, обращаясь к Секундо. «Пойду переоденусь», — сказал он. Я пошел в буфет, взял пирожное и кофе. По случаю праздника наблюдалась кое-какая скидка. Вскорости появился неузнаваемый Секундо в костюме Николауса: красная с белой оторочкой шапка, шуба в тон и посох, загнутый на конце, как папская булава. За исключением этой загогулины вполне русский дед. Он зычно приветствовал ребят. В зале были и немецкие дети, и наши, некоторые говорили по-немецки уже лучше, чем по-русски. Разноязыкий хор приветствовал Николауса. Он взял за руки мальчишку и девчонку, те зацепили еще детей, и по залу и через сцену пошел хоровод. Николаус напевал песенку по-немецки, детскую шутиливую песенку. Дети вразнобой вторили. Потом начался импровизированный концерт. Я поймал себя на том, что с самого начала борюсь с желанием то ли крикнуть, то ли шепнуть Секундо на ухо: «А “Ямщика” не исполнишь?!» И осаживал сам себя: «Не время и не место». Между тем взрослые вовсю угощались в буфете, пока дети читали немецкие стишки и танцевали какую-то польку-кокетку на сцене. Больше всех угостился Секундо. «Специально для тебя! Сюрприз!» — сказал он и полез на сцену. Сначала он попробовал микрофон: «Ооо! Аааа!» Микрофон начал безумно фонить. У всех заложило уши. «Уберите микрофон!» — рыкнул Секундо. Микрофон убрали. Он победоносно посмотрел на меня, повел широко рукой и начал: «Ямщиинк...» В ту же секунду он сделал шаг, наступил на полу шубы и рухнул со сцены. Надо ли говорить, что была «скорая помощь». Я приносил ему в больницу апельсины, говорил он со мной мало. Но все же говорил. Я ведь ни в чем не был виноват, если разобраться. Так бывает иногда в жизни: все хотят как лучше, все полны самых благих, даже лирических намерений, а жизнь пускает все насмарку. «Больше не буду попадаться на его творческом пути! — решил я твердо. — Буду мечтать, мечтать о том, что каким-то чудом кто-то споет мои любимые песни». Однако я обманывал себя, мне хотелось услышать мои песни именно в исполнении Секундо! Это была навязчивая идея. Он вышел из больницы, получил квартиру в центре города. Дал концерт аж в Дюссельдорфе, в Иоханнескирхе — престижном зале, и билеты были недешевы — об этом мне рассказали друзья Тамары, жившие как раз в том крыле замка-монастыря Заарн. Я слушал вяло. Я-то один знал, что так и не исполнилась не только моя мечта — мечта еще одного человека, артиста, певца по имени Альберто Секундо. Опасная, как подтверждали обстоятельства, мечта, и не просто опасная, а опасная для жизни.

Пригласительный билет пришел неожиданно. В толстом глянцево-м конверте. Нарядный с золотом пригласительный билет. На благотворительный концерт русского оперного артиста, заслуженного РСФСР и так далее Альберто Секундо. На два лица — для меня и жены. Концерт будет иметь место в «Штадтхалле» Мюльхайма. На нашей главной сцене. Мы приоделись с супругой и пошли, сердце мое трепетало. Надо сказать, что у меня уже были проблемы с сердцем — и на Родине, и здесь, в Германии. В кардиоцентре Дуйсбурга мне делали зондирование, но от операции отказались. «Не будем будить спящих собак», — сказали врачи. Так что сердце мое не просто так трепетало, а еще и в силу своих благоприобретенных изъянов. Не буду ничего говорить о стрессе под названием «зензухт» — тоска.

Зал был полон очень разношерстно одетых людей. Были и в мехах и в джинсах. Были и представители немецкой культурной элиты, и наши «представители», устроенные и не очень эмигранты. Концерт шел блестяще. Певец был в ударе. На бисированьях он посмотрел, прищурясь, в зал и объявил: «По просьбе жителя Мюльхайма, выходца из России, москвича» ...и так далее про меня. И запел: «По диким степям Забайкалья...» Песню эту я скорее почувствовал, чем услышал, сердце мое бешено заколотилось, а потом... Потом была боль, меня увезли из театра на «скорой». Жена потом рассказала, что певец настоял на не-

медленном окончании концерта. Хотя из зала кто-то вместо меня крикнул про «Ямщика», певец не стал петь ни его, ни «Бродягу»... Молоток!

Врачи прописали мне помимо лекарств режим, диету, избегать волнений и стрессов и прочее. Я избегаю по возможности. Но во мне живет и не гаснет мечта — услышать заветный голос. Услышать обе песни в его исполнении. До конца. Чего бы мне это ни стоило. Мне кажется, певец мечтает о том же. И тоже готов рискнуть. Нам обоим есть ради чего жить и, главное, ради чего не страшно умереть.

АРМЯНЕ И ЗУБНОЙ АППАРАТ

— У тебя есть знакомый зубной врач? — спросил меня один армянин, отличный парень, трудяга, не имеющий пока разрешения на работу в Германии.

— А зачем тебе? Лечить? Рвать? Протезировать? — спросил я. Я уважал его, потому что он постоянно искал и находил «черную работу», бился за право не только зарабатывать, но и ходить на работу с гордо поднятой головой.

— Нет, мне не требуется врач по прямому назначению. Мне нужна консультация.

— Есть, конечно, у меня зубной врач — цанарцт, охотно дам тебе его координаты...

— А удобно? — спросил Ашот. — Для консультации ведь надо ехать! Далеко!

— Послушай, — насторожился я. — Что же это за консультация? У моего цанарцта праксис. Он солидный человек, принимает у себя в праксисе и не практикует выезды.

— Ему заплатят. Ты позвони. Может, он согласится. Его отвезут и привезут.

— А не проще привезти и отвезти больного?

— Да нет никакого больного! Мои знакомые армяне, земляки, купили зубной аппарат, а теперь хотят знать: не обманули их?

— Зубной аппарат? Что за зверь? Бормашина, что ль? — спросил я, прикидывая, насколько удобно моему зубному доктору подкинуть эту комиссию.

— Я не знаю, послушай! — сказал Ашот. — Там и бормашина, и стул, и лампа, и даже плевательница! Большая зубная машина — зубной аппарат. Там электродвигатель. Надо посмотреть! Вдруг их надули!

— Так ведь если надули, смотреть поздно! — осмелился я высказать замечание.

— Как поздно? Что значит поздно? — рассердился Ашот. — Если он негодный, можно найти тех людей, вернуть аппарат, взять деньги! Не везти же в Армению дрянь!

— Дрянь не следует никуда везти, — весомо согласился я. — А где они покупали эту штуковину?

— Километров сто, сто пятьдесят. По объявлению, кажется. Послушай, недешевая вещь! Очень нужна консультация.

— Ладно, я позвоню, — вздохнул я. — Попробую уговорить. А сколько ему заплатите?

— Договоримся, — был ответ.

Я связался со своим цанарцтом.

— Это что, очередной анекдот? — спросил он меня. Он привык, что я ему каждый раз рассказывал новый анекдот. — Это с какой же радости я брошу праксис и поеду на кулички с какими-то армянами скандалить из-за какого-то, как ты сказал, зубного аппарата?

— А в выходной нельзя? — виновато спросил я. — Фрайтаг одер Файертаг?

— Может, этому посвятить очередной отпуск? Я, кстати, давно не был...

— Значит, не получится?

— В среду после трех. Пятьдесят марок в час. Так и скажи. Их транспорт. Жена мне все равно оторвет голову, так что пятьдесят марок — не цена.

— Я перезвоню,— пообещал я.

Короче, мы сговорились. Почему-то потребовалось, чтобы поехал и я. Какая от меня могла быть польза, я не представлял. Армянского я не знаю. Немецкий знаю плохо. В зубном деле понимаю только как пациент с пятидесятилетним стажем. Однако поехал. На старом «пассате» мы приехали на самые что ни на есть «кулички», бранное прилагательное я сознательно убираю. Это были самые кулички. Глухая деревня. Сарай, где за загородкой помещался, судя по запаху, хряк. Среди брикетов соломы и мешков с комбикормом стоял зубной аппарат: кресло с подголовником и плевательницей, лампа из породы безтеневого, бормашина с мотором и приводом — все то, что нас так «радует» во время визитов к цанарцтам, где бы мы ни жили.

— Среди вас есть хоть один специалист? — спросил мой доктор бригаду армян, отхвативших эту добычу «по случаю» и «по дешевке».

— Зачем? — спросил самый старый, седой старик в зеленой шляпе с пером.

— На всякий случай,— сказал мой цанарцт.— Для чего все это вам?

— Брат просил,— сказал армянин помоложе, в желтой кожаной куртке и ковбойских сапогах.— Душевно просил. Не могу я отказать брату.

— Он врач? У него праксис? — учинил допрос мой врач.

— Нет. У него племянник, а у племянника — жена. Она врач. В селении. У них там плохая вода. У людей болят зубы, а аппарата нет.

— Как трогательно,— сказал мой врач.— Как же мы будем испытывать эту штуковину?

Армяне сбились в кружок и стали совещаться. Несколько раз они посмотрели на часы, видно, вспомнив, что тариф моего врача нешуточный. Наконец самый старый, в зеленой шляпе от имени всех выдвинул практическое предложение: парень в ковбойских сапогах садится в кресло, а мой цанарцт испытывает на нем оборудование. Раз племянник принадлежит брату жертвы, ему и страдать.

— За работу и лечение я возьму отдельную плату,— сказал мой цанарцт.

— Натюрлих,— сказал уже мой друг Ашот. Армяне посмотрели на него с сожалением.

Парень в ковбойских сапогах сел в кресло, мой цанарцт попытался включить лампу — она не горела. «Так ведь здесь нет электричества!» — радостно сказал парень в сапогах. Пошли искать электричество. В усадьбе жила целая армянская колония. Они давно не платили по счетам, и компания отключила им ток. «Как я буду испытывать?» — спросил мой врач. Армяне снова сбились в кучу для совещания. «Без электричества совсем нельзя?» — спросил самый старый, в зеленой шляпе. «Послушай, ты меня пригласил на концерт?» — спросил меня мой цанарцт. «Без электричества нельзя», — торжественно провозгласил я. «Как они повезут эту штуковину?» — спросил мой врач. «Как?» — обратился я к клану. «Приедет Карен на автобусе. Типа «рафик». Марки «фольксваген». На нем поедет брат заказчика и сам аппарат». Все было продумано. Неясно было, работает ли аппарат. Возникла пауза. Ашот отозвал меня в сторону. «Скажи своему цанарцту, что людей нужно ободрить. Без электричества,— негромко внушил мне Ашот.— Нельзя отказывать брату. Нельзя везти металллом. По дороге надо будет платить всем. Пусть ободрит!»

Я передал в общих чертах смысл сказанного моему врачу. Тот подошел к аппарату, стал смотреть, открывать крышки, заслонки, лючки. Достал какую-то лишнюю гайку. Из мотора вывалился кокон пыли — как из пылесоса, который не чистили год. «Я удивлюсь, если он вообще будет работать», — пробормотал негромко мне цанарцт. «С этим нельзя идти к людям», — сказал я, сидя рядом с ним на корточках. «Будем считать, что ты расказал мне хороший анекдот», — сказал мой доктор. «Будем». «Вот что, майне дамен унд херрен! — начал мой цанарцт, хотя дам не было, они в доме готовили угощение, судя по запаху.— Ваш зубной аппарат послужил немало на своем веку... — Я наступил моему врачу на ногу.— Будем надеяться, что послужит еще. Это немецкий аппарат, сработанный еще до войны. А качество продукции до войны было выше, чем сейчас.

Это надежный немецкий зубной аппарат! — Самый старый довольно кивал. Остальные засветились улыбками. — Сколько бы вы ни дали за этот аппарат — все равно мало, выгодная покупка. Кожа на кресле совсем новая. Нужно заменить на бормашине ременную передачу. Мотор, если что, можно заменить. В Армении делают отличные электромоторы. Лампа — лампу я бы не возил на вашу родину, только место будет занимать, запасных элементов для нее вы не достанете. — Опять все закивали. — Так что, если честно, не везите тяжелый мотор и не везите плевательницу. Не везите лампу. Везите только кресло, хоть оно и тяжелое! Игра стоит свеч. Аминь!» «Амен, — сказал самый старый, в зеленой шляпе. — Кресло поместится в твой автомобиль, Ашот. В крайнем случае ты подарешь его моей сестре, своей бабушке! Она мечтала об удобном кресле с подголовником! Будет сидеть на балконе — благодарить тебя и нас всех заодно! Спасибо от всего сердца! — обратился старик к моему цанарцту. — А то мы сомневались: то ли купили? Я им сказал: в Германии можно смело покупать все — все окупится, такое качество! Спасибо тебе, сыно». — Старик обнял моего цанарцта. «Не за что», — сказал цанарцт.

В хлев вошли две женщины, одна принялась кормить свинью, вторая позвала к столу нас. Несмотря на тарифы, ужинали мы долго. Выпили армянского вина. Все поздравляли парня, который раскошелился для брата.

— Брат — святое дело! — говорили за столом. — Как можно не помочь брату?

— А он не собирается сюда, в Германию? — как-то бестактно спросил я. — Если у них там, в селении, плохая вода, ехали бы сюда!

За столом воцарилось молчание.

— Легче отсюда перевезти плохой зубной аппарат, чем хороших людей из селения сюда, — за всех ответил самый старый, в зеленой шляпе.

Потом нас отвезли в город. По дороге мой цанарцт шепнул мне: «Скажи, я не возьму с них никакой платы. Будем считать, что я съездил в благодарность за новый анекдот!» «Какой?» «А разве все вместе — все вот это не напоминает тебе анекдот?» «Пожалуй, — сказал я. — Только неизвестно, насколько он смешной».

КАК ЗЕЛЬКИНД ФАКС ПРОПИЛ

Про Зелькинда можно сказать только одно — лихой человек. На нас он поглядывает с доброй снисходительностью: «Ничего вы не понимаете в здешней жизни! И никогда не поймете!» Когда я попытался заставить его раскрыть скобки этой уничтожающей формулировки, он только сыто улыбнулся: «Потому что дураки. Были и остались!»

Сам Зелькинд быстро освоился в здешней жизни. Он поселился не в какой-нибудь захолустной дыре, наподобие тех, где осел наш брат, а в почти столичном крупном городе. Выбил себе приличную квартиру в тихом районе, в центре, обставил ее, закупил техники и завел авто. Он даже организовал свое дело, свой «гешефт». Что позволило ему сойти с социала. Я долго не мог от него добиться, что за гешефт, но потом добрые люди мне сказали: «Коптит рыбу». Странно, здесь рыбы, в том числе и копченой, — завались, как он выдерживает конкуренцию? Я частенько заходил к нему, пытался выудить подробности, но он как-то лениво отмахивался: «Да зачем тебе это, старик? Ты все равно не сумеешь! Пей лучше пиво». «Хорошо бы рыбки какой к пиву», — намекнул я, но он не реагировал. «Закусывая вот сыром, хороший сыр».

Зелькинда я знаю давно, он литератор, в России много писал, печатался. Пьесы его шли в театрах, в основном дальневосточных. «Вот, наверное, откуда рыба», — как-то без энтузиазма думал я. Ведь если представить расстояние, которое отделяет Дальний Восток от нашей земли Северный Рейн — Вестфалия, то всякая затея с рыбой начинает выглядеть чепухой. Тут рядом океан, Голландия, Венлоу, где рыба и хороша, и дешева. Кто будет коптить? Но Зелькинд коп-

тил и процветал. Чем иначе объяснить его всегда довольный, лоснящийся вид, полный холодильник в его доме и неиссякаемый оптимизм?

Если честно, с этим писателем, этим предпринимателем и коптителем рыбы, земли и неба, меня связывала еще одна история. Не очень вдохновляющая, хотя виноватых в ней нет, есть только пострадавшие.

Все в той же России, во время оно решили всех писателей как-то раз наделить землей. Видно, начальство писательское уже тогда, в дореформенное время, подумывало, куда деть писателей, когда их продукция будет не востребована надвигающимися отношениями, которые позже назвали рыночными. И решили перевести писателей на подножный корм, выделили пустошь, слегка заболоченную, и за небольшой вступительный взнос раздали всем желающим. Точнее, не всем, а тем, кто оказался проворней и дальновидней. Разумеется, Зелькинд был среди первых, кто получил землю под строительство домика, сад и огород. Когда сунулся я, участков уже не было. Разобрали. Конечно, много нахватили и сами дающие, то есть аппаратчики писательской ассоциации, но «красиво жить не запретишь!» Я остался с носом. Вдруг неожиданно обнаружилось, что пишущей братве выделили еще одну пустошь, надеясь, что силами литераторов вся тамошняя местность будет осушена, потому что и эта пустошь была заболочена. Я ткнулся и туда. Мне долго светил один участок, я чуть было не поехал за тридевять земель смотреть, как выяснилось, что и этот участок ушел. Захватил его Зелькинд! Так мне и сказали милые дамы из аппарата: «Надо было раньше чесаться!» «А Зелькинд?! — было выступил я. — У него уже есть...» «Он фактически без площади, дали ему». И уже совсем позже я узнал, что у Зелькинды неприятности, как раз из-за того, что он ухватил два участка и один ловко продал. Дело, разумеется, замяли, дальнейшей судьбой земли я не интересовался, потому что мной овладело желание вообще расстаться со всеми участками, которые в сумме составляли уже не писательскую, а Российскую Федерацию. Слишком уж быстро их поделили, места мне не оставалось даже минимального: полтора на два метра. Я уехал. И вот опять выплыл на этого человека. Историю с участками мы не вспоминали. Только раз он нехотя мне сказал, что на своей «загородной», как он выразился, «усадебке» вместо канав для осушения, наоборот, вырыл пруд, куда собралась вся вода с соседних огородов, и там, в этом пруду, развел сазанов. «Вот такие вот сазаны, не поверишь!» — сказал он и показал, какие. Я уже потом связал все эти мелкие факты, чтобы как-то понять «рыбный» интерес этого любопытного человека.

Потихоньку я осваивал язык местного населения, что-то писал, что-то удавалось напечатать. Зелькинд при наших встречах посмеивался надо мной: «Чудак! Зачем тебе все это надо? После России публиковаться в здешних многотиражках? Язык ты все равно не выучишь, да и ни к чему он тут». Я не возражал, потому что возразить мне было нечего: много правды было в его сказанных в безобидной манере словах. Мы сидели у него в гостиной, попивали пивцо из холодильника, закусывали сыром. Изредка мелодично потренькивал телефон, к которому подходила немногословная жена хозяина, да время от времени трещал факс. После одного из таких тресков он сам нехотя поднялся, пошел к столу с факсом и вернулся с широкой лентой сообщения. Надел очки, которые как-то не вязались с ним, и стал читать. «Ха! — воскликнул после чтения. — Здорово!» На мои вопросы, что за радостное известие он получил, отмахнулся, взгляд его стал каким-то победным и в то же время отсутствующим. Он встал, извинился и пошел, как я понимаю, поделиться с женой. Против своей воли я скользнул взглядом по печатному тексту — не в моих правилах было читать и чужие письма, и чужие факсы. Но бес попутал, прочел! Там стояло: «Обещанных полторы тонны сазанов прибывают по воде шестнадцатого. Лана». Посидев немного, мы распрощались, и я довольно длительное время не навещал Зелькинды. Не хотелось.

Как-то по своей привычке посещать барахолки я забрел на подобный рынок довольно далеко от нашего города. Еще издали я увидел знакомую фигуру, знакомые черты, как говорится: за прилавком сидел, как вы догадались,

Зелькинд, перед ним на пластике были разложены всякие сувенирные изделия, которыми прельщали в свое время иностранцев арбатские тихие жулики: политические матрешки, часы командирские, знаки воинских отличий Советской еще армии, портреты Ленина, ремни и прочая дребедень, не имеющая теперь спроса ни там, ни тут. Я хотел ускользнуть, но он заметил меня, замахал руками: «Привет! Ступай уже сюда!» Я подошел. Поговорили. Какая-то злость вдруг взяла меня; обычно злюсь я по пустякам, непринципиально, что в общем-то глупо. «Какого лешего ты здесь околачиваешься с этим барахлом? Не стыдно? Охота тебе позориться? Я-то тебя держал за... — Я не нашелся, какое слово сказать, запнулся и выпалил уже против воли: — Хоть бы ты рыбу свою сюда приволок, что ли!» Он стал молча собираться. «Рыбу, говоришь? — Он запихал все в пакеты, а пакеты — в баул. — Рыбу здесь, во-первых, нельзя, заметут, во-вторых, про рыбу... А, ладно, поехали! Покажу тебе рыбу!» Мы протолкались к его «пассату», выдавшему виды рыдвану мышиного цвета со всеми четырьмя поцарапанными дверьми. Долго ехали в предместьях его города, пока не доехали до глухого сарая, расположенного где-то в районе портовых складов. Он припарковал машину, пошел к воротам сарая — дверей и окон это строение не имело, только ворота, помнившие кризис двадцать девятого года. Он отомкнул ржавый замок, распахнул одну воротину, нырнул внутрь, повозился — внутри загорелся теплый красноватый свет. Рука поманила меня, приглашая внутрь. Я вошел и остолбенел. Передо мной была как бы в резерве старая московская квартира. Так она могла быть обставлена людьми, которые прожили в ней лет тридцать — сорок, берегли вещи как память, не выбрасывали их, если они могли служить. Скатерти из панбархата, с кистями, приемник, трофейный, старый, выдавший виды «Телефункен» 1939 года, телевизор «Ленинград» гэдээровского производства, со шторкой и линзой. Ширма красного дерева со сборчатыми шелковыми застежками, этажерка! Да, тут была даже этажерка, каких я не видел полвека! И холодильник ЗИЛ. Спальный гарнитур из красного дерева, отделанный карельской березой.

— Что это? — невольно вырвалось у меня.

— А, родительская квартира. Вывез...

— Зачем?

— А шут его знает...

— Послушай, а зачем ты сюда-то приехал? Жил бы в этой квартире!

— Не знаю. Возможность появилась — уехал. Вдруг больше не будет такой возможности? Да что ты привязался со всякими «почему»? Вот отец, скажешь, тоже мог бы не везти всю эту мебель, — он кивнул на внушительный гарнитур, — если бы знал, что я окажусь здесь?..

— При чем тут отец?

— Да он же вывез всю эту мебель из Германии! После войны. Вся немецкая, трофейная — красное дерево насквозь! Не то что сейчас — только фанеровка!

Я подумал, вряд ли его отец, вывозя эту мебель, предполагал, что она совершит обратное путешествие, вернется на эту землю. А если бы знал?

— А как же рыба? Факс? Полторы тонны сазанов?

— А, это... — Он подошел к холодильнику ЗИЛ и открыл дверцу. — Вот и сазаны...

В холодильнике стояла банка бычков в томате. Вздувшаяся, ржавая банка. Холодильник не работал.

— Факс у меня дурной какой-то попался, принимал всякую ерунду, не мне адресованную. Чаше — про какую-то рыбу, ну слух и пошел, а мне что? Пусть говорят!

Мы посидели на креслах стиля «чиппендейл», покурили. Напольные часы мелодично пробили сколько-то. Мы поднялись.

— Как же ты вывез все это?

— Контейнером. Деньжищ вбухал! Все, что выручил от тех участков, помнишь? На Истре. Теперь, можно сказать, банкрот. Вчера вот с горя тот факс пропил. Надоел! Еще чуток осталось, поехали!

В тот вечер мы с ним надрались на деньги, происхождение которых мне до сих пор кажется мистическим. На закуску мы читали факсы, которые скопились, пока пропитый аппарат работал. Одна депеша звучала так: «Высылаем контейнер с землей общим весом нетто полторы тонны. Накладная отдельно факсом. Оплата поровну согласно договоренности. Ланщикова».

— Слушай, а это, по-моему, для тебя землячка-то, — сказал я Зелькинду. — Что делать будешь?

— Платить, наверное, — сказал Зелькинд. — Куда денешься? Родная ведь земляца, к тому же в России за нее половина уплачена...

«Осталось только выбрать, в какую половину лечь», — подумал я про себя, но вслух ничего не сказал...

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ

Святочный рассказ

Как-то вышло, что Чуркин к рождественским праздникам поиздержался. Сказать по правде — остался без гроша. Прогулял денежки. Что-то бессмысленное купил якобы в подарок жене, для реабилитации. Короче — у других людей будет праздник, будет на столе рождественский гусь, а в доме Чуркиных, по вине хозяина, будет хоть шаром покати. Просить займы в эмиграции — это все равно, что рассчитывать выиграть в лотерею. Рассчитывать можно, выиграть — шиш! Унизят, потопчут и... не дадут. «Мы только-только купили новую мебель... Мы только-только ездили всей семьей в Испанию... У самих — ни гроша!» А деньги, конечно, у людей есть, в домах пахнет хорошей едой, дети-подростки одеты, как в журнале мод, сами хозяева лоснятся от довольства, и новая тачка посверкивает под окнами. А дать займы — не дадут. Таковы нравы этой новой эмиграции. Деньги держи при себе. Или пускай в рост. Деньги должны работать. Или просто греть хозяев своим тихим сиянием. А тут этот проходимец Чуркин пропился и просит. Обнаглел. «И были бы деньги — не дали бы!» — победоносно довершат диспут о чуркинском займе добрые люди, соотечественники в прошлом и будущем.

А гуся хочется. Хочется, чтоб украсил стол. Люська, жена, будет разделять румяную тушку. Даша и Маша будут пускать слюни, следя за разделкой. Гусь с яблоками. На яблоки Чуркин наскребет. На гуся — нет.

И Чуркина осеняет идея. На пруду, недалеко от дома, где квартируют Чуркины, застрял на зиму гусь. Еще летом, отбитый от стаи новым вожаком, он нелепо ковылял за утиной стаей, после того как его бывшая семья, гусяное подростное стадо, подалось на юг. Да и гусь этот какой-то никчемный. Он, похоже, не может летать. Что-то с крыльями. Может, ему специально подрезали крылья, чтоб не путешествовал? Во всяком случае, жизнь этого гуся должен увенчать подвиг — путешествие в мешке на кухню Чуркиных. Далее птицу ощипать, выпотрошить, промыть, посолить, напичкать яблоками и зашить ниткой. Неплохо немного шафрану, майорану. Можно обложить ганса картофелем — напится картофель гусиным жиром, зарумянится — ешь да похваливай!

Днем Чуркин закупил кило яблок покислее. Взял пузырь «Горбачева». К вечеру, затемно, накинул ватник, привезенный из России как символ родных просторов, надел бродни — сапоги по пояс, их тоже привез запасливый Чуркин из родного Подмоскovie: как-никак рыбак! И со всей этой амуницией отправился на пруд.

Луна, как водится, на ущербе, впотьмах никто Чуркина не прихватит с гусем. Вот только гуся надо отыскать: ну да он, вероятно, на островке ночует, до островка в броднях можно бродом и пройти. Серебрилась старая ива. Тихо брякал колокол в ближней кирхе. Серебряная рябь окатывала гладь воды. Чуркин ступил в пруд.

Дно оказалось илистым, ноги вязли, идти было тяжело, и Чуркину вдруг стало жутко: засосет...

До островка он дошел, не засосало. Гусь спал, заткнув голову под обрубленное крыло. Чуркин накиннул на спящего ватник. Ганс не трепыхнулся. «Привет „зеленым“!» — ухмыльнулся Чуркин и перебросил птицу в мешок. Гусь затрепыхался, но Чуркин крепко связал мешок. И в обратный путь. Черпанул в сапог-бродень. Ругнулся. Рождественский гусь — вот он, полегчало.

Дома, в кухне, хозяин выпустил пойманного на волю. Гусь покорно встал посреди линолеумного пространства. Он моргал, как спросонок, только не как люди, а веко шло снизу вверх. «Это что же, резать его надо?» — обдало Чуркина холодом. Жена с девочками гуляла перед сном. Чуркин задумчиво поставил на пол плошку с водой. Подумал-подумал, насыпал гречки. Покрошил хлеб. Гусь тоже подумал-подумал, стал клевать.

— Ой, папочка, спасибо тебе! — завопила Даша, как пришла.

— Ой, какая птичка хорошенькая! — завопила Маша, скидывая шубейку.

Гусь поел и стал нервничать. «Гадить хочет», — думал Чуркин и постелил газеты, которые оставлял ему сосед-немец. Гусь с удовольствием сделал дела на портрет обнаженной красотки, сунул голову под крыло и заснул.

Долго сидел Чуркин в кухне. Откупорил «Горбачева», пригубил. Заговорил с гусем:

— Вот какая штука получилась, брат... Остались мы с тобой в бобылях. Целится моя старуха уходить от меня к соседу-немцу. Надоело, говорит, мое пьянство-гулячество. А что делать? Безработица! Пахал на стройке, через полгода — вон. Хожу как неприкаянный — ну точь-в-точь ты! И крылья тоже подрезаны. Эхма, остались мы с тобой сироты!

Чуркин двинул носом, вытер кулаком глаза. Подошел, погладил гуся, тот понимающе гукнул.

Рождество встречали в квартире Чуркина все-таки весело: сосед-немец, кстати, тоже Ганс, принес тминной — «Кюммеля». Жена Люси сгношила закусок — женщины, они все умеют.

На отдельной табуретке, на газете важно сидел второй ганс — краденый гусь. Перед ним на столе стояла тарелка с салатом «оливье». Так что рождественский гусь в квартире Чуркиных был.

А когда гость и хозяйева затянули «Степь да степь кругом», гусь даже по своему подпевал: га-га-га, га-га...



No comment

Несколько знакомых людей в Москве и Иерусалиме дали понять, что после десяти дней, которые я провел в Израиле, они ждут от меня путевых заметок. Некоторые выразились даже по древнесоветски, что это мой долг. Ниже привожу 26 причин, почему это невозможно.

1. Меньшее и самое сдержанное и самое приличное, что можно сказать о человеке, который садится за собственные путевые заметки об этой стране, после тех, которые оставили о ней Ной с семейством, Авраам с женой, Лот и его жена (особенно она), Иаков и его знаменитые отпрыски, ходившие туда и сюда, Моисей, их и свои впечатления литературно переработавший, Иисус Навин, подведший под этими путешествиями черту, герои Книг Судей и Царств и лично сам Давид, когда пастушествовал, когда царствовал, а больше всего когда воевал, и так далее вплоть до апостолов христианства,— это что он, гусь, несколько самонадеян.

2. Мой родственник, живущий в Иерусалиме — историк, гебраист, профессор университета, — вышел в отставку и теперь ездит в Кенéрет (Генисаретское озеро) ловить рыбу. Рано утром выезжает, вечером возвращается. Рыба клюет хорошо, правда, себестоимость, если иметь в виду билет туда и обратно, порядочная. «Только не начинай рассказывать», — предупредил он готовую соскочить у меня с языка реплику о галилейских «ловцах человеков», — что бывает с теми, кто ловит там рыбу. Банально». «Только не начинай рассказывать» — это припев, который, вообще говоря, постоянно сопровождает тебя на этой земле. *Рассказывать! Там!* В самом деле банально.

3. В Кенерете экскурсионные автобусы останавливаются в пятидесяти метрах от Иордана. Окунуться разрешается только в специальной рубашке, тут же продаваемой (дорогононько) или даваемой на прокат. Но можно, не переодеваясь, побродить у берега по колено в воде. Когда я подошел, это делала группа немцев с фотоаппаратами. Вдруг один из них наклонился и схватил какое-то членистоногое размером с медаль «За победу в Великой Отечественной войне», выплзшее на мелководье. Назовем его крабом — или вспомним Кафку и назовем его герр Замза. Краб-Замза извивался во всех суставах своих конечностей, но панцирь его был схвачен тевтонскими пальцами намертво. Остальные возбужденно, шумно и хохоча сгрудились вокруг, потом обратились ко мне и, протягивая свои цейсы, попросили всех вместе сфотографировать. Семья моей мамы была расстреляна в рижском гетто, и по совокупности причин не хотелось мне делать эту фотографию. Но не хотелось и делать из этого историю. Я протянул руку, одновременно краб выскользнул и скрылся под водой. Компания завизжала, повыскакивала на берег. Истории не получилось... И каждый раз, когда казалось, что история должна вот-вот получиться, что-то не выходило. Создавалось впечатление, что нет в этой стране *историй*, не предрасположена. Что все истории, которые случаются с евреями, случаются с ними в других странах.

4. К тому же сразу по прибытии, точнее, на шоссе из аэропорта в Иерусалим, путешественник теряет неповторимое, как он был до сих пор уверен, своеобразие своей уникальной личности. Какая такая ты тут личность и что такое

может с тобой произойти на Святой Земле, которая так называется потому, что ее устроил и произвел все, что с кем бы то ни было на ней происходит, лично Бог? Устроил и произвел, то есть устраивает и производит. Осознать себя здесь кем-то можно только в составе этого устройства и производства — либо *вне состава*, но тогда не вполне понятно, что ты здесь делаешь. Не вполне понятно и не очень интересно. В обоих случаях уличная толпа и одинокие прохожие совершенно спокойно обходятся без тебя. Не из-за выработанного всякой цивилизацией безразличия к другому, а из-за принадлежности Цивилизации, существо которой неизмеримо значительней любого из составляющих ее существ. Либо из-за *непринадлежности*, что ставит тебя вне самой человеческой заинтересованности. Вообще: возникает чувство, что ты в этой толпе, среди этих прохожих, где-то уже есть — на другом конце города, или страны, или в другой период времени.

5. Названия мест и имена людей, произносимые по-русски: Иерусалим, Вифлеем, Соломон, Мессия и все остальные — вызывают раздражение у живущих в Израиле, а произносимые на иврите: Ерушалаим, Бейт Лехем, Шломо, Машиах — сплошь и рядом непонятны в России. «Это всё греки позорные, — объясняли мне не раз. — Кажется, ясно сказано: масличные давилни — гат шэмэн, повтори, не ошибешься. Нет, надо вывернуть язык: Гефсимания. Или такой холм, не гора — холм, Гар Мегидо, чего проще. Но эти умники, они же не заснут, пока не исковеркают: Армагедон — не больше, не меньше».

6. Само название страны — Израиль — там не годится. Только вместе: Государство Израиль. И опять неправильно: Государство Израилья. Кого, чего — родительный падеж. И все-таки не так: часть населения, проживающая на его территории, и немалая, и не просто еврейская, а «самая еврейская», утверждает, что никакого такого государства нет. Пока не восстановлен Храм. Без Храма это профанация, просто место — что в именительном, что в родительном. Храм между тем едва ли будет отстроен заново в сколько-нибудь обозримое время — место занято. И в таком случае про что писать заметки, не вполне понятно.

7. Да и вообще ехать туда из стран с нормальными названиями типа РФ, или ФРГ, или США считается, что нынче не время: есть противопоказания — «Там же, знаете, сейчас стреляют». Я с этим уже сталкивался в начале 90-х, когда после года в Оксфорде возвращался домой в Москву. «Вы с ума сошли, там же убивают среди бела дня». Когда смотришь извне, и с дальней дистанции, и сквозь газету или телевизионный экран — то именно так. Когда живешь в этом, то просто живешь, *нормально*. Немного более тревожно — близко к состоянию после взрыва в Москве на Пушкинской площади. Так что — как сказал нам по телефону из Иерусалима приятель — «ехать надо не откладывая». Потому что, если не ехать, сама тема снимается.

8. Все страны как страны: у них был VII век, был XVII. Был капитализм, социализм, фашизм, татарское иго. Была советская власть, бархатная революция, суконная реставрация. И так далее. В Израиле что было, то и есть. Тысяча лет до новой эры, тысяча после — какая разница? Филистимляне? Уточните, какого времени: пророка Самуила или премьер-министра Бен Гуриона? Оказавшись в каком-то месте, никогда нельзя утверждать, что ты именно в нем — в музее Нелегальной иммиграции, а не в пещере Ильи-пророка. Или Ильи, а не в той, где пряталось Святое Семейство. Или не во всех трех одновременно. И никогда нет уверенности, что трех, а не четырех. В Бейт Шеане 18 разных городов, напластовавшихся один на другой в течение семи тысяч лет. От римской общественной уборной на сорок мраморных мест, пригодных к немедленному использованию, до нынешней платной меньше минуты ходу. Я хочу сказать, что путешествие как перемещение из места в место, с одной стороны, приобретает многовариантность и неопределенность, с другой — теряет какой бы то ни было смысл.

9. Отсюда отсутствие фона для сопоставления. У нас в США — капитализм «в его высшей точке — империализма», а в Израиле... У нас в Швеции — государственный социализм, а в Израиле... А у нас, не скажу где — рыночная демо-

кратия, а в Израиле... Ни одно из «а в Израиле» не работает. Потому что там — всё. Дорабовладельческий строй, транснациональный корпоративизм, победивший коммунизм, а также все виды общественных и властных отношений, которые когда-либо где-либо только еще появятся. Скажем: у нас в республике Санта-Гуэрро фрондизм на фрейдиристской подкладке. А в Израиле ему уже три тысячи четыреста пятьдесят лет.

10. Отсюда же и заведомая неполнота любого наблюдения и — тем самым — вывода. Прощаясь со мной после моего выступления в Ашкелоне, устроители вечера вежливо посетовали, что в темноте не покажешь города. А показать есть что: и Ирод в нем родился, и Навуходоносор останавливался, и Александр Македонский отметился, и Ричард Львиное Сердце не пропустил, и еще паратройка кровопускателей рангом пониже. Ну ничего, в следующий раз приезжайте пораньше, погуляем вокруг. Мы пожали руки, они пошли в одну темноту, я к ожидавшей меня машине в другую. «Семирамида!» — прилетел от них через секунду добавочный крик.

11. Темы общеприняты, как и любые заранее заготовленные, здесь более или менее проваливаются. Когда в Париже открывали первый «Макдональдс», Франция была на грани мятежа. Американизация! Янки, убирайтесь домой! Сягательство мало того что на национальное своеобразие, но на самое святое — кухню!.. В России тоже не без базара, хотя и попроще: всё за бесценок отдаем, всё, включая кафе «Лира» против памятника Пушкину!.. В Израиле «Макдональдс» вызывает столько же эмоций, сколько автобусная остановка. Ну «Макдональдс», нормально, чипсы, мороженое... И так — что ни возьми. Глобализация, Билл Гейтс, поп-культура, масс-культура, аудио-видео съедают книгу, на доллар ориентироваться или на евро, Север—Юг, засилие иммигрантов, новые французские философы, новейшие наинейшие. Как-то не идет. Национализм! Это у вас национализм. Ну хоть экология: заболачивание, эрозия почвы, а?! Экология-шмэкология — у нас в час пик на углу Яффо и Кинг Джордж горный воздух. Словом, все сводится к — «и вот с этой хохмой ты сюда приехал?».

12. Путешествие по этой земле без непосредственного переживания каждого момента, каждого пейзажа, света, цвета, погоды, уличной речи — ноль. Передвижение по ней, так же как просто стояние на ней, вызывает не чувства, тем более не соображения, а восторг — то положительный, то отрицательный. В Иерусалиме, во всяком случае, а возможно, и во всей стране, за исключением разве что морских пляжей и стадионов, нет ни единой горизонтальной плоскости. Ты или спускаешься вниз, или поднимаешься вверх. И твой восторг с тобою — то ввысь, то в яму. Следов не остается: по закону гравитационного поля сползают в низинку, в низину, в низинищу — откуда ночным ветерком уносятся на четыреста, как минимум, метров ниже уровня мирового океана, в Мертвое море.

13. Все, что ты там видишь, — *то самое*. Чересчур *то самое*. В отделе древностей Музея Израиля лежат вещи, не откуда-то, как во всех музеях мира, привезенные, а принесенные из ближайшего карьера. Может быть, «в ста стадиях от музея», может быть, в ста метрах. Все эти невероятные тысячелетние ложки, тарелки, тазы, цепи, жернова, бижутерия, статуэтки, плавильни, чтобы отливать их, и молотки, которыми их разбивать, — всё это такое же здешнее и готовое сию минуту служить, как взятое в ближайшей лавке, пусть и засыпанной временно землей. Кому интересно описание товаров стандартной москательной лавке? Сам Музей *Израиля* звучит двусмысленно: это и Музей Государства (см. пункт 6), и — наподобие галереи Третьякова в Москве или собрания Фрика в Нью-Йорке — частная коллекция некоего Израиля Исааковича Авраамова.

14. Все, что ты там видишь, — не то. Гробница царя Давида — не гробница, не Давида и не царя. Место крещения Иисуса от Иоанна — не там, куда приводят паломников и туристов, а в десятках километров. Гора Блаженства, с которой была произнесена Нагорная проповедь, — может быть, да, может быть, нет, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Табга, где Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч мужчин, — та на 99 процентов: один про-

цент оставлен, видимо, для щекотания нервов. Даже Голгоф не одна. И хотя вере все это ничуть не мешает, и в малодостоверную Гробницу Давида, и в недостоверную Иорданскую купель, и в Гору Блаженства (50/50), и в Табгу веришь на все сто процентов, но убедительности путевых заметок это, согласитесь, мешает.

15. С горы Скопус, от Университета, в хорошую погоду видно Мертвое море. Но не сейчас, сейчас хамсин. В хамсин не то что видеть, смотреть невозможно. Впрочем, нет, вон глядите, между двух гор тонкая линия горизонтальная — это оно. Ближний к нам берег. Или нет, все-таки извиняюсь, это линия телефонных проводов. Просто по ту сторону дороги. А *выглядит*, как береговая полоса. В хамсин. Мелкий такой песок из Саудовской Аравии. И горячий такой ветер. Так что это НЕ Мертвое море. Сделай из этого путевую заметку.

16. Что бы еще заметить? Ну, например, в Израиле нет дач. Негде ставить, места нет. Да и настроения. Даже загорода нет. Просторы есть, а загорода нет. И нет такого понятия — «дачная жизнь». То есть необязательная. И понятия «загородная» нет. Пасторальной — нет! Где ее тут взять, пасторальность? Где взять необязательность, расслабленность, исследование того, с какой ноги встал, взвешивание того, с какой интонацией с тобой поздоровался сосед? То есть пожалуйста: и лень, и безделье, и кайф свободного времени, и опьянение пустотой дня, и беззаботность, — но как свойства характера, а не занятие отпускника... Ну и что ты хочешь этим сказать? Мало ли чего тут нет: трамваев, травушки-муравушки, куда Макар телят не гонял, вечной мерзлоты, Братской ГЭС. Хорош писатель — о том, чего нет!

17. Все, что ты там заявляешь, — невпапад. Если говоришь, что у Нетаньяху голова на плечах, в ответ слышишь, что он хулиган, пригородная шпана. Если через пять минут повторяешь попугайски, что шпана, получаешь, что он спаситель нации. В обоих случаях оказываешься в прямой близости от угрозы физического воздействия. Хорошо: Барак — вот кто голова! Барак?! Барак — агент Арафата! Хуже него только Рабин! Покойный. Рабин и Арафат. Скажи спасибо, что говоришь с интеллигентным человеком, а ляпнешь это в другой компании, свободно закидают камнями... Ни разу за десять дней я не произнес имени ни одного израильского политика. На всякий случай. Однажды, распивая с приятелями «Каберне Совиньон» из траппистского монастыря, вдруг вспомнил, как дикой февральской ночью 35 лет назад в деревне Норинская Архангельской области мы с сосланным туда поэтом Бродским сочиняли, дурачась, букварь, и, в частности, такие стишки: «Это лев, а это школа, а это дом Леви Эшкола». Уже открыл рот, чтобы позабавить собеседников, но представил себе, как помрачнеет лицо А., сузятся глаза Б., а В. скажет: «Да из-за Эшкола мы и влезли в это арабское ярмо», — представил и, если выразиться в манере раннего социализма, «своих железных челюстей не разомкнул их»... И не дай вам Бог назвать кого-то левым или правым — потому что первый окажется правее Победоносцева, а второй левее Кон Бендита.

18. Более того: все, что ты там заявляешь, обнаруживает твою принадлежность к партии, о существовании и своей близости к которой ты до тех пор — ни сном, ни духом. Скажешь, положим, что NN симпатичный человек — и запросто объявят оппортунистическим крылом партии Ликуд. Что Голанские высоты сегодня как-то по-особому синеют — а-а-а, так ты пацифист шимон-перецовского толка? Да даже про свое: о каком-нибудь Зюганове высказаться уклончиво, дескать, комми, что с него взять — ни-ни! Немедленно: вам, стало быть, по вкусу двурушничество ЛДПР и соцпредательство Демвыбора России! То, что в Рассеянии насмешливо называлось пикейными жилетами, в Государстве превратилось в общество тотального политического профессионализма. В Декларации независимости не записано, а напрашивается: что Государство создано для реализации политического чутья и дара всех без исключения своих граждан. Так что, что об Израиле ни написать, хоть о климате, хоть о кухне, хоть о всеизраильском обществе охотников, все выдаст твою тенденциозность как националиста, космополита, голубя и ястреба.

19. И тогда «камнезакидательство» как-то неявно, но ощутимо начинает сдвигаться от своего литературного употребления к практическому. Решительность, с какой большинство людей в этой стране защищает свою позицию, мнение и точку зрения, буквально с первой фразы выходит на боевую передовую и ни на вот столько не считается с тем, что позиция, мнение и точка зрения, вызывающие несогласие, высказываются не безличной газетой или радиопередачей, а живым человеком. Чуть ли не каждая реплика в обыкновенном разговоре становится заявлением, чуть ли не каждое заявление ультиматумом. Начать с того, что не любить или хотя бы недолюбливать Израиль у тебя нет права. Первая записка, которую я получил после чтения стихов, была «Что для вас Святая Земля?» Мое счастье, что я обожаю Израиль и мне не нужно было ничего выдумывать, и мой ответ аудитория приняла благосклонно. «Неприменно погуляйте по ортодоксальному кварталу Меа Шеарим, но жена обязательно в чулках, ни в коем случае не в брюках, платье чем ниже, тем лучше, рукава закрывают локоть, да и голову неплохо бы покрыть», — наставляли самые разные люди, разделяющие и не разделяющие эту строгость. А если бы и не наставляли, то наставили бы плакаты, висящие через каждые не знаю сколько метров. «А то?..» «А то могут и камушками забросать».

20. Арабы не требуют, чтобы ты любил ту часть страны, на которой живут они, — они требуют, чтобы ты через нее не ходил. (Исключение — улочки с рядами их лавок в Старом Городе.) Что, понятное дело, затрудняет сбор путевых впечатлений. В принципе «отскочить» может и беспечному путешественнику, собирающему наблюдения для заметок и забредающему в их кварталы. Иногда такой квартал разрезает два еврейских на пятьдесят метров, но знающие люди уверяют, что крюк в полкилометра может оказаться короче. Прийти к выводу, что арабы как эмпирически, так и экспериментально стерли библейское различие между временем собирать и временем разбрасывать камни, можно, и не приезжая в Израиль, а просто заглядывая иногда у себя дома в телевизор. Евреи не то чтобы заинтересованнее в тебе, но радушнее. Однако вот и у них есть, скажем так, негостеприимные зоны.

21. За пунктами 17, 18, 19 и 20 стоит то неоспариваемое, а значит, и необсуждаемое положение вещей, при котором любая мягкость — характера, тона, позиции — чревата немедленной расплатой. «Это вам там в Москве, в Париже, в Сан-Франциско хорошо говорить, что мы здесь жестоковыйные, и за наш счет строить умозрительные концепции. А мы здесь живем, в нас стреляют, нас взрывают, нашу страну стирают с географических карт». Ответить нечего, только сочувственно промолчать. Но и руку с пером, занесенную над бумагой или без пера над клавиатурой компьютера, при этом опять-таки, согласитесь, парализует.

22. Помимо всего этого, полно русских. Пляж Эйн Геди на берегу Мертвого моря: четыре араба, один сабра (живущий тут в палатке круглый год), полдюжины немцев, американская пожилая пара (дама — черная) — и сто говорящих по-русски, уже местных. Покачиваются поплавками над сюрреалистическим маслянистым простором соли. Мажутся на берегу целебной грязью. «Ты посмотри, это же Клондайк, это же привезти в Тель-Авив и продать... В Тель-Авиве мешок этого добра стоит пятьдесят шекелей». — «Пятьдесят?! Шекелей?! *Издательство*». Резекне, Слуцк, Бельцы, Винница, Ростов-на-Дону — карта СССР. Не за этим же лететь четыре часа над Кипром и Турцией. Температура в десять утра 39 градусов Цельсия — в информации сказали. В одиннадцать заходишь, в двенадцать — 39, говорит пожилая информаторша по-английски, 102 по Фаренгейту. Прибавляет: в тени. У нее кондиционер, почему и интересуешься так часто. В два: «Поздравляю вас — сорок! Можете телеграфировать в свою Одессу: у них сорок, в тени». А ведь говорил с ней по-английски, не без оксфордского акцента.

23. Правда, есть вид путешествия по этой стране, о котором худо-бедно заметку можно написать. Паломничество. Путешествие, тоже тысячи раз описанное и тем не менее для каждого паломника открывающееся еще одним — во-

первых, потому что индивидуальным, во-вторых, потому что конкретно сегодняшним — нюансом. Однако это скорее путешествие *из* Израиля. Из Израиля в место, про которое заведомо знаешь, что оно такое. Знаешь, *что* и даже *как* увидеть. Где стать на колени, какой камень поцеловать, какими словами помолиться. Вход в любую здешнюю церковь — православную, католическую, англиканскую — это путешествие в Москву, в Рим, в Лондон. Но *там* этим церквям нет замены, а здесь они инкрустации к существующему помимо них наглядному пространству Бога. В сравнении с подлинностью и невместимой полнотой святости места вокруг они парадоксальным образом выглядят как разновидность разбросанных по миру синагог, вынужденно замещающих Храм. Это для христиан. И, само собой, для евреев из других стран.

24. Я сказал знакомому писателю, он живет в Иерусалиме: «Я думаю про вашу прозу то-то, се-то и вот это. Про вот это, может, и лишнее, но зато здесь вам так не скажут». Он ответил: «Вы не всех здесь знаете». Это правда: знаешь не всех, а пишешь, как будто всех.

25. Мой ответ на записку «Что для Вас Святая Земля?» был: когда в Москве я воображал свою поездку сюда, мне никак не удавалось допустить мысль, что *я* — окажусь, буду ходить и стоять — *в Иерусалиме*. И когда прилетел, то именно так и вышло. Я оказался здесь, ходил и стоял — физически. Но метафизически земля, *святая*, и *я*, такой, какой есть, так и оставались в разных измерениях. Как это опишешь?

26. Вчера все эти пункты писались и читались иначе и завтра опять изменятся. Не слова, а содержание тех же самых слов. До очередного обстрела Гило, до очередного взрыва, до ответных действий оно — одно, после — другое. Мгновенно меняется атмосфера: сию секунду не до шуток, через секунду не до глубокомыслия. Когда ты *там*, эти колебания улавливаются столь же мгновенно. Но стоит самолету набрать высоту и развернуться на север в Москву, на запад в Нью-Йорк, словом, куда-то *оттуда*, и ты уже не знаешь, что можно сказать об этом месте, чего нельзя. Нет лиц, в которых с прецизионной точностью отражается твое лицо — которые так же отражаются в твоём. Нет говора людей, который не дает твоей интонации фальшивить. Нет тебя — почувствовать собственную бестактность. И это, может быть, главная причина, по которой непонятно, как писать путевые заметки о том, что осталось там на земле.

Итого, 26. Можно и больше, но ограничусь 26-ю: 365 дней года, минус 248 частей тела, плюс 12 колен израилевых, минус 73 года советского режима, плюс 48 вдохов-выдохов в минуту при быстром подъеме на гору Мориа, и все это деленное на дважды два четыре.

Май 2001



Валерий ШУБИНСКИЙ

Неразлучные понятия

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ТАЙНЫЕ СЛУЖБЫ:
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

У Пушкина есть три относящихся к разным годам достаточно известных текста, сопоставление которых приводит к очень любопытным выводам.

Первый — дневниковая запись 1827 года о встрече на станции Боровичи.

«...Подъехали четыре тройки с фельдъегерем. “Вероятно, поляки?” — сказал я хозяйке. “Да,— отвечала она,— их нынче отвозят назад”. Я вышел взглянуть на них.

Один из арестантов стоял, оперишь у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородой, во фризовой шинели — с виду настоящий жид — я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я повернулся им спиною, думая, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений. Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера».

То обстоятельство, что Пушкин принял Кюхельбекера за «жида», уже привлекало внимание историков и писателей (см., например, «Зорователь» Юрия Давыдова, где эта случайность служит поводом для сложной культурной метафоры: в традициях цветастого романтического отождествления «поэта» с «жидом»). Не менее интересно другое: почему, собственно, эти понятия были для Пушкина так уж неразлучны? В традиционном антисемитском мифе, во всяком случае, такого отождествления нет. Есть *Иуда-предатель*, *Иуда-доносчик*; именно в качестве доносчика «презренный еврей» выступает в «Черной шали». «Доносчик» (человек, по своей инициативе злоупотребляющий доверием друзей и знакомых) — это одно, а *шпион* (профессиональный добытчик информации) — уже несколько другое. Кстати, отношение Пушкина к доносчикам было не таким уж однозначным: в «Полтаве» донос Кочубея на Мазепу оправдывается, — между тем генеральным судьей движут даже не верноподданнические чувства, а личная месть (ср. в «Родрике»: «Граф за личную обиду мстить решился королю. Дочь его Родрик похитил, обесчестил древний род...» — т. е. национальный злодей Испании, граф Юлиан, призвавший в страну мавров, в некоторых отношениях уподоблен Кочубею). Об отношении же к «шпиону» достаточно свидетельствует само отождествление понятий шпиона и «жида». «Жиду» приписывались качества, осуждаемые в христианском мире, евреям оставались профессия, презренные для христианина (скажем, ростовщичество).

Однако были ли в России того времени на самом деле еврей-шпионы и каким именно шпионажем они занимались? Тынянов в «Кюхле» заставляет Пушкина принять Кюхельбекера не вообще за «жида», а за конкретного полицейского агента — выкреста Фогеля. Но трудно представить себе Фогеля, при Милорадовиче фактического главу петербургской полиции, разгуливающего с *черной бородой*, во *фризовой шинели* среди арестантов. Да и как Пушкин мог принять Кюхлю за Фогеля, с которым никогда лично не встречался?.. Тогда что же стоит за пушкинским высказыванием?

Напомним, что с 1762-го (упразднение Тайной канцелярии) по 1826 год в России не было тайной полиции как отдельного ведомства. При Екатерине существовала Тайная экспедиция при Сенате, возглавляемая знаменитым Шешковским. При Александре I была создана Особая канцелярия при Министерстве полиции, затем переименованная в Министерство внутренних дел. Таким образом, политический сыск

и «обычная», уголовная полиция были формально объединены. Полицейские агенты вербовались поначалу среди деклассированных элементов (хотя были, разумеется, элитные агенты и провокаторы по призванию, вроде Шервуда, Медокса или того же Фогеля). Нет никаких свидетельств о наличии среди них сколько-нибудь значительного количества евреев. В деле декабристов зафиксирован донос лишь одного еврея — некоего Шлемы Козлинского, вовсе не профессионала, а незадачливого доброхота, неправильно истолковавшего разговор двух соседей-помещиков. Его показания были оставлены без внимания.

Еврей-шпионы использовались, однако, в другой области — в действующей армии во время войны. См. «Сашку» (1835) Лермонтова; речь, напомним, идет о любви-нице героя:

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие тогда сказали: «Жалкой,
Несчастный жид — он умер не под палкой!»

Лермонтов точно угадывает противоречие — человек, служащий в русской армии, гибнет при исполнении обязанностей, от пули — куда уж почетнее! А между тем эта смерть кажется «многим» позорнее смерти «под палкой». Евреев нанимали «лазутчиками» потому, что они знали языки, потому, что еврейское население Польши в целом лояльнее относилось к русским, чем поляки¹, но и потому, что военная разведка считалась в то время занятием постыдным. Это предубеждение было очень живуче. Автор сочинения «Тайная разведка (военное шпионство)» (1892) полковник Генштаба В. Н. Клембовский, словно оправдываясь перед читателем, пишет: *«Вероятно, найдутся лица, которые скажут: “Как можно писать о столь позорном деле, как шпионство! Как можно проповедовать его!” Почему же нет?.. Ведь в военное время начальник всякого самостоятельного отряда сочтет себя не только вправе, но и обязанным пользоваться услугами лазутчиков, даже в том случае, если он не будет сочувствовать его ремеслу... Да и само шпионство не так позорно, как может показаться с первого взгляда... Могут быть случаи, когда деятельность лазутчика не включает в себе ничего преступного, и скажем даже больше — достойна поощрения».* Разделяя шпионов на преданных делу профессионалов на постоянном жалованье, идейных энтузиастов и т. д., полковник, однако, выделяет особую категорию *«плохих шпионов»*, к которым следует относиться с недоверием: *«Часто шпионируют люди низких нравственных качеств, обремененные долгами, бедные евреи и вообще подонки общества. Приманкой для них служат исключительно деньги».* «Неразлучные понятия» разлучаются. «Жид» («бедный еврей», «подонок общества») — теперь не вообще всякий военный разведчик, а плохой разведчик, лжеразведчик, корыстный дилетант. Но, как видим, военная разведка как таковая еще в конце XIX века нуждалась в оправдании. Клембовский подчеркивает, что именно из-за предрассудков во Франции в 1815—1871 годы вообще не было военной разведки, что ослабило ее армию.

Речь идет только о тайной разведке — участие в разведке кавалерийской, осуществляющейся на виду у неприятеля и, по существу, «дразнящей» его, было, напротив, знаком молодечества и лихости. Брюссельская декларация 1874 года, принятая по инициативе России и посвященная «правилам войны», подчеркивает: *«Военные, проникшие в пределы действия неприятельской армии с целью реквизиции, не могут быть рассматриваемы как шпионы, если только они находятся в присвоенной им одежде».* Из числа «шпионов» исключались также разведчики-воздухоплаватели (видимо, из чисто романтического пиетета перед технической новинкой).

Итак, военный не является шпионом (а значит, подпадает под действие соглашений о военнопленных), если он одет в форму своей армии. Не случайно форма XIX века (в противоположность хаки, появившемуся во время англо-бурской войны 1899—1902 годов и тем более современному пятнистому камуфляжу) создавалась с таким расчетом, чтобы сделать солдата и офицера на поле боя более заметным: высокие кивера, золоченые погоны и эполеты. Если война для многих в те времена — театр (само выражение «театр боевых действий» восходит к этой эпохе), то военный

¹ Но это как раз не вполне относится к событиям 1794—1795 годов, о которых говорит Лермонтов. Костюшко обещал евреям равноправие, и еврейский отряд во главе с Береком Йоселевичем активно участвовал в его восстании.

человек в форме — это актер в сценическом костюме. Здесь сказались и традиции феодализма с его гипертрофией церемониального начала и в особенности эстетика ампира, когда, по словам Лотмана, «*театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей*» («Беседы о русской культуре»). С этой театрализацией жизни связано и непонятное нам увлечение русских императоров (от Петра III до Николая I) «фрунтом». (Лотман прямо сравнивает парад с балетом.) Военные доблести и корпоративная этика присущи офицеру, пока он «играет» офицера; утрата роли могла привести к полной деморализации. Пример тому — скажем, поведение А. С. Фигнера, который в бытность партизанским командиром хладнокровно и даже с удовольствием, без всякой военной необходимости убивал пленных (пленных *французов*, европейцев, братьев по цивилизации — старших братьев!). Невозможность красоваться перед строем в соответствующих чину эполетах, необходимость хитрить, обманывать врага, а иногда и своих, одеваться по-крестьянски или во вражеский мундир, *ходя в разведку* (именно такими разведывательными ходками в расположение наполеоновских войск и прославился Фигнер), ломала личность, разрушала всю воссанную с молоком этическую систему. Понятно, почему в разведку посылали «жидов». Отсюда и «неразлучные понятия»².

Понятие «шпионства» включало любую тайную службу, в том числе заграничную. Такая служба рассматривалась как не только презренная (настолько же презренная, насколько почетно открытое, публичное служение Государю и Отечеству), но и преступная, заслуживающая любого наказания, вплоть до смерти. Поэтому неудивительно, что декабристы — настроенные в большинстве своем достаточно националистически — восхитались Зандом, немецким патриотом, убившим агента *русского* правительства — писателя Августа Коцебу. (Стоит отметить, что внешней разведки как таковой в александровскую эпоху еще не существовало. Начиная с николаевского времени секретные поручения, связанные главным образом с наблюдением за эмигрантами, т. е. с внутриполитическими делами, давались дипломатам. Серьезная разведдеятельность на уровне Генерального штаба началась лишь в следующее царствование.)

В приведенном выше отрывке Пушкин как будто не делает различия между военным «шпионством» и политическим сыском. Но в 1830 году он пишет эпиграмму на Фаддея Булгарина:

Не то беда, что ты поляк —
Костюшко лях, Мицкевич лях.
По мне, да будь ты хоть татарин;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Эту эпиграмму часто цитируют в контексте национальных фобий той поры. Но она имеет и второй смысл.

Едва ли стоит напоминать, что поляки в это время — первые и злейшие враги империи. Костюшко — вождь восстания против русских, Мицкевич — бард антирусского движения. Но это враги честные, открытые — рыцари, аристократы. Быть их соплеменником почетно, Булгарин этой чести недостоин. Однако он (незванный гость в российской словесности!) хуже и «татарина» (дикаря, варвара), и «жида» (ростовщика, корыстолюбца и — шпиона). Он — Видок. Его деятельность хуже военного шпионажа (тоже презренного, но в несколько меньшей степени).

Однако кто такой реальный Эжен-Мари Видок (1775—1857)? Это — заслуженный криминальный полицейский, в больших чинах (начальник парижской охранной полиции). В прошлом Видок — уголовник (исправившийся и раскаявшийся), но если такого типа герой кажется чрезвычайно романтичным и большинству современной публики (капитан Жеглов), то уж тем более в пушкинскую эпоху, с ее культом «благородных разбойников», преступное прошлое не столько компрометировало чело-

² Конечно, утрата общественно-церемониальной роли не всегда вела к разрушению личности. Противоположных примеров больше — и Денис Давыдов, который в том же положении, что и Фигнер, вел себя совершенно иначе, и в особенности декабристы на каторге и в ссылке. Но здесь происходила, думается, простая замена одной «роли» другой. Давыдов, в мирные дни игравший лихого «гусара», в дни войны играет идеального «партизана-казака», каким он мог быть представлен в патриотической мелодраме. В обоих случаях он сам — и драматург, и режиссер, и исполнитель главных ролей. Общеизвестна история Сергея Волконского, который в Сибири ходил в крестьянской одежде и не интересовался ничем, кроме сельского хозяйства, а вернувшись из ссылки, переоделся во фрак, вспомнил французский язык и напроочь утратил свои крестьянские интересы. С другой стороны, не для всех эта смена ролей оказалась легкой. Многие сыльные декабристы (кн. Ф. Шаховской, А. Юшневский, А. Борисов, П. Бестужев) в конечном итоге сошли с ума.

века, сколько придавало ему дополнительную эффектность и красочность. Видок — красавец атлетического сложения, человек большой личной храбрости, участник множества дуэлей (что должно было особенно импонировать Пушкину). Все это можно почерпнуть из его мемуаров, которые Пушкин отрецензировал (есть основания подозревать) не читая.

«Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного... Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей... Он с удивительной наглостью толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может быть ему дозволен...» («О записках Видока»).

На самом деле Видок был принят в хорошем обществе (например, в салоне барона Мешена), а о жене его в мемуарах вообще ничего не говорится. Но нужды нет: ведь на самом деле весь текст не о Видоке, а о Булгарине. Последнее, пожалуй, впечатляет еще больше. Сравнение с начальником парижской полиции используется, чтобы *оскорбить* русского литератора сомнительной репутации. (Булгарин, кстати, если уж на то пошло, — не шпион, а *доносчик*. Его никто не нанимал в III Отделение, никто не давал ему поручений — он сам, добровольно, является с соответствующим докладом, чтобы, к примеру, устроить журналиста-конкурента. Похоже, однако, что к 1830 годам эти понятия слились. Но как быть с генеральным судьей Кочубеем? Лучше ли он Булгарина? Как бы отнесся Пушкин к офицеру, оскорбленному, положим, Пестелем и вместо вызова на дуэль написавшему искренний и правдивый донос на Южное общество? Чем отличается Кочубей от этого офицера?)

Полицейская служба — любая полицейская служба — настолько в глазах Пушкина и его современников постыдна, настолько недостойна человека из «хорошего общества», что даже «жид-шпион» (военный шпион, лазутчик) в их представлении выше полицейского, сыщика, донсочика-профессионала, состоящего на жалованье³. Стоит напомнить, что речь идет и об уголовном, а не только о политическом сыске. Вообще всякая служба, связанная с уголовными делами и предусматривающая сотрудничество с подонками общества, считалась позорной и «не дворянской». Поступок Ивана Пущина, пошедшего в надворные судьи, рассматривался как скандал, как демонстрация, как подвиг самопожертвования (*«Ты освятил тобой избранный сан»*). «Освятить» сан полицейского было невозможно. (Разумеется, эта брезгливость имела свои пределы: министр внутренних дел Кочубей, потомок «(мало)российского графа Юлиана», был человеком уважаемым и принадлежащим к самым верхам высшего общества.)

Итак, полицейская служба позорна, даже когда публична. Всякая тайная служба тоже позорна (военная — в несколько меньшей степени, сыская — в несколько большей). Но участие в тайном заговоре не позорит дворянина, поскольку оно освящено традицией — и общекультурной (заговорщик ощущал себя наследником Брута и Кассия), и бытовой (память об «эпохе дворцовых переворотов»). Лунин, надменно замечаящий, что он не участвовал «ни в заговорах, достойных рабов, ни в бунтах, достойных черни», во-первых, выглядит в своем поколении белой вороной, во-вторых, попросту кривит душой (поскольку в действительности он состоял в тайном обществе)⁴.

В этой обстановке в 1826 году были учреждены III Отделение собственной его императорского величества канцелярии и состоящий при оном Корпус жандармов.

Накануне вступления в должность еще сравнительно молодой (34 года) офицер Леонтий Васильевич Дубельт пишет жене замечательное письмо (привлекшее внимание многих историков — от И. М. Троицкого до Н. Я. Эйдельмана): *«Не будь жандарм» — говоришь ты: Но понимаешь ли ты... существо дела. Если я, вступая в Корпус Жандармов, сделаюсь донсочиком, наушником, тогда добро имя мое будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся к внутренней полиции, буду опорой бедных, защитой несчастных, если я буду, действуя открыто, оказывать справедливость угнетенным, тогда чем ты назовешь меня?»*

Будущий начальник Корпуса жандармов уверяет жену, что будет *действовать открыто* (что противоречит самой сути его будущей службы). Он хорошо понима-

³ Кстати, если уж на то пошло, во Франции как раз были евреи — полицейские сыщики, например, некто Гафре, одно время начальник и соперник Видока, тоже из раскаявшихся уголовников.

⁴ Отношение к заговорам как таковым не зависело даже от политических убеждений. Волынский, заговорщик против Бирона, был героем и в глазах радикальных республиканцев, и в глазах глубочайших консерваторов.

ет, что в противном случае ему придется распротиться с репутацией и местом в обществе. Разумеется, вся приведенная выше риторика служила не только для успокоения совестливых жен, но — в первую очередь — для привлечения к секретной службе «приличных людей», дворян, офицеров, людей образованных, дорожащих своим именем. В дальнейшем уже одно наличие таких людей на этой службе способствует ее реабилитации или по крайней мере повышению ее престижа. Раньше «шпионов» презирали, теперь «жандармов» боятся, иногда ненавидят — но не презирают (не смотря на процветающую в их среде коррупцию). Разумеется, III Отделение соперничало с МВД так же, как позднее ведомство Андропова с ведомством Щелокова, и это соперничество сказалось, например, на расследовании дела о кружке Петрашевского (см.: И. М. Троицкий. Тайная полиция при Николае I). Но сама общественная реабилитация сыскной деятельности состоялась. Спустя десять лет после смерти Пушкина И. П. Липранди, прототип Сильвио, не гнушался служить в МВД, впрямую уподобляясь Видоку (и руководить как раз расследованием дела Петрашевского).

Приход людей из светского общества в сыскное ведомство сделал возможным новый, «семейный» стиль обращения с обвиняемыми. Стиль этот высмеян А. К. Толстым в «Сне Попова»: *«Я в те года, когда мы ездим в свет, знал вашу мать — она была святая...»* Это место связывают с реальным эпизодом: во время суда над петрашевцами Я. И. Ростовцев точно так же напомнил одному из обвиняемых о знакомстве с его отцом. Ростовцев лично не служил в III Отделении, хотя в некоторых отношениях именно его личность особенно символична. Член Северного общества, он накануне 14 декабря пишет Николаю I донос очень двусмысленного содержания, предупреждая обо всех возможных смутах, кроме действительно назревающей. Как убедительно показал Я. А. Гордин («Мятеж реформаторов»), это был отчаянный ход группы декабристов (Штейнгеля, Батенькова и др.), не веривших в успех рылевской авантюры и пытавшихся таким образом сорвать присягу, а с ней и неподготовленное восстание. Но отчего-то император принял «верность» юного Ростовцева очень близко к сердцу, и в то время, как Штейнгель отправился на каторгу, а Батеньков — в одиночное заключение, тот сделал блистательную карьеру. Финал особенно знаменателен: кто был автором манифеста 19 февраля 1861 года? — ну конечно, бывший декабрист и николаевский сановник Яков Ростовцев... Но ведь и Леонтий Дубельт был связан с «Союзом благоденствия», а в III Отделение он упорно (хотя и безуспешно) вербовал своего друга Михаила Орлова; идея же освобождения крестьян во многом вызрела именно в недрах III Отделения (хорошо информированного об экономическом положении страны и о настроениях крестьян). Такое парадоксальное родство охранного ведомства и освободительного движения (тайное и оскорбительное для обеих сторон) проявлялось в разных формах — вплоть до крайне скандальных (дело Судейкина-Дегаева; напомним: речь идет о далеко идущих частных договоренностях шефа охранки и лидера «Народной воли» в 1882—1883 годах).

Конечно, высокомерие сохранялось, в том числе и среди самих сыщиков. Но объектом презрительного отношения были уже не профессионалы, а те, кого позднее, в КГБ СССР, называли «помощниками». Именно услуги внештатных сотрудников по распоряжению Дубельта оплачивались (как гласит предание) суммами, кратными 30, — намек на сребреники Иуды. Следы феодальной этики, так красочно проявившейся в пушкинских текстах и во всем отношении дворянского общества к полицейским и «шпионам», не чужды были, как видим, и самой тайной полиции. (Во Франции отношение к внештатным полицейским агентам также было крайне презрительным и недоверчивым. По свидетельству Видока, на них первых падало обвинение при всех нерасследованных преступлениях.) В результате, кстати, деятельность III Отделения оказывалась менее эффективной, чем можно было ожидать. В штате открыто и публично служили «порядочные люди», но информация-то поступала от агентов, а они, *«слонявшиеся по рынкам и трактирам и редко-редко попадавшие в дома так называемого “приличного общества”, могли поставить только материалы “слухов и толков”*» (Троицкий).

Как только Николай I умер, эти рецидивы феодальной гордыни вырвались из-под спуда, соединившись с демократическим свободолобием, и породили этику интеллигенции второй половины XIX века.

Наиболее колоритный (чтобы не сказать больше) характер приобрела эта этика в связи с революционным террором, принявшим начиная с 1870 годов массовые формы. Примером могут служить два эпизода, героями которых являются два великих русских писателя. Первый (весьма известный) носит характер драматический; второй (куда менее прославленный) — скорее комический, но оттого еще более дикий.

Первый — разговор с Достоевским, зафиксированный в дневнике Суворина.

«...Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим...»

— *Представьте себе,— говорил он,— что мы с вами стоим у магазина Доницетти. Около нас стоит человек... К нему подходит другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции? Вы пошли бы?*

— *Нет, я не пошел бы.*

— *И я бы не пошел».*

Итак, знаменитый писатель и преуспевающий, богатый издатель, оба — люди консервативных взглядов, абсолютно лояльные к власти и враждебно относящиеся к революции, не считают возможным донести на левых террористов и тем предотвратить преступление! Почему? Достоевский просто отвечает на этот вопрос:

«Я обдумал причины, которые мне не позволили бы это сделать. Эти причины прямо ничтожны. Просто — боязнь прослыть доносчиком».

Таким образом, корпоративная этика русской интеллигенции с неизбежностью заставляет любого ее представителя совершить действия, преступные по нормам и законам любого общества: недонесение о преступлении (об убийстве!), укрывательство убийц, фактически — соучастие в их деяниях.

Достоевский не совершает этого преступления, он только понимает, что не мог бы его не совершить. Впрочем, биограф писателя И. Волгин связывает этот разговор с реальной коллизией: в доме, где жил Достоевский, находилась народовольческая конспиративная квартира, и он мог об этом обстоятельстве по крайней мере догадываться. Но вот история о другом классике, на сей раз — забавная. Цитирую мемуары В. А. Гиляровского:

«Как-то часу в седьмом вечера, Великим Постом, мы ехали с Антоном Павловичем <...> ко мне чай пить. <...> Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз (соленый. — В. Ш.), завернутый в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. <...> Чехов стал ругаться — мокрые руки замерзли. Я взял арбуз у Чехова. Действительно, держать в руках арбуз было невозможно, а положить некуда. Наконец я сказал, что брошу арбуз.

— *Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест.*

— *Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе.*

Городовой, видя мою форменную фуражку, вытянулся во фрунт.

— *На, держи, только остр...*

Я не успел договорить «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

— *Осторожнее, это бомба... неси ее в участок... <...>*

На другой день я узнал подробности всего, вслед за тем происшедшего. Городовой с «бомбой» в руках торопливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных. <...>

Городовой вошел в дежурку, доложил околоточному, что два агента охранного отделения, один из которых был в форме, приказали ему отнести «бомбу». Околоточный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами <...>

В это время во двор въехали пожарные, <...>, узнали в чем дело, и старик брендмейстер, казак Беспалов <...> несмотря на предупреждение об опасности не правился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру».

Действия, которые совершил бы Достоевский, не донеся о теракте, современным Уголовным кодексом классифицируются как укрывательство (статья 316) и караются лишением свободы на срок до двух лет или штрафом в пятьсот минимальных окладов; действия, совершенные Чеховым, подпадают под статью 207 — «заведомо ложное сообщение о террористическом акте» и караются лишением свободы на срок до трех лет. Конечно, тогдашнее Уложение о наказаниях подобных правонарушений не предусматривало, да и особенно серьезных последствий чеховская шутка не имела. Однако и действия героя рассказа «Злоумышленник» не успели привести к крушению; Чехов, впрочем, даже не нуждался в грузилах для рыбалки — ему про-

сто забавно было беззлобно подшутить над этими презренными людишками — городовым, околоточным, агентами и т. д. Это легкомыслие было одним из полюсов допустимого для интеллигента отношения к вопросу. Другим было безусловное сочувствие террористам. Двадцать лет спустя после этого эпизода фракция конституционных демократов в I Думе (в собственной практике эта партия, как известно, не допускала насилия) систематически срывала принятие резолюции, осуждающей террор. О позиции интеллектуальной элиты дает представление письмо Блока к Розанову (1909): *«Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или Игнатъев. Но, однако <...>, так чудовищно неравенство положений, что я сейчас не осужу террора. Как я могу осудить террор, когда я ясно вижу: <...> 1. Революционеры <...> убивают как истинные герои <...> без малейшей корысти, малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни, 2. Правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, ни в чем не повинных и падающих в обморок офицеров <...>, бледнолицых солдат и геморроидальных “чинов гражданского ведомства” — посылает “расстрелять”, “повесить”, “присутствовать при исполнении смертного приговора”». В то время как одни не прочь были, сами оставаясь непричастными к террору, использовать его как механизм давления на власть, другими двигал эстетизм нищенского пошиба.*

Власть сама в известной мере была виновата в сложившейся ситуации. Дело не только в страхе перед гражданскими свободами, в тупом преследовании либералов, которые, естественно, проникались симпатией к товарищам по несчастью и в дальнейшем видели в революционерах своих союзников (сам Милкоков смолоду побывал в ссылке). Не менее важно другое: уголовная и процессуальная система империи ставила революционеров в исключительное положение. К ним (только и исключительно к ним!) применялась смертная казнь. Начиная с 1878 года (после дела Засулич) их не судили судом присяжных. Только революционеров касалась и такая явно незаконная мера пресечения, как административная ссылка. Вместе с тем в некоторых отношениях положение «политических» было привилегированным: например, не допускалось применение к ним телесных наказаний (случаи нарушения этого запрета были единичными и вызвали бурный общественный резонанс). Выразительнейший пример: в 1905 году к А. В. Герасимову, начальнику Санкт-Петербургского отделения «охранки», обратились с просьбой поселить в Петербурге несколько десятков верноподданных из низших сословий, которые прибыли в столицу, чтобы участвовать в создании Союза русского народа. По собственному признанию, Герасимов отвел им апартаменты в тюрьме, но заказывать «этому сброду», как арестантам, обед из ресторана за тридцать в день у него не поднялась рука: на прокорм верноподданных в день давали тридцать копеек. Будущие черносотенцы оставались «простонародьем», тогда как политический заключенный, из какого бы сословия он ни происходил, автоматически становился «благородным» (это, конечно, был атавизм, вызванный памятью о временах, когда все «политические» принадлежали к высшим сословиям). Для многих рабочих, крестьян, мещан участие в революции было способом повысить свой общественный статус. Поведение власти по отношению к революционерам давало им повод считать себя не арестованными правонарушителями, а военнопленными.

В результате схватки между полицией и революцией общество воспринимало не как борьбу законной (пусть и несимпатичной) власти с разбойниками (пусть и благородными), а как конфликт двух равноправных сил, в котором каждому позволено самостоятельно делать свой выбор. Насилие «по приговору» революционной партии и по приговору военно-полевого суда оказывалось одинаково легитимным (или одинаково нелегитимным)⁵. И поскольку революционеры могли декларировать высокие идеалы (благо, они еще не прошли испытания практическим воплощением), а го-

⁵ Понятно, что самый суровый полевой суд при вынесении приговора руководствовался определенными правовыми критериями — пусть чрезвычайными; революционное же правосознание не знало в этих вопросах удержу. Так, благородный Каляев в числе оснований для убийства великого князя Сергея Александровича называет «закрытие просветительских обществ» и «попытки политического подкупа рабочего класса». Несколько месяцев спустя, во второй половине 1905 г., для т. н. «безмотивников» достаточным основанием для убийства явится принадлежность к полиции, администрации, «господствующим классам» и т. д. Всего в 1894—1917 гг. революционерами было убито и ранено, по подсчетам А. Гельфанд («Революционный террор в России, 1894—1917», М., 1997) около 17 000 человек. С другой стороны, в 1905—1909 гг. к смертной казни было приговорено 4965 политических преступников, но не все приговоры были приведены в исполнение.

сударство — лишь сохранение несовершенного status quo, оно, разумеется, заведомо проигрывало в этом споре. Но и те, кто не склонен был сочувствовать революции, к любой *тайной* охранительной деятельности относились суровее, чем к тайной деятельности революционной. Этика эпохи ампира была жива в подсознании. Революционер, внедрявшийся в Охранное отделение (Клеточников), или охранник, снабжающий информацией революционеров (Бакай), были в глазах интеллигенции героями; их зеркальные двойники — провокаторами, предателями, самыми омерзительными из людей. Двусмысленные ситуации и разоблачения двойных агентов толковались в пользу революционеров и во вред власти. Так, в приведенном выше письме Блока именно правительство «*чавкает азефовскими губами*». Между тем в реальности Азеф был талантливым, но нечестным революционером, предававшим товарищей, и талантливым, но неверным агентом, обманывавшим охранку. Его отношения с обеими сторонами были совершенно симметричны⁶.

Власть вопреки собственным интересам делала все, чтобы революционеры были в общественном сознании отделены от уголовников (хотя на самом-то деле как раз в 1905—1907 годы это, первоначально несомненное, отличие стало стираться — бесчисленные «экспроприаторы», в том числе состоящие на службе у приличных, представленных в Думе партий, и тем более члены мелких террористических групп уже вплотную соприкасались с бытовой уголовщиной). Но она ничего не делала, чтобы отделить тайный политический сыск от других своих функций. В 1860 годы, особенно после судебной реформы, отношение в обществе к следственной деятельности, к гражданской полиции, к суду стало мало-помалу меняться: примеров тому достаточно, в том числе и в классической литературе. Но в 1880 году III Отделение было упразднено, а политический сыск был подчинен МВД, при котором было создано Охранное отделение. В борьбе не только с террористами, но и с агитаторами и т. д. участвовала и гражданская полиция; при подавлении крестьянских волнений использовались войска; демонстрации разгонялись казаками. В результате сидящая в подсознании у любого русского интеллигента ненависть к тайной полиции распространялась и на полицию «обычную», и на суд, и на армию, и на казаков как сословие — в конечном итоге на все государственные институты. Чем дальше, тем легитимнее в глазах общества становилась тайная и публичная насильственная деятельность революционеров — и тем нелегитимнее оказывались не только тайные, но и публичные инструменты государственной власти.

Плоды этой легитимизации/делигитимизации сказались уже после 1917 года. При оценке восприятия современниками ленинского революционного террора необходимо учитывать важную подробность: в их глазах он был прежде всего *красным* террором, «солдаты Дзержинского» были преемниками народовольцев, а не охранников, «казнь» Николая II была продолжением «казни» Александра II. Даже враги обычно видели в злодействах ЧК пароксизмы революционного насилия, а не возрождение политической полиции. Противоположные оценки относятся, как правило, к более позднему времени. Отсюда невероятная романтизация чекистов — романтизация, которой поддавались даже не сочувствовавшие советской власти люди. Гумилев, польщенный восторгами Блюмкина, «*человека силы и действия*», и уважительно пожимающий его руку; юный Стенич, разгуливающий в кожанке и ловящий испуганно-восторженный шепот вслед — «*поэт-чекист!*» И так далее — подобных примеров не счесть. Но если в личностях первых руководителей ЧК-ГПУ (Дзержинского и отчасти Менжинского) были черты трагического и изысканного демонизма, то ни об их подчиненных, ни об их преемниках этого сказать нельзя. Мелкие клерки, недоучки из мешан, «профессионалы» новой формации вроде Левы Задова, переходящие из стана в стан, просто авантюристы — такова среда, в которой совершенно естественно смотрится и нечистый на руку экс-аптекарь Ягода, и коротышка-чиновник, бывший портной с оперным тенором и гомосексуальными наклонностями, сменивший его на посту.

При этом в деятельности ЧК-ГПУ-НКВД, как она воспринималась массовым сознанием 1920—1930-х, практически отсутствовал элемент «тайны». Чекистам приписывалось всеведение, но источники этого всеведения были загадочными, мистическими. Мысль о том, что ЧК пользуется услугами «шпикиков», как бы не допускалась.

⁶ Кстати, именно пример Азефа показывает, как изменились отношения между «шпионом» и его нанимателями. Евно Фишелевич Азеф, несмотря на иудейское вероисповедание, не был «жидом» — это был человек «из общества», почтенный инженер, постоянный и заслуженный агент. Он мог себе позволить высказывать претензии из-за плохой организации работы, на время отказываться от сотрудничества, в частных разговорах с «курировавшим» его Л. А. Ратаевым негодовать против правительства (в связи с Кишиневским погромом) — короче, вести себя с полицией, как оперный тенор со своими антрепренерами. Даже Шервуд никогда не позволил бы себе такого. Так забавно сказывалась на полицейской работе приватизация жизни, автономизация человеческой личности. Кстати, в революционных кругах умный Азеф вел себя немного иначе — хотя тоже мог захандрить, заупрямиться и уйти в длительный отпуск.

И в самом деле в годы гражданской войны, когда террор проводился по простому классовому признаку, особой нужды в «помощниках» не было. Впервые о тайных агентах, о провокации заговорили в связи с до сих пор загадочным таганцевским делом; потом случались даже скандалы, связанные с их разоблачениями или саморазоблачениями (судьба Ивана Приблудного, поэта, одного из прототипов Ивана Бездомного). Но все же постоянных сексотов (как можно предположить по косвенным данным) было — пропорционально к масштабам террора — сравнительно мало. Это вполне компенсировалось добровольным массовым взаимным доношением населения. Часто человек (в том числе литератор), начинавший с инициативного доношения по личным причинам — вполне в болгаринском духе, — постепенно становился профессионалом или полупрофессионалом (пример — известный Н. В. Лесючевский).

Не следует считать, что это доношительство было уделом исключительно негодяев или нравственно «опущенных». Это сильное упрощение. Были психологические механизмы, вовлекавшие в него людей искренних, мужественных, неортодоксально мыслящих. Исторический эпизод, участником которого был один из выдающихся представителей русской интеллигенции второй половины XX века, отчасти раскрывает эти механизмы.

12 октября 1999 года, незадолго до кончины профессора Е. Г. Эткинда, в газете «Московские новости» было напечатано его письмо. В начальных абзацах этого письма излагается следующая история:

«В 1943 г. я был лейтенантом, служил переводчиком в полуправлении Карельского фронта... Случайно мне довелось узнать: начальник нашего Седьмого отдела (отдела по пропаганде среди войск противника) полковник Суомалайнен, по всей видимости, финский агент. Седьмой отдел выпускал регулярную газету на финском языке, газета была в полном распоряжении полковника, который обычно писал передовые. В каждой своей статье он мог, прибегая к шифру, сообщать противнику все, что только финнам нужно было знать. Суомалайнен казался человеком загадочным, всегда молчал, не улыбался, вообще не имел мимики... Такой человек, да еще носивший фамилию, в переводе значащую «финн», вполне мог быть агентом противника, причем агентом высокого ранга, то есть особенно опасным.

Органы внушали мне страх и отвращение, но иностранный агент в должности, которую занимал Суомалайнен, мог погубить тысячи наших людей. Я отправился в Особый отдел...»

Итак, мыслящий, интеллигентный, критически относящийся к власти, со «страхом и отвращением» — к ее карательным органам молодой офицер подозревает сослуживца в шпионаже (на каком основании?.. Если воспринимать письмо Эткинда буквально, получается: на том, что Суомалайнен никогда не улыбался и носил фамилию, означающую «финн») и — *доносит*. Со времени разговора Достоевского и Суворина про магазин Доницетти прошло шестьдесят с небольшим лет. Еще спустя 56 лет тот самый молодой офицер, всемирно знаменитый ученый, старый диссидент, человек, проживший долгую безупречную жизнь, публично объявляет, что *не рассказывает* в совершенном в 1943 году поступке. *«Мое молчание было бы предательством, помощью гитлеровской армии.»*

Суомалайнен оказался сотрудником не финских, а советских спецслужб, точнее — двойным агентом, занимавшимся дезинформацией противника; неприятности случились не у него, а у бдительного Эткинда. Ну а не работой Суомалайнен в «органах»? Будь он просто офицером-политработником? Что ему грозило бы — вышка или лагерь?

На самом деле Эткинд изложил историю несколько конспективно. Судя по «Книге воспоминаний» (1995) историка И. М. Дьяконова (сослуживца Эткинда в 1943 г.), дело обстояло так.

«В штабной столовой Фима познакомился с одним морским офицером <...> Моряк спросил его:

— Это не у вас служит полковник Суомалайнен?

Фима подтвердил это, а затем поинтересовался, какие у него дела могут быть с Суомалайненом. Тот <...> рассказал следующую историю.

У него был роман с милой девушкой, радисткой <...> Но время от времени она покидала его без объяснений на несколько дней, и он заметил, что это всегда совпадает с появлением полковника Суомалайнена <...>. Он стал ревновать. <...> В конце концов она объявила, что расскажет все. И рассказала. Ее завербовала финская разведка. Суомалайнен — финский шпион, который отбирает от нее секретные сведения.

Моряк был сражен. Он очень любил свою девушку, но — шпионка? Его безусловный долг — донести. И он донес. Девушку арестовали. <...> Но однажды, ко-

мандированный в Мурманск, он встретил ее на улице. Это точно была она. Заметив его издали, она перешла на другую сторону улицы. Но она была точно шпионка, по ее же собственному признанию! А что сейчас делает Суомалайнен?»

История морячка и его девушки, кажется, не нуждается в комментариях. Что до Эткинда, то у него, оказывается, были еще какие-то улики, кроме неразговорчивости и странной фамилии политработника-финна. Возможно даже, что он стал жертвой сознательной провокации. Тем не менее — если версия Дьяконова верна во всех подробностях — очевидно другое: Эткинд *знал*, что на Суомалайнена уже поступал донос. Если его тем не менее не арестовали, стало быть, он невиновен: второго доноса не нужно. Но молодой филолог считает необходимым донести еще раз — *для очистки совести*.

Избави нас Бог кого-то судить: мы лишь пытаемся разобраться в причинах столь радикального изменения этических норм⁷. Мы уже говорили о романтизации «карающего меча революции» и красного террора. Такие соображения могли действовать, например, на И. М. Гронского, который в 1934 году, по собственному признанию, донес на кулацкого поэта Н. А. Клюева, совращавшего литературный молодецник в поповщину и педерастию, а позднее, в 1937-м, когда репрессии коснулись «своих», коммунистов, вел себя весьма достойно и мужественно. Но Эткинд даже в 1943-м фанатичным коммунистом не был (хотя, по свидетельству того же Дьяконова, всерьез подумывал о вступлении в партию). Ответ на вопрос дает он сам: идет война с фашизмом, и все, что направлено против Германии и ее союзников, нравственно оправдывается. (Стоит напомнить все же, что Финляндия была не фашистским, а демократическим государством, которое только советская агрессия 1939—1940 годов заставила вступить в союз с Гитлером.) Подобная мутация русского интеллигентского сознания произошла в годы второй мировой войны не только в СССР и затронула самых твердых и неуступчивых либералов. Явно автобиографический герой рассказа Набокова «Conversation piece» (1945), попав в компанию, где ведутся пронацистские разговоры, возвращается домой в убеждении, что один из его собеседников «filthy German agent» и садится писать «письмо» в ФБР. Различие систем и менталитетов проявляется в том, что набоковский герой (и, возможно, сам автор, если рассказ имеет реальный подтекст) останавливается на полпути, понимая сомнительность своих улик. Однако мыслим ли в роли доносчика — на кого бы то ни было, в какой бы то ни было ситуации — скажем, В. Д. Набоков-отец? Едва ли.

Непосредственным поводом для признаний Эткинда в 1999 году были сообщения о связи Вилли Брандта во время второй мировой войны с советской разведкой. С точки зрения Эткинда, если Брандт работал на *нашу* разведку, участвуя таким образом в борьбе с нацизмом, он не предатель, а герой. Мысль об абсолютной симметричности действий Брандта и членов РОА, естественная для людей нашего поколения (основанная на столь же очевидной симметричности гитлеровского и сталинского режимов), для советского фронтовика (каким бы мудрым и свободомыслящим он ни был) невероятна, так же как для западного левого интеллектуала. Есть, однако, принципиальное отличие: Власов и его сподвижники действовали открыто. С точки зрения традиционной этики, о которой шла речь в начале статьи, на имя будущего канцлера Германии падает дополнительная тень, связанная с секретным характером его работы. Но в том-то и дело, что отношение к разведке чудесным образом изменилось на прямо противоположное.

Реабилитация внешней разведки началась с романа Фенимора Купера «Шпион» (1821), но остатки феодальных предрассудков давали о себе знать и через три четверти века. «Шпион» еще ассоциировался с «жидом» — это отождествление скандально проявилось в деле Дрейфуса (1894). Однако положение менялось: Всеволод Крестовский, гвардейский офицер, консерватор (и, между прочим, пламенный антисемит) делает безупречно положительного героя «Петербургских трущоб» бывшим тайным агентом русского правительства на Востоке. В начале XX века разведдеятельностью в Азии профессионально занимался будущий президент той самой страны, которой поставлял «дезу» Суомалайнен, — Карл Маннергейм.

Однако окончательная замена образа грязного «шпиона»-корыстолюбца благородной фигурой джентльмена, выполняющего секретное задание, произошла лишь в 1920 годы — усилиями человека, на редкость успешно мифологизировавшего свою личность и свою жизнь. Этого человека звали Томас Эдвард Лоуренс. Бес-

⁷ Тем более что случай не уникален: в другой главе той же книги Дьяконова сам автор (человек не менее почтенный и заслуженный, чем Эткинд, и с юности недолюбивавший советскую власть) по ходу дела как о чем-то само собой разумеющемся сообщает, что, получив сведения о шпионской деятельности одного из фронтовых сослуживцев, «должил в Особый отдел».

пристрастная биография, написанная в 1954 году Ричардом Олдингтоном, разоблачила многие мифы, но позволила яснее увидеть человеческий бэкграунд «эмира-динамита». Незаконнорожденный и гомосексуалист, он был дважды изгоем в викторианской и эдвардианской Англии, где прошли его детство и юность. Таким образом, это была форма мести буржуазной норме — избрать «презренную» службу и притом заставить империю восхищаться собой, признать тебя национальным героем. Для этой цели Лоуренс прибегал к хвостовству, приписыванию себе чужих лавров, к сознательной мистификации и т. д. Ситуация оказывается еще двусмысленней, если вспомнить, что Лоуренсом в конечном итоге двигали цели хотя и бесспорно идеалистические, но лишь косвенно совпадающие с интересами Британской империи: создание арабского государства от Палестины до Индии, возведение на его престол Хашимитской династии. Автопология романтического авантюриста, поддержанная крупнейшими писателями своего времени (в том числе Бернардом Шоу), сыграла свою роль. Лоуренс был правым (накануне своей гибели в 1935 году он даже сблизился с Мосли), но, если бы не его книги, левые интеллектуалы из Оксфорда — Маклин, Филби и др. — может быть, не так охотно соглашались бы помогать державе победившего социализма в сборе секретной информации⁸.

Во время второй мировой войны и последовавшей за ней войны холодной такая амбивалентность, такой морально-политический релятивизм были уже совершенно невозможны. Грань, отделявшая *нашего разведчика от их шпиона*, стала нерушима. Скажи кто-нибудь нормальному (т. е. правому) американцу 1955 года, что Джеймс Бонд — коллега Фукса и Розенбергов! Что касается СССР, то здесь образ «шпиона» становится одним из ключевых, формирующих общественное сознание. Историки еще посвятят немало страниц исследованию понятия «государственной (военной) тайны» — одного из ключевых в советском мире. Маниакальная склонность засекречивать совершенно невинные и хорошо-известные потенциальному противнику сведения нуждается в каких-то особых объяснениях, выходящих за рамки бытовой логики⁹. Точно так же деятельность «их шпиона» носит совершенно метафизический характер. Не так важно, на какую страну он работает. Обладавшие богатым воображением заключенные признавались в шпионаже в пользу Венесуэлы или Гватемалы — это никого не удивляло, как и приписывание шпионской деятельности бывшим членам Политбюро. Шпион — это существо из «антимира», оборотень, его главное свойство и главная против него улика — способность ничем не отличаться от окружающих. В этом смысле как раз наилучший советский человек, идеально соответствующий стандартам, наиболее подозрителен. Шпион есть шпион по своей метафизической сущности, он может не вести никакой особой шпионской деятельности. Главная тайна — это тайна бытия, экзистенции советского мира. Шпион выведывает ее, проникая в кожу, в образ «нашего человека». Против него — в предельном случае — не может быть никаких рациональных улик, кроме одной — личного признания. (Юстиция по Вышинскому носила прежде всего ритуальный характер. Человек, арестованный «органами», уже по этой причине был виновен; признавшись в преступлении, он лишь совершает символический акт отождествления со своей виной.)

Наоборот, «наш разведчик» открыт и бесстрашен. Он почти не скрывает своей национальности и профессии. Агент 007 с анекдотической прямотой представляется потенциальному противнику. Понятно, что никакая «intelligent servis» при таком стиле поведения невозможна. Но дело «нашего разведчика» — вовсе не разведка, а совершение подвигов (уничтожение драконов, спасение красавиц и т. д.).

Понятно, что для диссидентов внутри обеих систем понятия выворачивались на 180 градусов. В ранней (1955—1958) редакции романа Солженицына «В круге первом», к которой автор позднее вернулся, героизируется советский дипломат, перешедший в «шпионской войне» на сторону противника. В данном случае системы далеко не аналогичны по жестокости и бесчеловечности, и в этом смысле Иннокентий Володин, конечно, не симметричен американскому физику-предателю, которого он пытается выдать службам его государства. Однако обоими движут чисто идейные побуждения (причем почти одни и те же — мечта о всемирном правительстве и т. д.);

⁸ Деятельность Лоуренса *косвенно* все же соответствовала интересам Англии и — шире — Европы, так как он поддерживал умеренные исламские силы против более радикальных (тех самых ваххабитов). Друг Лоуренса, Абдалла I, в конце концов воцарился в Иордании, сейчас там правит его правнук Абдалла II — и это отнюдь не худшая из арабских стран.

⁹ Были случаи, когда по «вражьи голосам» издевательски поздравляли с днем рождения какого-нибудь «секретного генерала». Ракетный полигон Капустин Яр (расположенный под Астраханью) официально именовался «Москва-400», и письма туда направлялись именно по этому адресу. Рассекречен Капустин Яр был лишь после появления романа Артура Кларка, содержащего подробнейшее описание этого таинственного места.

и оба совершают, в сущности, одно и то же деяние, карающееся по законам СССР и США одинаково — смертной казнью. Как ни парадоксально, «подцензурная» редакция 1964 года, где огромная машина НКВД напряженно охотится — за кем же? — за врачом, пытающимся передать за границу открытое им лекарство, — является в известном отношении куда более «антисоветской». Но у нас речь не о творчестве Солженицына и не о его взглядах (продлавших за полвека немалую эволюцию), а о полной невозможности отождествления в 1958 году «нашего разведчика» (представителя сил света) с «их шпионом» (исчадием тьмы). Или наоборот. Между прочим, история Володина, как следует из книги Л. Копелева «Утоли моя печали» (1991), основана на реальном факте, и *реальный* Александр Солженицын 1949 года (в отличие от Глеба Нержина) не подвергал сомнению необходимость охоты за дипломатом-изменником: напротив, он увлеченно и результативно участвовал в исследованиях, причем «создал... ранее не существовавшую научно обоснованную теорию и практическую методику артикуляционных испытаний». Как и молодой Андрей Сахаров, как раз в этот год приехавший в Арзамас-16, не сомневался в необходимости создания советского ядерного оружия. По свидетельству того же Копелева, «мы были согласны в неприятии всяческой американизации — от атомной бомбы до рок-н-ролла и голливудских фильмов». Понятно, что сталинский Советский Союз Копелеву и Солженицыну тоже не нравился — потому они и оказались за колючей проволокой. Но логика холодной войны не позволяла «выйти из игры», занять нейтральную позицию. Можно было лишь психологически «перейти на сторону противника», и именно это — под влиянием лагерного опыта — произошло между 1949-м и 1955 годом с Солженицыным.

Можно точно назвать момент, когда произошел поворот. Это — 1962 год. Можно назвать имя инициатора этого поворота: Вилли Фишер, он же Рудольф Абель. Его роль в реабилитации разведки не меньше, чем Лоуренса. Человек, который при аресте спокойно произнес: «Я — полковник Красной Армии Рудольф Абель и требую, чтобы со мной обращались как с таковым, согласно конвенции о военнопленных», — впервые в мировой истории приравнял профессию разведчика к профессии воина. Тут-то — на сторонний взгляд одномоментно, стремительно! — все и переменялось. На самом деле Абель верно уловил момент: в год после гагаринского полета Америка, даже правая, склонна была уважать русских, в том числе русских шпионов. Однако Абель сумел — что гораздо труднее — навязать свои правила игры и стране, на которую работал. В Америке с Абедем действительно поступили как с военнопленным, но так же поступили и с Пауэрсом, на которого его сменяли, и так же — достойно, уважительно — стали вести себя со всеми иностранными разведчиками. Заслуги «бойцов невидимого фронта» времен второй мировой были признаны. Посмертно наградили Зорге и Маневича, издавали книжечки о разведчиках, которых успел начитать десятилетний в 1962 году Вовочка Путин. Даже более или менее диссидентски настроенные писатели не остались равнодушны к романтике разведывательной деятельности (замечательный рассказ Бориса Вахтина «Портрет незнакомца», 1966).

Место доблестного и глупенького «нашего разведчика» в массовой культуре постепенно занял изощренный секретный агент, чья задача именно в том и состоит, чтобы быть *не собой*. Он ведет честную спортивную борьбу с коллегами-иностранцами, служащими своей стране так же, как он своей. Сцена «обмена» в финале «Мертвого сезона» была символична, почти революционна. Не случайно в начале фильма на экране появляется Абель собственной персоной. Разумеется, это в гораздо большей степени свойственно было той стороне конфликта, которая ощущала себя идеологически слабее, в которой уже начался глобальный кризис сознания.

Давнее любование благородными и интеллигентными белыми офицерами, сидевшее в подсознании советского человека со времен «Дней Турбиных», прорвалось в фильме «Адъютант его превосходительства». Разумеется, самый безупречно-аристократичный белогвардеец — красный разведчик; но как серы, убоги, провинциальны настоящие, не переодетые красные! Еще более амбивалентен любимый фильм советского народа — «Семнадцать мгновений весны». В то время как интеллигенция с удовольствием угадывала в экзотическом Третьем рейхе сквозь изысканную «арийскую» бытовую эстетику знакомые черты — партийные характеристики, спецраспределители, народ, который и представить себе не мог мир без партактивистов и спецраспределителей, млел именно от эстетики, от красивых фашистов. Сразу же после выхода фильма на телеэкраны по всей стране стали раскрывать квазинацистские подростковые «тусовки», чьи лидеры гордо именовали себя «штандартенфюрерами». Образ русского разведчика, работавшего у немцев и ставшего «почти немцем», полюбился многим — можно сказать, что Путин выиграл избирательную кампанию не в 2000 году, а на четверть века раньше.

Эта реабилитация разведки не случайно совпала (на Западе!) с разрешением «еврейского вопроса». Возвращаясь к началу статьи: мы до сих пор намеренно ограничивались позитивистскими, рациональными объяснениями неразлучия «неразлучных понятий». Но возможен и другой путь — так сказать, юнгианский. В сознании европейца с давних времен присутствует архетип «тайного сообщества», владеющего (или стремящегося овладеть) некой эзотерической информацией, которая открывает путь к власти над миром. Этот архетип, восходящий, возможно, еще к первобытной магии, реализовался в гностицизме, в позднеантичных культах и т. д. Позже с этим «тайным обществом» стали отождествлять масонов и (с другой стороны) иезуитов. Что касается евреев, то *«средневековые унаследовало представления о евреях — колдунах и волшебниках от античного мира»* (Дж. Трахтенберг. Дьявол и еврей. М., 1998). Этим представлениям способствовало и знакомство христиан с Каббалой. Интересно, однако, вот что: с началом эпохи Просвещения эти представления не исчезли, а трансформировались. Если прежде орудием еврейской магии считался материальный объект (например, христианская кровь), то по мере усложнения цивилизации возникает образ еврея, выведывающего «тайны» христианского мира. Для рационалистического на поверхности, мистического на глубине сознания человека Нового времени шпионаж Дрейфуса правдоподобнее вампиризма Бейлиса. В свою очередь, антисемитизм XIX — начала XX века претендует на разоблачение «тайны Израиля». Характерна вера в существование эзотерических письменных источников, секретных протоколов и т. д. Противостояние христианства и иудаизма принимает для мистика XIX — начала XX века форму «войны разведок». И только когда информация действительно стала главным орудием власти, выяснилось, что действует это орудие проще, чем представлялось еще недавно. «Их шпиона» интересуют вещи простые и практические — как и «нашего разведчика»: чертежи самолетов и подводных лодок, данные о правительственных перемещениях... Он не выведывает нашей подноготной, не покушается на наше святая святых. Он не владеет практической магией. Он не еврей. То есть не важно, еврей ли он.

Если профессия разведчика стала в СССР почетной и романтической, если даже в среде интеллигенции не было идиосинкразии к наследникам Зорге, то «кагэбшник» вызывал смесь отвращения и страха, а «стукач» — только отвращение. Для народа (особенно для романтически настроенных подростков¹⁰) КГБ ассоциировался прежде всего с внешней разведкой, а для либеральной и околодиссидентской интеллигенции — почти исключительно с Пятым отделом, с преследованием инакомыслящих. Такие направления деятельности КГБ, как борьба с терроризмом или с распространением наркотиков, казались праздными: терроризма, в сущности, не было (если не считать неуравновешенных людей вроде пресловутого младшего лейтенанта Ильина), а наркотики использовались лишь для того, чтобы «пришить дело» какому-нибудь диссиденту (история К. М. Азадовского). А вот с Пятым отделом имели контакты очень многие. Страх уже сходил на нет, но интеллигенция скорее склонна была переоценивать, чем недооценивать осведомленность и всемогущество КГБ. Сама организация из трех букв активно этому помогала. Анекдоты о бдительном майоре, слышащем любой ресторанный треп, на Лубянке же и рождались.

С другой стороны, диссидентское движение не только отвергало насилие (экспессы вроде «самолетного дела» в расчет не берем), но и старалось действовать открыто и в рамках советских законов. Смысл диссидентского движения как раз был в публичности. Как КГБ стремился не скрыть, а, наоборот, публично продемонстрировать свое всемогущество и суровость (зачастую пуская пыль в глаза), так и правозащитная деятельность из-за недостатка сил поневоле сводилась к перманентной демонстрации.

В то же время мирные и законопослушные диссиденты выросли на книгах о «Народной воле». Канонизированное революционное прошлое было проклятием советской власти: вирус заговоров и подпольной борьбы сидел в крови у любого обладавшего воображением человека. В 1937 (!) году молодые поэты Мирон Левин и Николай Давиденков (автор пиратской песни из «Острова сокровищ», позже vlasoveц, погиб в лагере в 1947 году — фактически покончил с собой, сознательно направившись на запретку), мистифицируя девушек, выдавали себя за членов загадочного «Комитета по распределению сил». Десять лет спустя Борис Батуев, Анатолий Жигулин и др. всерьез создавали подпольную Коммунистическую партию молодежи. В шестидесятые годы у ВСХСОНа (Всероссийский Социал-Христианский Союз

¹⁰ У меня был одноклассник, который в выпускном сочинении честно написал, что хочет пойти в КГБ и стать «нашим разведчиком». Ему поставили тройку. Сейчас он живет в Израиле и, кажется, работает не в «Массад».

Освобождения Народа) была собственная «контрразведка». Чекиста Орехова, предупреждавшего их о готовящихся арестах, правозащитники называли «наш Клеточников». И т. д.

Далее, у власти (и особенно у услужливых деятелей массовой культуры) часто отказывали тормоза. Типичный пример — фильм «Операция “Трест”», снятый по роману В. Ардаматского и посвященный реальному эпизоду истории ГПУ 1920 годов, — фальшивому «коридору», через который заманили в СССР Савинкова и ряд других видных «контрреволюционеров». В центре фильма — чувствительный и благородный *провактор*, с пафосом и знанием дела сыгранный Игорем Горбачевым. Думаю, этот фильм сослужил не лучшею службу «органам». Тот факт, что КГБ санкционировал этот опус, свидетельствует, что его сотрудники не до конца осознавали все оттенки отношения к ним в обществе.

Были случаи, когда «органы» проявляли немалую гибкость. Иногда оборотистые ребята из КГБ выступали даже «союзниками» творческой интеллигенции в споре с тупыми партийными идеологами (особенно в Ленинграде в начале 1980-х, в пору Клуба-81, Рок-клуба и т. д.). Но, видимо, сочетание ловкости и мобильности в одних делах с чудовищной козностью, неповоротливостью, бестактностью в других — родовый знак секретных спецслужб.

Все это объясняет многое из происходящего в стране сейчас. Я хочу остановиться на двух частностях.

Первая — идентификация действующего президента как «кагэбешника». У вопроса, сколько помнится, было три этапа: сначала о Путине говорили не как о «кагэбешнике», а как о «разведчике» — что имеет (или еще недавно имело) совершенно иной смысловой оттенок; затем возник вопрос о том, где же он все-таки работал — в разведке или нет; затем выяснилось, что да, в разведке, но это как-то утратило всякий смысл. Оказалось, что «разведчик» — точно такой же «кагэбешник», что в его деятельности нет ничего привлекательного, никакой романтики, что она так же точно, как и любая «гэбешная» деятельность, компрометирует человека. А это уже означает очередную смену парадигм — если угодно, возвращение в XIX век. Винават здесь, конечно, сам Путин, откровенно делившийся с журналистами будничными подробностями своей работы в Германии и никак не пытающийся отделить себя от по-настоящему запачканных ребят из Пятого управления — генерала Черкесова и пр.

Вторая — слухи о причастности ФСБ к взрывам жилых домов в 1999 году. Никогда еще, по крайней мере в постсталинский период, общественное мнение (точнее, мнение некоторой части общественности) не предъявляло спецслужбам столь сурового и оскорбительного обвинения. Не вдаваясь в вопрос об обоснованности этих слухов, укажу ту почву, на которой они естественно зародились: легенды о «всемогущем и всеведущем КГБ», рожденные в самой этой организации и вышедшие из-под ее контроля. Романтизация спецслужб легко оборачивается их демонизацией. «Кагэбешник» легко занимает структурное место «шпиона», гостя из иномира, чьим вмешательством объясняется любая нештатная ситуация¹¹. Страх, немного ослабевший, прорывается ненавистью — той ненавистью, которая кипела в жилах русских интеллигентов начала XX века. Ненавистью, которая мучает и меня, — именно для того, чтобы как-то рационализировать и таким образом преодолеть ее, я и взялся за эту статью.

Если Россия станет страной с рутинным демократическим правлением, вся эта сложная мифология, связанная с секретными службами государства, неизбежно увянет. Отношение к ним будет таким же бытовым и нейтральным, каким еще в брежневское время стало отношение к «ментам». Культура от этого, может, и потеряет в цветущей сложности, как сказал бы Константин Леонтьев, зато станет здоровее.

¹¹ Вспомним стихотворение Сергея Михалкова «Враг»:

Он наши песни запевал,
И он от нас скрывал,
Что наши ящики вскрывал
И снова закрывал.

И в наши шахты в тот же год
Врывалась вдруг вода,
Горел химический завод,
Горели провода...

Литературная критика

Панорама

Биографический проект. Начало

●

СОЛДАТЫ XX ВЕКА. Многотомное издание. Выпуск 1. М., Международный объединенный биографический центр. Российский комитет ветеранов войны и военной службы, 2000.

●

Вполне понятно, почему, например, Государственная премия Российской Федерации только что присуждена Книге памяти Солнечногорского района Московской области — за вклад в увековечение Победы. Биографические справочники об Отечественной войне, составленные по различным признакам — территориальному или формальному, как давний, но весьма примечательный сборник биографий дважды и трижды Героев Советского Союза, — будут выходить еще не раз.

«Солдаты XX века» — издание современное, состоящее из четырех разделов: «Полководцы», «200 выдающихся деятелей современности — участников Великой Отечественной войны», «Золотой фонд Победы» и «Галерея ветеранов».

Первый раздел включает четырнадцать биографий полководцев. Правда, идущий первым биографический материал о Сталине касается только периода с весны 1941-го по лето 1945 года. Биографические справки достаточно кратки, но емки: сказано, например, и о трагической послевоенной судьбе Николая Кузнецова, благодаря которому советский флот встретил войну, как и полагалось, — по боевой тревоге. Именно под его личную ответственность флот начал отражать агрессию, а не «игнорировать провокации».

Во втором разделе множество имен. Лауреат Нобелевской премии Александр Прохоров, актер Михаил Пуговкин, хирург Борис Петровский, знаменитый балалаечник Павел Нечипоренко, спорт-

смен Юрий Нырков, кинорежиссер Юрий Озеров, писатели Анатолий Ананьев и Даниил Гранин, испытатели и генералы, художники и скульпторы. Здесь скупость изложения не всегда кажется оправданной. Скажем, про Маршала Советского Союза говорится: «...с мая 1987 по август 1991 года — министр обороны СССР. 22 августа 1991 года Д. Т. Язов освобожден от обязанностей министра обороны СССР. На основании Указа Президента РФ 31 мая 1994 года Д. Т. Язов уволен в отставку». Идет время, история переплетается с судьбами, и лет через десять читатель будет задаваться вопросом, что случилось в 1991 году с бывшим командиром взвода на Волховском фронте. История есть история — не плохая и не хорошая, а такая, какая есть.

Третий раздел книги состоит из статей о Генеральном штабе Вооруженных Сил, Брестской крепости, 11-й гвардейской армии, Балтийском флоте, Центральном музее Вооруженных Сил, Студии военных художников (с большим количеством репродукций), содружестве Порфирия Крылова, Михаила Куприянова и Николая Соколова — Кукрыниксах и так называемой «Команде лейтенантов ЦСКА», история которой окончилась после знаменитого матча с Югославией в 1952 году.

А четвертый раздел издания посвящен биографиям ветеранов войны, работающих в различных ветеранских организациях.

Понятно, что работа над изданием, заявленным как многотомное, Биографическим центром проделана и еще будет делаться громадная. Поэтому некоторое замечание, которое хочется высказать, можно воспринять как пожелание. Пожелание, может быть, и уже реализующееся.

История войн непрерывна. И русские, российские солдаты ушедшего XX века умирали на разных войнах. Мы очень мало знаем о людях русско-японской войны. Нам совсем немного известно о тех, кто воевал в первую мировую. А воюющие

сейчас в Чечне солдаты и офицеры, солдаты, увы, уже XXI века. Всех солдат Великой Отечественной не перечислишь и в десятке книг, но хорошо бы не забыть солдат прочих, совсем не знаменитых войн.

Подождем следующих выпусков, одним словом.

Владимир БЕРЕЗИН

Заблудившийся среди химер

●
Джон Барт. ХИМЕРА. Перевод Виктора Лапицкого. СПб., «Симпозиум», 2000.

Джон Барт. Заблудившись в комнате смеха. Перевод Вадима Михайлина. СПб., «Симпозиум», 2001.

●
Неразбериха — визитная карточка многих начинаний в нашем сумбурном отечестве. Издательские проекты — не исключение, а посему знакомство читателей с зарубежными авторами часто происходит в отрыве от хронологии написания произведений, так что эволюция автора, его путь от дебюта к вершинам творчества просматриваются с большим трудом.

Издание «Симпозиумом» сочинений одного из самых значительных американских авторов XX века — Джона Барта — также страдает вышеуказанным недостатком. Конечно, роман «Химера» получил в свое время Национальную литературную премию (так что, похоже, хронология нарушена концептуально), однако написан был гораздо позже, нежели вошедшие во второй том роман «Конец пути» и текст под названием «Заблудившись в комнате смеха», чье жанровое определение звучит как «Проза для Печати, Магнитной ленты и Живого Голоса». Поэтому читать тексты лучше в обратной последовательности, начиная с финального произведения второго тома.

Роман «Конец пути» был написан в 1955 году, а в печати появился три года спустя.

Как утверждает переводчик Вадим Михайлин, «"Конец пути" — самый бытовой роман Барта, а потому самый тяжелый». И верно: с первых же страниц мы обнаружим реалистически выписанных персонажей, обилие деталей, словом — жизнеподобие, как и положено в такой эстетике. Джейкоба Хорнера, Джо Моргана и его супругу Ренни мы видим, слышим, ощущаем их эмоции, и постепенно «треугольник» отношений вырисовывается перед читателем во всей полноте.

Но обычной любовной драмы тут не найти — драматизм романа вовсе не в испорченных отношениях и, так сказать, «разбитых сердцах». Разбиваются не «сердца», а кое-что более серьезное, что исподволь проявляется в психологических обрисовках и бесконечных теоретических дебатах основной троицы персонажей. Эта вещь вообще в немалой степени «теоретическая», в ней сталкиваются идеи, а если точнее — Идеи. Если верить автору, то расклад выглядит так: «Джо был Разум, или Бытие; я был Иррациональное, или Не-Бытие; и мы сражались не на жизнь, а на смерть за обладание Ренни, как Бог и сатана за душу Человека».

Где-то метафора и впрямь, по точному замечанию переводчика, пробивается «космическим сквознячком», от которого не очень уютно, но по большей части она все же не работает, снижаясь до «человеческого, слишком человеческого». А именно: до распада личности западного типа, которая и в рационально-прагматическом (Джо Морган), и в иррационально-хаотическом (Джейкоб Хорнер) своем варианте терпит крах. Тут сталкиваются две крайности, гротескно заостренные Бартом: максимально определенный тип личности, раб «целей» и «мотивов», и, наоборот, — абсолютно текучий, аморфный, релятивистский тип. Хотелось бы сказать, что истина, как всегда, посередине, да только «истина» по имени Ренни затравленно мечется между крайностями и в итоге погибает во время абсурдной операции.

Надо сказать, из «Конца пути» (каковой вообще-то — вместе с романом «Плавучая опера» — начало пути писателя) вполне органично вырастают последующие «постмодернистские» пристрастия и приемы письма Барта. Текст «Заблудившись в комнате смеха» уже не является романом в обычном понимании: он собран из четырнадцати фрагментов, которые мож-

но считать связанными между собой (на чем настаивает автор), но можно и не считать. Задания, которые дает себе Барт в каждом из фрагментов, вполне самодостаточны: например, описать «ночное плавание» одинокого сперматозоида; или высказаться от лица самой Прозы; или выстроить то ли анфиладу, то ли лабиринт из рассказов-в-рассказе под названием «Меленаида». В одном из первых фрагментов вроде как возникает некий реалистически выписанный персонаж по имени Эмброуз, но спустя полсотни страниц мы станем свидетелями «размонтирования» образа, поскольку на первый план выйдет рефлексия по поводу письма. То есть заявленная некогда в «Конце пути» психологическая характеристика Джейка Хорнера (текучесть, релятивность) превращается здесь в творческий принцип, в истинную «смерть персонажа».

В предисловии ко второму тому Виктор Лапицкий утверждает, что этот текст знаменует собой выход из кризиса, который наметился в творчестве Барта к началу 70-х. Возможно, в личной творческой биографии автора так оно и есть; но в общелитературном контексте «Заблудившись...» прямо-таки воплощает кризис словесности, являет собой монумент этому кризису. Действительно: как писать после Набокова, Беккета и Борхеса? Никак, поэтому в своей «автобиографии» героиня Проза позволяет себе такие пассажи: «Я надеюсь, что как художественной прозе мне надеяться не на что... я ведь всего лишь болтовня, не больше; долго я не протяну». И далее: «Чушь, бессмыслица, я так и буду бормотать себе под нос до самого конца, слово за слово, нанизывать ублюдков на ниточку, вменяемых или нет, слышит их кто-нибудь или нет». В тексте появляются схемы, рассуждения о связках-развязках (в отсутствие названных) и тому подобные прелести металитературы или ПМ-литературы. Реально здесь одно — желание Джона Барта мараить бумагу любой ценой, до победного конца, пусть даже Борхес трижды умер.

В увенчанной престижной премией книге «Химера» все эти наработки будут творчески развиты и, так сказать, углублены. Книга представляет собой сборник из трех повестей, склеенных в целое все тем же специфическим бартовским клеем. Такой клей не всякому под силу изготовить, но Джон Барт со своей задачей

справляется виртуозно, так что повести аукаются друг с другом весьма замысловатым образом.

На первый взгляд история сестры Шахразады — Дуньязады (центральной героини «Дуньязадиады») практически не связана с перелицованными на иронически-игровой лад греческими мифами о Персее и Беллерофонте (соответственно героев «Персеиды» и «Беллерофониады»). Но то — в истории мифологии, в бартовском же космосе а-ля «русская матрешка» все со всем связано, а точнее — все во все вложено. «Беллерофониада», к примеру, оказывается частью «Дуньязадиады», и рассказывает ее в конечном счете Дуньязада. Одни истории тут могут быть как оболочкой для других, так и их внутренней сердцевиной, а уж как и зачем такое делается — не спрашивайте.

Более того, тут прослеживаются связи и с другими текстами: как с уже написанными, так и с не написанными — с более поздним романом «Писмена», к примеру. В целом же, как утверждает переводчик, текст являет собой «фейерверк каламбуров, ребусов, загадок, аллитераций и аллюзий, милых или рискованных шуток, часть которых неизбежно гибнет при переводе». Так что, понимая невероятную сложность задачи, не будем строго судить переводчиков. Конечно, может возникнуть неудобство при чтении, когда Виктор Лапицкий озвучивает реалии греческого мифа славянизмами «одесную», «ошуюю» и «поелику». Однако это ведь не миф в полном смысле (миф как духовная реальность у Барта и не ночевал) — это стилизация, ироническое обыгрывание, так что степеней свободы тут больше. Бывает опять же, споткнешься на каком-нибудь жаргонном словечке, но здесь всегда будут вкусовые разночтения; а в общем и целом уровень перевода более чем достойный.

В романах позднего Барта ощущаются дух кампуса, профессорский задор, когда все литературные ноу-хау известны, культурные ценности освоены и пронумерованы, а посему могут служить лишь предметом игры. Ради чего создан весь этот грандиозный рефлексивно-образный конгломерат под названием «проза Джона Барта»? Непонятно, и после чтения почему-то представляешь Сизифа, вкатывающего на гору камень, — сравнение тем более уместно, что герой Барта Беллерофонт — внук вышеупомянутого вкатыва-

теля камней. Сизиф-Барт делает это, конечно, не без изящества, но все равно хочется спросить: зачем? В каком-нибудь Гарварде мир, наверное, выглядит библиотекой с закладками между книжными страницами, однако на самом-то деле он по-прежнему — «Шум и ярость», как выразился один писатель — соотечественник Барта.

В начале нового тысячелетия только слепой не видит: История и не думает останавливаться, а значит, постиндустриальному человечеству рановато почивать на лаврах. Проза позднего Барта — порождение именно этого периода Истории (которому можно присвоить имя Фрэнсиса Фукуямы) и, думается, останется литературным памятником заблуждениям благополучных американских интеллектуалов.

А впрочем, любой литератор — немножко Сизиф. Сам Джон Барт утверждал: «Я восхищаюсь писателями, которые могут представить запутанное простым, но мой собственный талант заключается в том, чтобы превратить простое в запутанное».

Владимир ШПАКОВ

Россия по-шведски

●
Карола Ханссон. АНДРЕЙ. Роман. Перевод со шведского А. Афиногеновой. Предисловие В. Толстого. Издательский дом «Ясная Поляна», Тула, 2000.

●
Знаете ли вы, какие именно болезни наши прабабушки лечили эсмеровской водой? А как выглядит растение купырь, знаете? Я тоже нет... А вот шведская писательница Карола Ханссон о каждой подобной мелочи, и об укладе русской усадьбы жизни, и о целом огромном мире, который мы привыкли несколько отвлеченно называть «Россией Толстого», знает столько всего, что хватило и на научные труды, и на сценарий фильма о Софье Андреевне, и на роман об Андрее Львовиче, девятом ребенке в семье Толстых.

Читателю, берущему в руки строгий, интеллигентный темно-синий томик, иллюстрированный прелестными (иначе не скажешь!) рисунками Татьяны Толстой, необходимо с самого начала расставить правильные акценты: «Андрей». Роман. Шведский роман о России, написанный безусловно талантливым прозаиком, к тому же около двадцати лет изучавшим русскую литературу. И, следовательно, не позволившим произрасти на своих страницах стройным деревьям развесистой клюквы.

Но поскольку читатель не должен забывать, что перед ним именно роман, плод творческой фантазии автора, то и поступать он должен соответственно: охоть, ахоть и переживать над выдуманными, сочиненными страстями героев, коль скоро чувствует склонность к эмоциональному восприятию действительности. Либо же постараться воспользоваться предоставившейся ему уникальной возможностью буквально поверить гармонию алгеброй — на примере полноценного художественного текста увидеть, как в западном сознании отражается так называемая «русскость», разобраться в проблемах западного восприятия русской литературы и запечатленной ею русской души.

Карола Ханссон в романе «Андрей» ставит и решает проблемы морально-психологические, социально-политические, эстетические — да какие угодно! Все, что положено ставить и решать честному и прозорливому художнику. Вот только проблемы биографии и творчества Льва Николаевича Толстого «изучать по роману» не стоит. Недаром Ханссон не раз предупреждает-проговаривается: «...Андрей был одним из немногих в семье Толстых, кто никогда не вел дневник. Это обстоятельство дало мне гораздо больше поэтической свободы...»

Пользуясь этой свободой, писательница создает своего собственного Льва Николаевича, чей образ зыбок и не определен в очертаниях, фигура его то вырастает до великаньей, то съживается до карличьей. Складывается впечатление, что этот образ навеян волшебными сказками, чтению которых, по собственному признанию, Ханссон с наслаждением предавалась в детстве. Непостижимый, превосходящий человеческие возможности писательский дар Толстого заставляет ее наделять своего героя чертами почти сверхъестественными. Его предвидения сродни пророчест-

вам — будущее и прошлое равно открыты его внутреннему зрению. И, подобно жутковатым героям фантастических сказаний, Толстой Каролы Ханссон чуть ли не питает свое угасающее существование чужими живыми жизнями (эпизод неожиданного выздоровления Толстого, совпавшего со смертью новорожденного сына Ольги и Андрея).

Вера в мистическую силу Слова, творящую и разрушающую миры, необычайно сильна у шведской писательницы. Она понимает, что названное, получившее имя обретает и право на бытие, на воплощение. А потому Ханссон (и вслед за ней главный герой романа, Андрей Львович) не позволяет себе утверждать, но лишь предполагает, тем самым определив общую *вопросительную* интонацию всей книги. Эта интонация в свою очередь влияет на стиль и даже на синтаксис текста — нарочито усложненного, где сны перетекают в явь, а явь подменяется снами. Здесь сказалась истинная деликатность уже не писателя, а исследователя, остро чувствующего грань, за которой творческий домысел переходит в безответственный вымысел.

Власть над словом получает далеко не каждый. Андрей на протяжении всего романа не один раз возвращается к воспоминаниям о том, как названное, поименованное становится тягостно или счастливо реальным: появление безумца, который не погнался бы за детьми и их английской гувернанткой, «если бы Миша не назвал безумца по имени»; рождение первой любви к девушке, знакомой и раньше, лишь «в ту минуту, когда она обрела имя». Он, Андрей, не властен вдохнуть жизнь в слово; более того, он придавлен отцовским предсказанием его собственной судьбы, ибо, по мысли Каролы Ханссон, с самой ранней юности смотрит на себя как на прообраз Феди в пьесе его отца «Живой труп». Однако, следуя логике писательницы, не умеющий *назвать* не сможет понять, а значит, и преодолеть роковое предназначение. Зато он волен вспоминать, и задаваться вопросами, и видеть сны, быть может...

Сны о России.

Шведский роман-сон о загадочной русской душе, о той стране, которая, по словам Николая Бердяева, «без Толстого немислима».

А. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ



Кирилл КОБРИН

Письма в Кейптаун о русской поэзии

Это уже пятое мое письмо о русской поэзии, адресованное Петру Кириллову — старому другу по горьковской юности и молодости 80-х, эмигрировавшему в 1990 году в ЮАР и ставшему там виноделом. Первое было напечатано в пятом номере «Октября» за прошлый год. Предыстория публикации такова. Не подававший признаков жизни в течение десяти лет после эмиграции, Петя года полтора назад вдруг прислал мне е-мэйл, в котором (довольно бесцеремонно, не спросив для порядка, как дела) почему-то попросил от меня подробных отчетов не о чем-нибудь, а о состоянии современной русской поэзии (до которой лет пятнадцать назад был великий охотник). Не имея много времени, я решил писать ему изредка по письму, которые, повинясь жалкому зуду публикаторства, периодически представляю и на суд читателей «Октября». Все они если и интересны, то лишь попыткой, так сказать, острацивания, то есть не по Шкловскому, а по Кузмину — автору «Письма в Пекин». Это когда о поэзии одной страны пишешь отчет в другую — на противоположном конце света и противоположном конце стиха; туда — где живут антиподы и люди с песьими головами.

Письмо пятое

07.06.2001

Уж и не знаю, Петя, как я дальше тебе буду эти письма сочинять. Месяц назад случилось такое, что заставило меня думать о русской поэзии со злобой, даже не со злобой, а с отвращением. Подлая старуха, питающаяся жизнями молодых, — вот кто она. Все ей мало: жрет и жрет, хрустит, чмокает, косточки облизывает; а на лице элегическое настроение.

Покончил с собой Борис Рыжий, екатеринбургский поэт, о котором я тебе писал в самом первом письме. Да что там писал, почти накаркал; непонятно, как теперь говорить о *живых*, почему они так упорно следуют представлениям окружающих; будто боятся их — окружающих — смутить непослушанием. Вспомни-ка (цитирую из себя в предположении, что ты делетируешь электронные письма по мере загнивания*, даже из России, даже о русской поэзии):

«Столичной литературной публике очень понравился этот “новый Есенин”. Рыжему дали поощрительный вариант одной из литературных премий за (действительно удачную) стихотворную подборку в “Знамени”. О нем переговариваются в Интернете. Одного боюсь. Помнишь, Петя, фотографию прилизанного пейзажника в смазных сапогах, в косоворотке, с гармошкой в руках? Подпись “Сергей Есенин в салоне Мережковских. 1915 год”? Был бы я знаком с Рыжим, сказал бы ему: “Избегай, Боря, смазных сапог! Опасайся косоворотки! Не дай Бог, Мережковские прибудут тальянку к твоим рукам!”»

Стихи — опасная штука для русского человека, Петя. Борис Рыжий не смог отмахнуться от назойливой есенинщины; точнее — в жизни не смог, в стихах не успел.

* Е-мэйлы — ведь не вина, их не выдерживают.

Смешение литературы и жизни, придуманное романтиками, оказалось смертельным коктейлем не только для них. В этом году будет сто шестьдесят лет гибели Лермонтова. Погиб он, как ты помнишь, во время первой чеченской войны вовсе не от пули горца. Погиб он от собственной жизни, с которой ему было неохота управляться; вот и не стал. Ему все казалось, что поэту умереть на дуэли, в смертельном поединке, нет, не с противником, а с судьбой — красиво. А умирать пришлось от собственной шалости, от пули дурака, под проливным дождем. «Погиб поэт, невольник чести» — это одно, а быть трупом в измазанном грязью мундире, под рогожкой, на телеге, в окружении людей, не знающих, как и куда этот труп пристроить, — совсем другое.

Но то романтики. Они изводили себя абсентом, опиумом, дурацкими дуэлями, беспорядочным сексом, шизоидной политикой, мало ли чем еще, думая, что возгонят всю эту сивуху в чистейший галлюциноген искусства. У некоторых получалось, но, как мне кажется, не благодаря, а вопреки. Впрочем, черт их разберет. Однако затем коктейль «жизнь — поэзия» (употреблять straight, сразу и безо всякого льда) показался недостаточным; точнее — показались недостаточными количество и способ производства. От кустарного метода перешли к фабричному в лучших традициях индустриальной эпохи. Так появился русский символизм.

Только не подумай, что это очередная благородная лекция на предмет о должностовании поэту быть мещанином, обывателем. «Шей горшок, да сам большой». Человек, который сочинил это, так и не стал образцовым бюргером, семьянином, прихожанином. В пожелании поэту быть ничтожнейшим из ничтожных детей мира слышу только презрение и гордыню. Поэт — и псих, и гад, и маму не любит, и счет в банке у него не шибко длинный. Дело в другом. Профессиональные издержки образа жизни поэта (да и вообще литератора) — пьянство, нелюбовь к идее представительной демократии, склонность к промискуитету, ползучая лень, муравьиный спирт вместо крови в венах, многое другое — есть его частное дело; более того, прежде всего по отношению к его сочинениям. Отъявленный мерзавец может сочинить чистейшие религиозные стихи. Но их же может сочинить и святоша. Или просто клерк в целлулоидном воротничке.

Стихи на самом деле *могут* изменить окружающий мир; но не моральным, политическим, эротическим мессаджем, в них якобы содержащимся, а тем, что они — есть. Самые лучшие из них входят в молекулярный состав языка, на котором написаны, и преображают его, пусть на йоту, но преображают. Люди, которые думают и говорят на этом языке, зависят теперь и от поэта. Только так — и никак иначе — поэзия соотносится с жизнью.

Но вернусь, Петя, к русским символистам. Их жизнестроительная затея, основанная на дурно понятом Ницше и отравившем их сознание огнеглазом Владимире Соловьеве, была, пожалуй, самой грандиозной из всех русских затей гораздо на опасные выдумки прошлого века. Они решили человека изменить в самой его биологии и только потом — во вторичных уже политике, экономике, культуре. Эти не очень молодые люди и, увы, не атлетического сложения, одевались в хитоны и туники и водили свои уморительные хороводы на разного рода дачах и башнях не забавы ради и даже не для того, чтобы девушкам (юношам) нравиться. Нового человека они создавали.

Биология антропоса осталась нетронутой; но новое существо символисты штучным образом создали — самих себя; людей алмазных со стальными нервами и бесстрастных, как маятник Фуко, сердцем. Кажется, Лидия Яковлевна Гинзбург отметила, что эти люди не моргнув глазом перенесли ситуации, от которых обычный человек лез на стенку. Мережковские, Сологуб, Вяч. Иванов, Брюсов прошли по жизни, как горячий нож по маслу, — точно, экономно, сразу до доньшка. Некоторые, впрочем, сломались и до финиша не дошли — то ли потому, что оказались поэтически талантливее, то ли — талантливее душевно.

И тут, Петя, я возвращаюсь к несчастному Борису Рыжему. Его первая (и последняя прижизненная) книга стихов «И все такое...» открывается так:

Над саквояжем в черной арке
всю ночь играл саксофонист,
пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.

Я тоже буду музыкантом
И буду, если не умру,
В рубахе белой с черным бантом
Играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
 Под небом, выпитым до дна,—
 Спи, ни о чем не беспокойся,
 Есть только музыка одна.

Знаешь, от чего еще погиб Рыжий? От снижения, от редукции.

Это ведь блоковская музыка, другой в поэзии не бывает, «одна» она и есть. Но ее не играют окуджавистые саксофонисты в советских парках. Ее нельзя унижать расхожей романтикой; даже дальний предок саксофониста из этого стихотворения, герой коротасова «Преследователя», нестерпимо пошел. Ведь это — музыка сфер, Петя. Здесь прилично только вслушивание.

Сам Блок, сведя к уличной частушке в «Двенадцати» ту музыку, которую слышал во время своих прогулочек на острова, в Стрельну, Озерки, во время шатаний по Коломне и походов в световые балаганы, погиб. Музыка сфер мстит. А ведь он был из той породы алмазных символистов, он-то изменил свой молекулярный состав, лунный Пьеро, андрогин чертов. Если уж он погиб, то Борис Рыжий, не купавшийся в этих стихсах, был еще уязвимее.

Впрочем, как и Есенин. Вспомни-ка, Петя, эту породу людей, зацепивших лишь хвостик эпохи алхимической переделки слишком человеческой биологии в сверхчеловеческую духовную плоть мистагага; всех тех, кто, родившись примерно в 1885—1900 годах, успел недолго поплясать на символистских радениях. Судьба их была различна; некоторые в этом пламени приобрели свойственную старшим твердость алмаза, некоторые — обуглились. Женщины оказались сильнее: Ахматова, Берберова, Л. Я. Гинзбург величественно прошествовали сквозь катастрофу во вторую (более безопасную) половину столетия, а потом безукоризненно отпели первую. Мужское дыхание оказалось короче; погибли почти все. Борис Рыжий по своему психологическому складу принадлежал к последним; он был живым анахронизмом в поэтической, литературной среде девяностых; и дело даже не в том, что писал в рифму.

Рыжий — поэт именно легкий, попытавшийся сплавить традиционную напевность (которую он и принял за «одну только музыку»), хотя это была даже не кузминская «музычка», — помнишь, Петя, «у нас не музыка, а только музычка, но в ней есть свой яд»? с юношеской романтикой уркаганских пролетарских пригородов. Он попытался спеть свой родной Екатеринбург чуть ли не по-фетовски. Хронологически последние поэты, которые вошли в состав его крови, — советские романтики от Багрицкого до Луговского и Слуцкого. И Рейн, конечно. Ему надо было родиться совсем в другую эпоху, в четырнадцать лет зачитываться Брюсовым и выписывать единственный экземпляр «Весов» в своем губернском центре, в семнадцатом — ходить по улицам города с большим красным бантом, повоевать с белыми где-нибудь в Средней Азии, пожить в двадцать первом в «Диске», ходить к Гумилеву в студию, нюхать нэповский кокаин с Вагиновым. Дальше не знаю. Впрочем:

Боже мой, не бросай мою душу во зло, —
 я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары...

Он будто и сны видел того самого юноши — из двадцатых, и сны эти прорывались иногда на бумагу:

Что махновцы, вошли красиво
 в незатейливый город N.
 По трактирам хлебали пива
 Да актерок несли со сцен.

Чем оправдывалось все это?
 Тем оправдывалось, что есть
 За душой полтора сонета,
 Сумасшедшинка, искра, спесь.

Обыватели, эпигоны,
 Марш в унылые конуры!
 Пластилиновые погоны,
 Револьверы из фанеры.

.....
 Вы — стоящие на балконе
 Жизни — умники, дураки.
 Мы — восхода на алом фоне
 Исчезающие полки.

Две последние строчки я так себе и представляю — как последний кадр «Неуловимых мстителей». Черные силуэты всадников на алом фоне огромного солнца.

После смерти Рыжего появилось несколько некрологов, изображавших его чуть ли не дикарем, слегка окультуренным Маугли, слоном в посудной лавке постсоветской словесности. Не верь им, Петя. Борис Рыжий был начетчик. Некоторым образом книжный поэт. Его дворовая лирика построена вся на скрытых цитациях и аллюзиях, она многослойна, многослойно и эстетическое наслаждение от ее восприятия. Сначала ты слышишь «историю» (а он любил сюжетные стихи, истинный ученик Анненского и акмеистов), затем замечаешь сигнальные флажки, оставленные тут и там, чтобы не заблудиться и попасть в нужный поэтический контекст, затем уже — ту самую «одну музыку», превратно Рыжим понимаемую, однако от того не менее пленительную. Одно из лучших его стихотворений начиналось не только изумительно точными (еще один урок акмеизма) строчками, но и намеком на... Впрочем, сам догадайся:

Отполированный тюрьмою,
ментами, заводским двором,
лет десять сряду шел за мною
дешевый урка с топором.

Да-да, с бритвою в руке.

И Родина его была не Свердловск, Отечество ему — не РТИ из прекрасного стиха:

Ты полагаешь, Гриня, ты
Мой друг единственный,— мечты!
Леонтьев, Дозморев, Лузин,
Вот, Гриня, все мои кенты.

Леонтьев — гений и поэт,
И Дозморев, базару нет,
Поэт, а Лузин абсолютный
На РТИ авторитет.

Нет, Родина, Отечество Бориса Рыжего — русская поэзия, вся, от Кантемира до Заболоцкого. Не надо путать присущее ему тяжелое озорство, свойство вообще слишком русское, с дикарством. Да и это самое тяжелое озорство тоже чуть ли не литературного происхождения; маска есенинского «озорного гуляки» была ему чаще всего не к лицу, но он так уж решил. И она намертво приросла к коже.

Как лермонтовский Мцыри, Борис Рыжий, вкушая, вкусил мало меда и оттого умер. Только это был не мед, а яд. Яд русского стиха. Чтобы приобрести иммунитет, надо было вкусить больше, жить дольше. Чтобы стать русским поэтом в том значении, которое вкладывали в это понятие в начале прошлого века, он должен был стать бесчувственным чудовищем. Монстром. Рыжий не смог или не захотел этого сделать, оттого и погиб. Слишком человеческое осталось собой.

Прости меня, Петя, за мрачное и беспорядочное письмо. Я больше не буду. Постараюсь попривыкнуть к этой гадине, питающейся живыми людьми, — к страшной и восхитительной русской поэзии.



Ольга СЛАВНИКОВА

Желанье славы

К ВОПРОСУ ОБ ИЗДЕРЖКАХ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ

— Еще раз скажите, как фамилия?

— Славникова! «Эс» первая!

— Так. Дальше по буквам.

— Лидия, Андрей, Вера, Николай, Ирина...

— Хорошо, записала. Передам. Перезвоните на всякий случай часа через три.

Такой диалог с твердым полированным голосом секретаря на том конце телефонного провода ясно показывает писателю с так называемым «именем», что «имя» это имеет хождение в узком кругу заинтересованных лиц. Шаг влево, шаг вправо — и ты уже на чужой территории, чья необъятность в сравнении с профессиональным «пяточком» ощущается как абсолютность океана в сопоставлении с «частным случаем» хорошо обжитого маленького острова. Сколько бы ни тешился писатель творческой способностью ходить по водам собственной души — в этом океане он тонет точно так же, как и обычный смертный. Имеющему «имя» неудобно состоять, пусть даже в фонетическом смысле, из безличных, как герои телесериала, андреев, светлан и елен. Процедура представления по телефону превращается в процесс распада — что, собственно, и происходит при чтении книги, когда исчезающий автор распадается на некоторое количество читателей, способных в лучшем случае взять из текста половину того, что автор туда заложил. Разница, однако, в том, что при телефонном распознавании абонента никакая книга не имеется в виду: условные персонажи, представляющие свои заглавные буквы, не знают всего алфавита.

Тут всякий интеллеktуал вспомнит «Кысь» Татьяны Толстой. Сразу оговорюсь, что вовсе не пытаюсь вывести всех, с кем сталкивает жизнь вне литературы, такими незадачливыми Бенедиктами, которым, прежде чем прикасаться к культурным ценностям, следует выучить азбуку, всякий гражданин имеет право не читать любого писателя и вообще не знать, что таковой писатель существует. В последнее время даже как-то сложилось ощущение, что данное право принадлежит к основополагающим правам человека. Речь не об этом. Речь о соблазнах и искушениях, что ожидают литератора на его довольно-таки двусмысленном профессиональном поприще. Одно из таких искушений — «имя».

Пытаясь объяснить себе природу той неловкости, которая возникает, когда писатель называет себя человеку, свободному от бремени литературы (а это, кроме шуток, свобода, не менее ценная, чем все другие виды свобод), я думаю о суррогатных деньгах. Когда-то на некоторых предприятиях сотрудникам давали бесплатные талоны в столовую. Мне кажется, что литератор, называя себя, как бы пытается расплатиться таким талоном в обычном магазине. Есть в этой операции нечто мошенническое. В соединении с интеллигентским воспитанием, которое большинство из ныне действующих писателей все-таки успело получить, всучивание «имени» вместо нормальной, присущей всякому человеку общегражданской фамилии вызывает у представляющегося чувства почти нестерпимые. Я знаю одного молодого поэта (не обладающего, впрочем, той большой известностью, какая рисуется его автономному воображению), который не выговаривает себя, как не выговаривают некоторые дамы ненормативную лексику (с данной лексикой у поэта, кстати, все в порядке). Есть что-то поистине чудовищное в обмане ближнего, когда писатель представляется, к примеру: «Иванов!» — хотя он, и правда, по паспорту Иванов.

Тут, видимо, играет роль понятие «бесплатности». Человек получает талант даром, от рождения, ничем его не заслужив. То, что создаваемый при помощи таланта литературный продукт не бесплатен, а иногда и очень для автора затратен, не принимается во внимание, потому что этот труд невидим глазу и по большому счету ничем не оснащен. У писателя нет ни трактора, ни станка, компьютер, даже самый маломощный, он использует на очень небольшую долю его реальных возможностей, пишущая машинка — единственно «производственная», весьма железная, грузно работающая вещь — стала уже скорее символом литературного занятия, вроде музыки с крыльшками. Писатель сам себе орудие — что напоминает трюк барона Мюнхгаузена, вытаскившего себя за волосы из водоема на сушу. Он работает «от себя», без санкции общества. «Имя» поэтому суть фальшивая банкнота, не обеспеченная валовым национальным продуктом, и наш Иванов — поддельный Иванов. Весь он какой-то загадочный и вместе с тем недееспособный. Кстати, если представить себе разные государства в символическом виде профессиональных психотипов (США — «администратор» и «программист», Франция — скажем, «парфюмер»), то «писателем» в мировом сообществе окажется Россия. Потому у нас и рубли неизменно «деревянные».

Несмотря на то что рынок превращает литературное «имя» в торговый брэнд (и по-другому быть не должно), в «имени» есть и нечто мистическое. Это касается даже коммерческих проектов: как ни подозревай, что на такое-то «имя» работает бригада негров, — все равно «Серова» или «Незнанский» представительствуют от определенного класса текстов и книг. Тут мы имеем голографический эффект: часть содержит и являет целое. Ради этого эффекта Иванов-писатель вытесняет реального и конкретного Иванова. Искушение присоединить к себе (а в общем-то присвоить) символические ценности всей литературы настолько велико, что литератор прежде всего сам не ценит в себе обычного человека, а потом его перестают ценить и видеть добрые сограждане. Полагая, что писатель — существо внеэкономическое (т. е. питается акридами и медом), сограждане служат всего лишь эхом собственных его писательских амбиций. Всем известно, что испытание медными трубами — вещь жестокая. Эта же процедура при отсутствии медных труб как таковых — специфика момента.

Очень многое изменилось для писателя за последние полтора десятилетия. Проблема в том, что сам-то он как существо природное и инстинктивное не изменился практически никак. Втайне он по-прежнему мечтает, чтобы его узнавали на улице. У одного известного мне провинциального прозаика сила этого желания столь велика, что попавшие в его энергетическое поле чуткие прохожие принимают романиста за Муслима Магомаева. По-прежнему вид собственной книги, которую некто незнакомый читает в общественном транспорте, вызывает у литератора непередаваемые душевные вибрации. В новой повести Антона Фридлянда, шорт-листера премии «Дебют» 2000 года (его книга «Запах шахмат» к моменту появления этого текста уже выйдет, как я надеюсь, в издательстве «АСТ»), герой, путешествуя в метро, приобретает способность переноситься в тело и мысли соседей по вагону. Для достижения эффекта требуется сперва «увидеть» себя самого из той точки, где находится намеченный объект. Очень может быть, что, выбирая сабвей в качестве ментальной среды, где пассажир «не совсем есть», а мозг его приоткрыт, автор подсознательно имел в виду то обстоятельство, что в метро люди читают книжки. Возможно, здесь мы видим своего рода предчувствие встречи с собой, читаемым другими, чему лично я от всей души желаю сбыться (повесть, кстати, так и называется «Метро» и по своим художественным качествам даже превосходит роман «Запах шахмат», столь удачно «дебютировавший» в прошлом году). Во всяком случае момент вибрации (знаю по себе) описан Фридляндом довольно верно: «Яну показалось, что весь вагон передернулся, словно карты в руке шулера. Все люди незаметно для Яна поменялись местами». Опять-таки мотив «шулера» здесь неслучаен: писатель, жаждущий славы и вдруг получающий некоторую порцию ее благодаря незнакомцу, уткнувшемуся в книжку, в глубине души осознает, что «передергивает», как минимум невинно хитрит. В действительности авторское «тело», проплывающее по эскалатору или стиснутое вагонной давкой, читающему не так уж интересно, и возвратного «священно-го трепета» ожидать не приходится.

Однако в последние годы появился и сравнительно новый механизм искушения писателя славой, а именно — премиальный процесс. Не надо думать, будто процесс

этот столь травматичен только на российской почве. Самая обруганная у нас процедура — несомненно, русский «Букер» (видимо, потому, что наиболее заметен). Однако в романе известного Мальколма Брэдбери «Профессор Криминале» описан британский оригинал — и описание являет нам все те особенности «Букера», которые ежегодно служат мишенью для российской прессы: «Литература как таковая тут с боку припека. <...> Картина получалась парадоксальная: сливки искусства и власти в черных фраках, белоснежных сорочках, в орденах и лентах, нежно голубеющих под галстуками, — и я в зеленой ветровке и кроссовках «Рибок». Я угодил в гущу профессиональных трепачей, но сегодня вечером они трепались о том, о чем треплутся профессиональные трепачи, когда хотя бы просто потреться между собой: о котировках валют, о твердых эцю и мягких посадках, об отпусках и здравницах, о своих шикарнейших виллах в Дордони и своей неизбывной неприязни к французам. Потеряв терпение, я остановил какого-то фрячника <...> и спросил, где же скрываются писатели. Он помедлил, любезно улыбнулся и указал в глубь фойе на увешанную портретами стену. Вплотную к стене жалась перепуганная стайка финалистов — тех, к чьим романам жюри так и сяк примеряло заветную премию. Они переминались с ноги на ногу и прихлебывали апельсиновый сок в плотном кольце угрюмых литагентов и дамочек из издательских пресс-бюро, причем всех дамочек звали Фионами. <...> Все романисты растерянно озирались по сторонам, будто так толком и не поняли, какого, собственно, рожна им тут делать. Догадаться, что перед вами литераторы, можно было лишь по косвенным приметам: брызгливые, зловредные физиономии, взаимная неприязнь. К этому времени члены жюри как раз кончили совещаться и смешались с толпой, на ушко поверяя родным и близким имя лауреата. Однако по букеровским правилам героев дня держат в неведении до самого что ни на есть последнего момента, чтобы момент получился воистину волнующий: и финалисты тщетно пытались угадать счастливого, достойного уже не какой-то там хилой неприязни, а могучей и праведной ненависти».

Столь длинная цитата нужна для того, чтобы показать: недостатки премиального процесса есть недостатки врожденные, ни от чего благоприобретенного не зависящие. Впрочем, на российской почве премиальное событие (любое, не только «Букер») имеет дополнительную остроту в силу экономических причин. Известно, что гонорары от некоммерческих изданий столь исчезающе малы, что литературная премия невольно воспринимается писателем как возможный источник дохода. Это как если бы на упомянутом предприятии давали талоны в столовую, но фонд заработной платы разыгрывали в лотерею — причем от сотрудников, желающих получить какие-то деньги, требовалось бы еще и бесплатное участие в шоу. Но такова реальность, с этим ничего не поделаешь. И солидный «Букер», и рафинированный «Аполлон Григорьев», и новый, прозрачный, как таблица умножения, «Национальный бестселлер» разыгрывают один главный приз, существенно больший, чем самый удачный гонорар. Это не может не создавать ажитации. Главное искушение литературной премии, однако, не в деньгах. Желанье славы, основанное на иллюзии, будто и правда, существует принципиальная возможность выделить из нескольких заметных романов года самый лучший роман, сажает литераторов на премиальную иглу.

Придумав год назад идеального критика и описав его в одном из текстов данной рубрики скорей как идеального читателя, я попыталась было придумать и идеальную литературную премию. Цель ее, по идее, должна была бы совпадать с целью самой литературы. Поскольку литература как вид искусства стремится к абсолюту (и никогда его не достигает), то и премия такого-то года, будучи мероприятием одноразовым и, более того, многоцелевым, должна стремиться к тому же самому. В результате ряда воображаемых манипуляций с механизмами выдвижения, голосования и прочим премиальным инвентарем я вывела единственную возможность приблизить желаемое к действительному. Для того чтобы результат премиального цикла можно было считать в некотором смысле истиной, требуется, чтобы все участники процедуры — номинаторы, авторы, члены жюри — были к этому результату абсолютно равнодушны. То есть идеал в данном случае исключает сам феномен авторства со всем присущим феномену комплексом эмоций. Для этого требуется что-то вроде коллективизации совокупного литературного продукта: все романы (стихотворения, пьесы, эссе) должны принадлежать всем пишущим сразу. Получилось, что идеальная литературная премия есть реализация коммунистического принципа «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Но, поскольку премиальный фонд по определению не резиновый, здесь скорее должен работать социалистический принцип

«От каждого по способностям, каждому по труду». В итоге выходит, что идеальная литературная премия есть нормальный гонорар — учитывающий не только окупаемость и прибыльность тиража, но и ценность текста, скажем так, для общества. Тут, поскольку мы уже припутали социализм, возникает — не к ночи будь помянуто — государство. Однако это тема отдельного разговора, не имеющая прямого отношения к писательским соблазнам и к писательским грехам.

Премиальные результаты не могут не быть обруганы, потому что правильными их считают только победитель и его сочувствующие, а они по определению в меньшинстве. Тут следует сказать, что ощущение правильности возникает у лауреата не потому, что он очень сильно любит себя в искусстве, а в силу опять-таки причин объективных. Выше было сказано, что ни один читатель не извлекает из текста всего, заложенного автором, и члены жюри здесь не исключение. Автор текста один владеет всем сокровищем, как бы он ни стремился его отдать, воплотить и разъяснить. А поскольку лауреат по отношению к текстам соперников также является читателем, то ощущение справедливости увенчания возникнет у любого, на кого падет высокий выбор экспертов. Отсюда вывод: никакого автора нельзя перехвалить до такой степени, чтобы он удивился и запротестовал.

Открою скромный секрет, хорошо известный, впрочем, всем умным обитателям литературного острова: писатель — человек очень и очень управляемый. Механизмы этого управления просты и безотказны до такой высокой степени, какая не снилась известному Дейлу Карнеги. Настоящий писатель — человек сложный и как минимум неглупый. Однако похвала суть универсальная отмычка, которая на удивление легко взламывает все механизмы его самозащиты. Ничего не дается так дешево и не стоит так дорого. Похвалите писателя — и все остальное, сказанное «в нагрузку», он воспримет как истину. Он сделается вашим другом, возьмет вашу сторону практически в любом конфликте и, защищая вас от ваших оппонентов, будет в действительности защищать то, что ему дороже всего на свете: собственные тексты.

Объективное восприятие хвалящего заблокировано у писателя настолько мощно, что здесь можно говорить о незаконном обороте наркотика. Многими замечено, что литературный критик, доброжелательный к тому или иному автору, невольно приучает последнего к дозам и, не выдавая в отдельных случаях комплиментов, вызывает у литератора ломку. Однако верно и обратное. Что там ни говори, хвалить приятней, чем ругать. «Открыв» литератора и приписав ему, быть может, те достоинства, которые в тексте реально отсутствуют, критик начинает относиться к подопечному как к собственному произведению. Это отчасти справедливо: изобретая писателю несуществующую поэтику (и порой не замечая присутствующей), критик совершает творческий акт, создает художественный образ, что поднимает текст самого критика. Возникает своеобразная эйфория, от которой в дальнейшем трудно отказаться. Критик ожидает новых произведений «своего» литератора, желая повторить удовольствие — не от чтения, как ему, быть может, кажется, но от письма, от написания статьи. Если литератор надолго замолчал, критик, в свою очередь, переживает ломку, ничуть не менее болезненную, чем у недохваленного пациента. Критику, правда, легче в том отношении, что «своих» литераторов у него может быть несколько. С другой стороны, литературные территории более или менее поделены, и не каждый день возникает то, что подпадает под категорию «новые имена». Так или иначе все это утрясается, и возникают достаточно устойчивые симбиотические группы, с высокой степенью взаимозависимости, с механизмами отторжения чужеродных тканей. Это не хорошо и не плохо, здесь не стоит вопрос о таланте и квалификации. Просто похвала — из тех ловушек, куда попадают все.

Помимо желанья славы, писательская профессия таит в себе и множество иных соблазнов, как забавных, так и опасных. О желанье успеха (где цель не сомнительная вечность, но тираж и пиар) сказано много, и повторяться скучно. Замечу только, что тенденция перевода «острых» сюжетов массолита на русский язык, начатая «Оправданием» Дмитрия Быкова, обещает в ближайшем будущем лавину текстов гораздо менее качественных, чем упомянутый роман. Соблазны поджидают писателя не только вне, но и внутри самого процесса. У одних (как у меня) это соблазн метафоры, склонной плодить побочные вещи и смыслы. У других это соблазн выигрышной фактуры, где, однако, запросто можно сфальшивить и соврать. Одно из послед-

них впечатлений такого рода — «Голая пионерка» Михаила Кононова, где, например, присутствует «...какой-то высокий мальчишка с командирскими ромбиками на воротнике». Не отличая ромбов от «кубарей», автор нечувствительно превращает старшего лейтенанта в комкора. Эта и множество других аналогичных «блех» приводят к тому, что хорошая и живая книга теряет в достоверности, в которой «сюр» нуждается не меньше, чем традиционный реализм: известно, что Сальвадор Дали был прекрасный рисовальщик. О том, как вольно обращается с историей блистательный Борис Акунин, также сказано критиками: сколько бы книг ни написал в дальнейшем наш любимый (кроме шуток) романист, вряд ли он добавит что-либо новое к этой части своей репутации.

Писателей много, но писателя в чистом виде, похоже, не существует. Даже придумать «идеального писателя» невозможно. В романе Александра Секацкого «Мог и их могущества» дана, как мне кажется, символическая картина литературного творчества, когда некие сверхлюди пытаются перехватить у Творца управление миром. Особенность в том, что Могущество — тайная организация, персоны, входящие в нее, анонимны. Возможно, анонимность была бы для литератора условием наиболее полной реализации таланта. Что противоречит не только желанью славы, но всему нынешнему положению вещей.



Владимир БЕРЕЗИН

Железный путь русской литературы

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК — КЛАССИКА
ОГНЯ И ПАРА

«Позвольте представиться,— сказал попутчик мой без улыбки,— моя фамилия N». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь»,— закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели или уже зажглись окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

Владимир Набоков

Русская литература навек обручена с путешествием. Она связана с дорогой так же, как связана история России с ее географической протяженностью. Одно определяет другое, и это другое, в свою очередь, начинает определять первое. Путь вечен, движение неостановимо.

Речь пойдет в общем-то лишь об одной детали этого пути, но детали из самых важных, которую не назовешь собственно деталью. Итак, движитель, локомотив. Короче говоря, паровоз.

Наш герой, похожий тогда на колесный самовар, появился на свет в 1803 году. Англичанин Тревитик обессмертил свое имя, а город Лондон получил первую в мире железную дорогу. У русских тогда были свои заботы. Оставалось еще два года до того, как Анна Павловна скажет что-то о поместьях семьи Бонапарте,— до Аустерлица оставалось два года. На полях Центральной Европы вскоре начнется военное шевеление; окутываясь пороховым дымом, человечки в цветных мундирах поползут друг на друга, топча чужие посевы...

Время шло. Паровозы совершенствовались, но медленно, один из них был даже снабжен задними ногами, отталкивавшимися от земли. Знаменитая «Ракета» Стефенсона, похожая больше на пузатый бочонок, появилась в тот год, когда Пушкин писал «Полтаву».

На коротком пути между Петербургом и Царским Селом движение открылось в год смерти Пушкина. Паровоз появился в России в 1837-м — году этапном. В год смены литературной эпохи. Сначала он назывался пароходом — в знаменитом романсе Глинки. Романс написан на стихи Кукольника, найти которые можно только в нотных сборниках. «Дым столбом — кипит, дымится Пароход... Пестрота, разгул, волнение, ожиданье, нетерпенье... Православный веселится наш народ...» Надо сказать, что спустя столетие текст, разумеется, был адаптирован и православность исчезла, но это предмет иного разговора.

Дорога была чугунной, впрочем, в поэзии она уже стала железной. Железная дорога, папаша в пальто на красной подкладке, Петр Андреевич Клейнмихель, душенька... Конечно, Некрасов.

В многократно читанном стихотворении «Железная дорога», затверженном со школы, есть одна забавная особенность. На первый взгляд это заурядный разговор в пути — о жизни, такой же, как разговоры о жизни поэтов с книгопродавцами, не-

ких граждан и фининспекторов. Однако личность одного из собеседников, а именно генерала в пальто на красной подкладке, особенно тем, что был он «и в Риме, видел Святого Стефана, две ночи по Колизею бродил...». У внимательного читателя этот пассаж вызывает восхищение чувствительными русскими генералами: ну одну ночь, быть может, подшофе, но две... Впрочем, это взгляд из другого времени, где иные генералы и иные средства перемещения.

Нужно отвлечься от подвижного состава — вагонов и паровоза, чтобы сказать о железной (или чугунной) дороге вообще. Судьба литературы в России отлична от ее европейской истории, и история железной дороги не похожа на историю цивилизованного средства передвижения. Европейец Гюйсманс пишет о паровозах, как о женщинах: «А кстати, если взять самое, как считается, изысканное ее творение, признанное всеми как самое что ни есть совершенное и оригинальное, — женщину; так разве же человек, в свой черед, не создал существо хотя и одушевленное искусственным образом, но равное ей по изяществу, и разве вообще сравнится какая-либо другая, во грехе зачатая и в муках рожденная, с блеском и прелестью двух красавиц машин — локомотивов Северной железной дороги!

Одна машина — госпожа Крэмpton, прелестная звонкоголосая блондинка, длинная, тонкая, в сияющем медном корсете и с кошачьей грацией; белокурая шеголиха так и потрясает вас, когда, напрягая стальные мускулы и повода боками в горячей испарине, приводит в движение огромные колесные круги и несется, вся порыв, во главе скорого поезда и ветра! А другая — госпожа Энгерт, дородная, величественная смуглянка с глухим, хриплым зовом, коренастая, грузная, в чугунном платье; свирепая кобылица с растрепанной гривой черного дыма, о шести низких парных колесах; так и задрожит под ней земля, когда с первобытной мощью, натужно, медленно она потащит за собой тяжелый хвост товарных вагонов!

А вот природа, хоть и создала своих хрупких блондинок и крепких брюнеток, до подобной легкой грации и дикой мощи не возвысилась!»

Особый путь России — вовсе не метафора, а 89 миллиметров, отличающих более широкую отечественную колею от европейской.

Лесков в святочном рассказе «Жемчужное ожерелье» припоминал «...характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. “Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит...”» Это продолжение извечного спора о прогрессе — но в железнодорожный век.

Однако раскроем «Дневник писателя»: «Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что ничего не делаешь, потому что слишком о тебе заботятся, а ты сиди и жди, когда еще доvezут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет!

Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, за чужую вину отвечать...»

И в том самом, упомянутом выше стихотворении Кукольника, написанном, кстати, в 1840 году: «Нет, тайная дума быстрее летит, и сердце, мгновенья считая, стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: “О Боже, как долго!”»

Кстати, длина железнодорожного пути между Санкт-Петербургом и Царским Селом, о котором пишет Кукольник, составляет 26,7 километра. Но дорог все больше и больше, они ветвятся, как крона гигантского дерева.

Вот и садятся пассажиры — один напротив другого, едут сутки, вторые.

— Позвольте рассказать вам историю... Я вот жену убил, а у вас что нового?

Качается вагон, проводник зажигает свечи. Пульмановские вагоны придумают еще нескоро. Пока пассажиры приговорены к бессоннице и взгляду в упор, приговорены к ночному разговору.

Железная дорога и путешествие для русского — не всегда одно и то же, но эти понятия всегда связаны. Толстой пишет в письме к Тургеневу: «Вчера вечером,

в 8 часов, когда я после ночной железной дороги пересел в дилижанс на открытое место и увидел дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло или, скорей, превратило в эту трогательную радость, которую вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого содома. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию — то, что бордель по отношению к любви, — так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно.

Тургеневский Литвинов «...мысленно уже ехал. Он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне» — паровоз не воспринимается отдельно от вагона, все мешается — печки в вагоне и паровозный дым. Фатализм особого железнодорожного пути тяготеет над всей русской литературой.

Великий роман начинается словами: «В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу». Все в «Идиоте» заранее предрешено: пока слякотной средой того далекого года в вагоне третьего класса знакомятся малоопрятные люди, Настасья Филипповна Барашкова читает в газете про кровавую бритву Мазурина, ждановскую жидкость и американскую клеенку.

Распорядок действий уже продуман, конец почти определен, и поезд прибывает не на Варшавский вокзал, а в Павловск. Все смешалось в европейском доме, и над этим всем — кошмарный католик, иезуит и масон. Сетью железных дорог упала звезда Полюнь на русскую землю. Свернуть с этого пути нельзя, реборды колес удерживают персонажей от произвола.

Другой великий роман вопреки известному заблуждению начинается не с несчастливых и счастливых семей, не с их похожести и различий, а с паровоза, который, перевалив за полусотню страниц, соединяет героев. Степан Аркадьич (будущий соискатель места в управлении железных дорог) стоит с приятелем, ожидая поезд, и вот «...вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхтя сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно нагибающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал подходить вагон с багажом и визжавшего собакой...».

Раздавленный станционный сторож, смерть ужасная («два куска») или «напротив, самая легкая мгновенная» уже случилась.

Это смерть-предсказание.

В последний час Анны платформа также будет дрожать, появятся «винты и цепи и высокие чугунные колеса», промежуток между колесами, крестное знаменье и мужичок, работающий над железом.

Паровоз-терминатор, окутанный паром, огненный, будто механические ножницы в руках парок, — вот первый образ паровоза.

Эта традиция нерушима.

Железнодорожная тема — тема повышенной опасности. Тема соприкосновения с неизвестным. Со смертью. Бунин: «Шум рос и близился все грозней и поспешнее. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх по откосу, вскинув рваный полшубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его логонько в щеку...» Это — смерть с ее первым ласковым касанием. Потом будет лишь взгляд свидетелей на то, что лежит на путях, что осталось от человека. Другой герой «...понесся, колотясь по шпалам, под уклон, навстречу вырвавшегося из-под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу».

Вообще героям Бунина паровоз страшен: «Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане своими огромными красными глазами пассажирский паровоз»; и опять: «Наконец, с адской мрачностью, взрывает паровоз, угрожая мне дальнейшим путем»; «Неожиданно и гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрежетали быстрые шаги выходящих из вокзала — и вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней»; «поезд... никогда не виденный мной — скорый, с американским страшным паровозом».

С «тяжелым, отрывистым дыханием», «как гигантский дракон», ползет состав, и «голова его изрыгает вдали красное пламя, которое дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, зябко озаряет угрюмую колею неподвижных и безмолвных сосен...».

Забегая вперед, отметим, что этот образ глубоко внедрил в народное сознание. Скоро уже смерть, принятая от него, перестала быть привилегией книжной аристократки.

Вересаев пишет: «Было это в десятых годах. В апреле месяце, в двенадцатом часу ночи, под поезд Московско-Нижегородской железной дороги бросился неизвестный молодой человек.

Ему раздробило голову и отрезало левую руку по плечо. В кармане покойного нашли писанную дрожащею рукою записку, смоченную слезами: “Прощайте, товарищи, друзья и подруги! Кончилась жизнь моя под огнем паровоза. Хотел стереть с лица земли своего соперника, но стало жаль его. Бог с ним! Пусть пользуется жизнью. Посылаю привет любимой девице. Не вскрывайте больной груди моей, я, любя и страдая, погибаю. Григорий Прохоров Матвеев”».

Вернемся к «Анне Карениной». Анна будет в последний раз помянута Вронским на вокзале, при отъезде в Сербию, «при взгляде на тендер и рельсы». Железная дорога — война — смерть. Севастопольской страдой 1854 года, когда Толстой приехал на войну, рядом с ним, в нескольких верстах, по проложенной англичанами дороге пыхтел паровоз. Это был не простой паровоз, он, как говорили тогда, был блиндирован. Грозный призрак бронепоезда двигался по крымской земле. И об этом еще пойдет речь.

Чеховские персонажи — люди железнодорожного века, это путейские инженеры, строители мостов, развалившиеся на бархатных диванах первого класса, обходчики и телеграфисты.

Железнодорожный статский советник размышляет: «Мда... Необыкновенная жизнь... Про железные дороги когда-нибудь забудут, а про Фидия и Гомера всегда будут помнить...» Наваждение статского советника проходит, да и железные дороги остаются.

Иной герой «...писал “Историю железных дорог”; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щелкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза мурились, я со вздохом вставал из-за стола...».

В поездах, не забудем, едут и по делу. Вот старик с сыном везут скот, спят в теплушке, где нетепло. Веселья нет, это не путешествие, а работа. На остановке старик идет к локомотиву, проходит два десятка вагонов и «...видит раскрытую красную печь; против печи неподвижно сидит человеческая фигура; ее козырек, нос и колени выкрашены в багровый цвет, все же остальное черно и едва вырисовывается из потемок». Никто не отвечает старику. Машинист безмолвствует, как железнодорожный бог. А паровоз — алтарь этого бога.

Надо всем дать — обер-кондуктору, машинисту, смазчику... Откупиться от паровоза.

Чехов называет паровоз локомотивом. Локомотив у него свистит — «вот посыпался свист, поезд глухо простучал по мосту» — и «тяжело вздыхает»; «Локомотив свищет и шикает...». «Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит...» Шипение — неотъемлемое свойство перемещения чеховских героев по рельсам даже в воображении: Наденька К. пишет в дневнике: «Железная дорога шипит, везет людей и сделана из железа и материалов».

Несчастный и униженный муж дарит любовнику своей жены... Что?.. «У меня есть одна вещичка... А именно, маленький локомотив, что я сам сделал... Я за него медаль на выставке получил».

Вокзал — место встречи толстого и тонкого, мужчины и женщины, мирной встречи человека и поезда. Встреча иная происходит на откосе, на рельсах, как у двух буниинских героев. Но есть еще более страшный способ единения человека с поездом, когда первый сливается с искореженным железом и оба с землей.

Вываленный скверным возницей из пролетки, путейский инженер копошится в грязи, готовясь бить виновника.

— Вспомни Кукуевку! — говорит жена.

В этот момент крушение становится знаком. Термин превращается в метафору, становится частью языка. Паровоз с вагонами, поезд превратились в символ. «Скользнул — и поезд в даль умчало. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогающая... Тоска дорожная, железная свистела, сердце разрывая...» (Блок).

Самым «железнодорожным» русским писателем девятнадцатого века был Гарин-Михайловский. Герой его тетралогии после спасения собачки (о чем осведомляла младших школьников книга для классного и внеклассного чтения) превратился в гимназиста, студента, наделал долгов, пустился во все тяжкие... Говорит он о себе, что «сошел с рельсов, летит под откос», и комментарии этой терминологии излиш-

ни. Спасает Тему Карташева то, что студентом он работал на паровозе помощником машиниста, глядел в жаркое окошечко топки. Этот паровоз, сохранившийся в воспоминаниях, вывозит героя в иную жизнь — инженерную.

Это вторая ипостась паровоза, второй его образ — рабочей лошади с широкой грудью, спасителя, что вывезет всё по широкой железной дороге. Этот образ стал основой иной литературы, где паровоз превратился в символ гораздо более важный, чем тягловая сила. Но об этом — в следующий раз.

Еще жил набоковский «игрушечный паровозик, упавший на бок и все продолжавший работать бодро жужжавшими колесами», еще герой «с безграничным оптимизмом... надеялся, что щелкнет семафор и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов... и жар его веры в паровоз держал его в плотном тепле», но черта уже подводилась.

Ахматова говорила, что настоящее начало XX века — четырнадцатый год, а не календарный 1900-й. Незадолго до точки этого поворота, превращения Блок писал о XIX веке: «Век, который хорошо назван “беспламенным пожаром” у одного поэта; блистательный и погребальный век, который бросил на живое лицо человека глазетовый покров механики, позитивизма и экономического материализма, который похоронил человеческий голос в грохоте машин; металлический век, когда “железный коробок” — поезд железной дороги — обогнал “необгонимую тройку”, в которой “Тоголь олицетворял всю Россию”, как сказал Глеб Успенский».

Но этот век кончился. Механическое чудовище — бронированный паровоз, давно ждавший своего часа, появился на рельсах России.



Аркадий МИЛЬЧИН

«В лаборатории редактора» Лидии Чуковской

Проблема отношений «редактор — автор» стара, как сама история издательств и редакций, и, вероятно, исчезнет только с ними. Насколько мне известно, лишь два русских писателя без всяких оговорок утверждали, что редактор не нужен вообще.

Первый из них — Н. Г. Чернышевский. Он требовал от редакции журнала «Русская мысль», чтобы она печатала его статьи точно в том виде, в каком они созданы. «.. Я не могу допустить, чтобы журнал... брал на себя суд о их содержании». Издателью журнала он предъявил ультиматум: «Хотите иметь меня своим сотрудником, то посылайте в типографию, не читая и не давая читать никому, что получаете от меня». И приводил в пример себя и Добролюбова: мы как редакторы «Современника» статьи Г. З. Елисеева отправляли в набор и печать, не читая.

Второй писатель — Сергей Довлатов. В цикле «Наши» он писал: «...я не совсем понимаю, зачем редактор нужен вообще. Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет».

Однако подавляющее большинство русских писателей, включая самых великих — Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, — испытывало потребность в редакторе — доверенном лице, вкусу и пронизательности которого доверяли.

Это станет очевидно всем, кто даст себе труд познакомиться с письмами русских писателей XIX века, отражающими их мысли и чувства, рождавшиеся при подготовке к изданию их произведений. Эти письма собраны в антологическом сборнике переписки «Писатели советуются, негодуют, благодарят» (М., 1990).

В советскую эпоху редакторы издательств и редакций — об этом в последние годы писалось уже не раз — не могли не быть идеологическими цензорами. Иначе они бы не уцелели на своей должности. Но, помимо чисто идеологических, редакторы советского времени нередко предъявляли писателям такие «художественные» требования, которые исходили из ложных, надуманных, односторонних посылок и диктовались скорее опасениями, как бы чего не вышло, чем действительными слабостями произведений. И, пользуясь властным положением, добивались своего, что не могло не вести к порче авторского текста, а порой и к творческим писательским трагедиям.

Именно потому вопрос об отношениях «редактор — автор» приобретал тогда большое общественное звучание. Именно потому нельзя было не вести сражение за такую меру вмешательства редактора в авторский текст, которая не наносила бы урона творчеству писателя.

Одной из первых публично в борьбу за права автора вступила Лидия Чуковская. В ее статьях на эти темы, в книге «В лаборатории редактора» проявились ее страстный общественный темперамент, непреклонное стремление к справедливости, желание благотворно повлиять на редакторскую практику. Всю силу своего гневного слова обрушивала она на бюрократизацию редакционной работы.

Времена сейчас другие. Иные издательства и редакции бросились в другую крайность — перестали вовсе контролировать авторскую работу, забывая о своей ответственности перед читателем. Хотя бесцеремонное вмешательство в авторский текст на основе ученических представлений о языке и стиле тоже никуда не исчезло.

Так что напомнить о книге Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» (М., 1960, 1963), с тех пор не переиздававшейся и вряд ли знакомой новым поколениям редакционно-издательских работников и авторов, более чем уместно.

Книга «В лаборатории редактора» занимает в литературном наследии Лидии Корнеевны Чуковской особое место. Это первая ее крупная книга о литературе. Заглавие пусть не вводит в заблуждение. Разговор в книге ведется о редакторе как деятеле литературы. Лидия Корнеевна подводит итог собственной редакторской работе и работе своих коллег-друзей в легендарной редакции ленинградского Детгиза, руководителем которой до 1937 года был С. Я. Маршак. Усилиями этой редакции были созданы и выпущены такие замечательные книги для детей, как «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Жизнь Имтеургина Старшего» Тэки Одулок, «Подводные мастера» К. Золотовского, «Лесная газета» В. Бианки, «Письмо греческого мальчика» Я. Лурье, «Плотник», «Телеграмма» и другие книги Б. Житкова, стихотворные книги Ю. Владимировой, А. Введенского, Д. Хармса, «Солнечное вещество» М. Бронштейна и другие, перечисление которых заняло бы еще немало места. Многие из этих книг переиздаются и читаются новыми поколениями детей. По моему предвоенному детству помню прекрасно, что они были одними из самых любимых.

Книга «В лаборатории редактора» заслуживает разговора еще и потому, что по выходе имела немалый резонанс в литературных кругах, подверглась широкому обсуждению, выдержала два издания, а затем была насильственно изъята из обращения, так как само имя Лидии Чуковской долгое время находилось под запретом. Сейчас книга, к сожалению, полузабыта, хотя ничего лучшего в этой области до сих пор не создано, и ей бы, по справедливости, и сейчас быть в ходу, тем более что ряды издателей необыкновенно расширились.

Напомнить о ней мне хочется также и потому, что в моем архиве сохранились письма и записки, которые Лидия Корнеевна присылала мне в ходе работы над обоими изданиями книги. И хотя в основном эта корреспонденция касалась рабочих моментов, в нее все же вкраплены сведения, характеризующие личность автора, и, значит, она представляет историческую ценность как документальное свидетельство о жизни человека, чье имя вошло в историю страны и в историю диссидентства в СССР в частности. У меня, правда, было желание изъять из писем места, в которых Лидия Корнеевна непомерно хвалит мое редакторское участие в создании книги, но я все же не сделал этого, не по нескромности и желанию выпятить свой вклад в книгу, а потому, что сегодня, когда роль редактора во многих издательствах сведена на нет или низведена до мелочной опеки автора, пример удачного сотрудничества редактора и автора, причем автора требовательного, приобретает поучительный смысл.

В конце 1955 года меня повысили в должности, назначили старшим редактором редакции литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле. Редакция эта входила тогда в состав издательства «Искусство». До 1955 года она называлась редакцией полиграфической литературы, я был в ней рядовым редактором, вел преимущественно книги по технологии, экономике и технике полиграфии. В переименованной редакции мне в согласии с моим желанием поручили заниматься выпуском литературы по книгоиздательскому делу. Меня это очень радовало, так как можно было наладить издание книг о работе редактора и редактировании как особом виде интеллектуального труда, что казалось мне очень важным и нужным. Тогда книг такого рода выпускалось очень мало, да и те, что были изданы, касались главным образом технической стороны редакторского дела. Они не затрагивали сути редактирования, в них не делалось попыток обобщить и осмыслить опыт работы лучших редакторов. Я стал искать авторов, способных это сделать. При каждом удобном случае заводил разговор с приходившими в редакцию авторами и рецензентами, если только была надежда, что собеседник подскажет мне имя человека, способного по-новому рассказать о работе редактора и редактировании.

Так, общаясь с Аркадием Иосифовичем Ваксбергом (как редактор первой его книги «Издательство и автор»), я и его спросил, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы написать книгу о редактировании произведений художественной литературы. Спросил его не случайно, а потому, что он (тогда адвокат — специалист по авторскому праву) знал многих писателей и был широко осведомлен об их творческих инте-

ресах. А незадолго до этого увидел свет 2-й выпуск альманаха «Литературная Москва», где была напечатана большая статья Лидии Чуковской «Рабочий разговор», о чем я еще не знал. Аркадий Иосифович, во-первых, посоветовал с этой статьей познакомиться, а во-вторых, сообщил мне телефон Лидии Корнеевны, считая, что более удачной кандидатуры мне не найти.

Прочитав «Рабочий разговор» — статью полемическую, но содержательную и глубокую, — я понял, что Лидия Корнеевна именно тот человек, который может написать хорошую книгу о редактировании литературно-художественных произведений, и что если она согласится, то это будет большой удачей. И, набравшись храбрости, позвонил Лидии Корнеевне, представился и спросил, не примет ли она наше предложение написать на основе своего редакторского опыта книгу. Не помню, как и о чем еще шел разговор, но результатом его было согласие. Лидия Корнеевна прислала проспект книги. Я постарался как можно быстрее оформить договор.

Рукопись Лидия Корнеевна представила в срок, и мне в основном она понравилась, но удовлетворила не полностью. Мне хотелось разговора более учебного, что ли, с показом анализа и оценки редактором художественных элементов произведения (сюжет, фабула, образ, пейзаж, портрет, членение текста на рубрики и т. д.), причем показом на конкретных примерах удачной и неудачной работы редактора. Мое пристрастие к логичности и систематичности и несколько упрощенные представления о художественном произведении как объекте, который можно разъять на составные части, каждую рассмотреть, подвергнуть критике, вместе с автором отшлифовать, а потом все собрать и благодаря этому достигнуть наилучшего результата, было тут, как я теперь понимаю, неуместно. Конечно, хорошо показать редакторам-новичкам, как отличить художественное от того, что лишь рядится в одежды художественности, но не такую задачу ставила перед собой Лидия Корнеевна. Не обучать азам человека с литературным образованием — иного на месте редактора художественных произведений и не мыслилось, — а привлечь его внимание к самым острым, болевым для литературы проблемам повседневной редакторской практики — вот чего я не учел, когда писал свою рабочую рецензию на рукопись Чуковской. Немудрено, что большинство моих замечаний и предложений (а я исписал несколько страниц) Лидия Корнеевна отвергла, приняв лишь некоторые, те, что касались явных промахов, случающихся в работе любого автора.

Все же пришлось встречаться с Лидией Корнеевной по поводу разных частных дел. Каждая из встреч, которые происходили большей частью у нее дома, в квартире Корнея Ивановича на улице Горького, была для меня событием и в то же время своеобразной литературной школой. Все, что говорила Лидия Корнеевна, а она, как правило, затрагивала темы, которые ее в тот момент волновали, и литературные, и общественные, не могло не оказывать на меня самого сильного воздействия: настолько страстно и убедительно обличала она малейшую фальшь и несправедливость. Особенною ненависть испытывала она к любым проявлениям сталинизма, к формализму, равнодушию. Запомнилось мне, с каким презрением говорила она о творениях Медынского, возмущалась его глухотой к художественному слову, казенщиной, пронизывавшей язык и стиль этого писателя.

Очень характерна для Лидии Корнеевны посланная мне как-то с рукописью записка:

К<орней> И<ванович> получил на днях письмо от одного автора, кот<оро>му он не ответил.

«Я написал заявление в ЦК (копия в Правду), и там Вас научат отвечать авторам вовремя».

Как говорится: без комментариев.

Лидия Корнеевна любила, когда приходилось к слову, читать по памяти стихи. Знала она их великое множество. Чаще всего это были стихи Ахматовой. Лидия Корнеевна охотно рассказывала о редакции Детиздата (Детгиза) в Ленинграде, которой руководил С. Я. Маршак и в которой она была редактором, о судьбе своих подруг и коллег по редакции Т. Г. Габбе и А. И. Любарской, о своем муже, талантливом ученом-физике М. Бронштейне, погибшем в сталинских застен-

ках. Преодолев колоссальное сопротивление, Лидия Корнеевна добилась переиздания его превосходной научно-художественной книги «Солнечное вещество», до войны выпущенной ленинградской редакцией Детгизата. Новое издание вышло в Детгизе в 1959 году. Лидия Корнеевна подарила мне эту книгу с надписью: *Редактору от редактора. Аркадию Эммануиловичу Мильчину от Л. Чуковской. 2.VI.59. Москва.* Пишу об этом только для того, чтобы показать, что между Лидией Корнеевной как автором и мною как редактором сложились доверительные отношения, очень важные для совместной работы над книгой при подготовке ее к изданию.

Позже, уже при подготовке 2-го издания книги, Лидия Корнеевна давала мне читать гранки своей повести «Софья Петровна», присланные ей из редакции журнала «Сибирские огни». Повесть была принята, набрана, но затем ее, вероятно на стадии цензуры, зарубили. До того она побывала в «Советском писателе» (об этом можно прочитать в очерке Л. Чуковской «Процесс исключения»). Везде сначала все складывалось удачно, но потом на пути повести к читателю возникла непреодолимая стена. Тогда в ходу была поддерживаемая партийными функционерами-сталинистами идея: «Культ личности партией разоблачен, преодолен, и нечего заострять на нем внимание». Вот эта формула и мешала «Софье Петровне» увидеть свет.

Лидия Корнеевна явно переоценивала мои редакторские заслуги в работе над ее рукописью. В августе 1960 года, когда книга печаталась, я был в отпуске на Украине. Лидия Корнеевна, получив из редакции чистые листы, написала мне:

7.VIII.60

Дорогой Аркадий Эммануилович.

В самом деле, сигнал, по всей вероятности, не заставит себя долго ждать: передо мною 8 листов моей книги, а остальные обещаны завтра. Эти 8 не подряд, но все равно, я прочитала их с большим любопытством. Очень рада, что перед отъездом Вы успели просмотреть все тревожные куски. На тех 8 листах, которые сейчас прочитала я, в общем все благополучно, никаких страшных опечаток я не обнаружила — так, кое-какие неприятные мелочи: в одном листе ? вместо !, в другом абзац явно не там, где следует. Я попробую сказать о них Вашей заместительнице, но, насколько я понимаю, сделать уже нельзя ничего... Я не огорчаюсь: это вздор. Исправлю во 2-м издании, если оно будет.

Да будет ли первое? Я как-то и до сих пор не верю...

Но будет или не будет — я хочу воспользоваться случаем, чтобы от души поблагодарить Вас и сказать, что хорошо мне работалось с Вами. Многим книга и автор обязаны Вам. Вы заставили меня (не заставляя!) многое проверить, додумать, яснее и полнее выразить. Вы избавили книгу от многих ошибок, а меня — от многих излишних тревог. Вы все время берегли мои силы и нервы, не жалея своих. Спасибо Вам — отдыхайте хорошенько! — крепко жму Вашу руку и надеюсь, что мы работали вместе не в последний раз.

Мне, конечно, было очень приятно читать строки, в которых моя редакторская работа оценивалась так высоко, но я не мог не делать скидку и на чувства автора, видящего свое создание напечатанным.

В дарственной надписи автора на 1-м издании книги «В лаборатории редактора» мне особенно дороги строки, в которых Лидия Корнеевна выражала «твердую уверенность, что книга» без меня «не только была бы много хуже — нет, ее вообще не было бы». Это как раз то, что доставляло мне в моей редакторской работе наибольшее удовлетворение — задумать книгу и реализовать замысел. Конечно, «В лаборатории редактора», строго говоря, создавалась не по моему замыслу, но по моему почину, а в литературе для редакторов эта книга стала событием.

Что же касается того, что я избавил книгу от многих ошибок, то это сильное преувеличение. Хотя от одной неприятной оплошности я автора действительно предостерег.

Платую главу книги Лидия Корнеевна назвала «Дудылья татарника». В одной из подглавок Чуковская защищала живую народную речь от редакторов-пуристов, изгонявших ее из текстов художественных произведений. Доказывая неправоту, порочность таких действий, она приводила примеры из классиков:

Лев Толстой в авторской речи употребляет слова «леха», «прополонная рожь», неизвестные редактору и потому для него неприемлемые, а Шолохов пишет «дудылья татарника», «журчилась вода»... что такое «дудылья», и почему «журчилась», а не «журчала»? Ах, с каким удовольствием выкорчевал бы редактор эти «дудылья» из текста любого другого автора!

Вот это сочетание «дудылья татарника» Чуковская и выбрала как очень характерное для названия главы о работе редактора над языком художественной прозы.

Цитаты, которых в книге множество, причем самых разных авторов, я в рукописи проверял только выборочно, так как по просьбе Лидии Корнеевны сверял цитаты с первоисточниками и оформлял библиографические ссылки Владимир Иосифович Глоцер, тогда начинающий литератор, в дошестности, сверхдобросовестности и скрупулезности которого я уже успел убедиться.

С Владимиром Иосифовичем меня познакомил Аркадий Иосифович Ваксберг: они вместе учились на юридическом факультете. Параллельно с работой над книгой Чуковской шла подготовка 2-го выпуска сборника «Редакторы книги об опыте своей работы», для которого Вл. Глоцер написал толковую рецензию на книгу Кд. Рождественской «За круглым столом. Записки редактора», вышедшую в Перми.

В рукописи я не стал проверять цитаты из Шолохова, целиком положившись на Владимира Иосифовича, но, читая верстку, обратил внимание на ссылку: она была сделана не на первоисточник, а на литературоведческую книгу, автор которой приводил эти цитаты из Шолохова для иллюстрации какой-то своей мысли. Все было сделано корректно: ссылка начиналась словами *Цит. по*. Но как раз это меня и насторожило, тем более что слово «дудылья» мне было незнакомо. Вот я и решил проверить цитату из Шолохова по первоисточнику, хотя сделать это было очень непросто. В литературоведческой книге, на которую ссылалась Чуковская, было напечатано точно так, как у нее: «дудылья татарника», но без указания, из какого произведения и с какой его страницы словосочетание взято.

Что было делать? Оставить все, как есть? Но я помнил, как мои наставники в институте предупреждали об опасности этих *Цит. по*. И я занялся поиском. Вечером дома вынул из шкафа «Поднятую целину» и стал читать все описания природы подряд. Ими Шолохов чаще всего начинал главы своего романа. Увы, ничего подобного там не нашел. Настала очередь «Тихого Дона». В первом томе моего двухтомного издания тоже не нашлось «дудыльев татарника». Я был в отчаянии, но упорно продолжал поиск. И мое упрямство было вознаграждено: на с. 795 второго тома (кн. 3—4) в описании — о счастье! — я увидел то словосочетание, которое так долго искал. Только вместо «дудылья татарника» там были «будылья татарника». Литературовед то ли описался, цитируя, то ли не заметил опечатки. А Лидия Корнеевна положила на него, так же как и В. И. Глоцер.

Как неприятно было бы автору, защищающему живое народное слово от посягательств редакторов-пуристов, ошибиться как раз в знании живого народного языка! Тем более что слова «дудылья», разумеется, нет в словаре Даля, а вот слова «будыль», «будыльник» в значении «ствол крупного травянистого растения» Даль приводит. Правда, одно из значений злополучного слова, а именно: «дудка» (применительно к растению *Anthriscus sylvestris*) Даль, справедливости ради, в этой статье тоже приводит. Именно эта схожесть будыля с дудкой, возможно, подвела литературоведа, а за ним и Лидию Корнеевну. Но это я понял уже потом, заглянув в словарь Даля ради любопытства. А тогда я действовал по наитию.

Готовя книгу к изданию, Лидия Корнеевна старалась опереться в своих суждениях и оценках, касающихся работы редактора, не только на свой собственный опыт и поэтому собирала мнения о редакторах и редактировании близких ей писателей ради того, чтобы база выводов была более широкой и надежной. Так, ею были записаны две беседы с С. Я. Маршаком на эту тему, впоследствии опубликованные в качестве приложения к его очерку «Дом, увенчанный глобусом» («Новый мир», 1967, № 9).

С ответами некоторых писателей, в частности с письмами Л. Пантелеева, Лидия Корнеевна меня познакомила и даже разрешила их переписать, и я в своих лекциях о работе редактора над языком и стилем обязательно зачитываю письма Л. Пантелеева слушателям, считая, что они по выразительности и яркости — одно из сильнейших средств для того, чтобы выработать противоядие против вредоносных для ав-

торского текста редакторских действий. Не знаю, будет ли когда-нибудь и где-нибудь опубликована переписка Л. Чуковской и Л. Пантелеева, поэтому хочу сделать достоянием читателей хотя бы отрывки из этих замечательных писем.

В одном из них Л. Пантелеев рисует сначала хорошо ему знакомый тип редактора:

«Окончил литфак. Некоторое время учительствовал в школе. Или — повезло — непосредственно с университетской скамьи удалось устроиться в издательство. Может ли этот человек быть редактором, обладает ли он теми данными, каких требует это тонкое и вдохновенное дело, понимает ли он, что редактора — это искусство, а не должность — все это вряд ли интересует издательское начальство. Достаточно, что у человека есть диплом, что он «литературно образован» и что анкета у него в порядке.

И вот сидит этот человек (чаще всего женского пола) за одним из трех или четырех столов, втиснутых в комнату, и ежедневно с девяти до шести (за исключением так называемых «творческих дней») трудится на благо отечественной словесности. Перед ним — рукопись. Отточенным карандашиком ставит он на полях ее птички, восклицательные и вопросительные знаки, что-то подчеркивает, подсчитывает, равнодушной рукой выписывает тем же карандашиком мудреные слова, вроде «тавтология», «повтор», «неудачная метафора», «чрезмерная гиперболичность», сладко зевает в сложенную ковшиком ладошку и косится при этом украдкой на свои ручные часики...

Однако меня опять занесло в сторону. Нет, фигура эта не такая уж смешная и безобидная. Ведь эта рука с отточенным карандашиком из месяца в месяц, из года в год подписывает к печати дрянные (или ставшие с ее помощью дрянными) книги, бракует талантливые и обещающие. Ничто его не волнует, этого чиновника от литературы, ничто не трогает, не восхищает, не смешит и не сердит. Одна забота — чтобы начальство не разгневалось. А начальство — начальство еще больше напугано. Начальству не до «метафор» и «тавтологий»...

Конечно, самая лакомая и самая беззащитная жертва этих редакционно-издательских пауков — автор молодой и начинающий. Если ты уже не молод, если у тебя есть «имя», репутация или если ты занимаешь какой-нибудь мало-мальски значительный пост в Союзе или в другом ведомстве — тебе легче, с тобой считаются. Но и тут — запасись терпением, выйди кремлевских капель, прежде чем встретишься с редактором. Вот он читает сборник твоих рассказов. Все рассказы много раз печатались. О них писал такой-то, их одобрили там-то и там-то. По существу, для редактора этого вполне достаточно. Ему даже читать скучно эти рассказы. Он бы их с удовольствием подписал в печать не читая. Но нельзя же так: даром он, что ли, зарплату получает? И вот месяца через два с половиной после поступления рукописи в редакцию — редактор звонит автору:

— Я прочла ваши рассказы. Ну, что ж — в общем, все, по-моему, в порядке. Есть у меня, правда, кое-какие мелкие замечания, но это — совершенная мелочь. Да нет, не беспокойтесь, не расстраивайтесь, пожалуйста, — мелочи. Я даже сейчас и не помню. У меня там помечено в рукописи.

Дня через два-три вы встречаетесь — ты приходишь к ней или она к тебе.

Немытый, замазанный лиловыми чернилами палец лихорадочно листает рукопись.

— Вот. Тут у вас на одной странице шесть раз употреблена частица «не».

— Где?

— Вот тут.

— Ну и что ж? Ведь это — не описка и не результат небрежности. Этого требуют и логика, и грамматика, и самый строй фразы...

— Да... Но все-таки... Если бы можно, я бы вас попросила убрать в двух или трех случаях.

И вот — неизвестно даже из каких соображений: из малодушия ли, из жалости или уже просто по привычке — начинаешь торговаться с этой миловидной ведьмой и наконец сговариваешься — убираешь одну частицу «не».

Стоит сунуть в рот палец... Редактор смелеет:

— Вот еще птичка... Позвольте, что тут такое? Ах да. Тут у вас в одном предложении три сказуемых подряд. Так, по-моему, нельзя все-таки.

...В «Пакете» есть такое место: белоказак Зыков ведет Трофимова, — последний думает, что — на расстрел.

В первых изданиях было так:

«Иду, понимаете, я впереди, а Зыков идет сзади. Винтовочка у него все гремит. Английские ботиночки поскрипывают. И все молчит этот Зыков, сукин сын. Хоть бы слово сказал для развлечения. Хоть бы крикнул чего-нибудь.

А идем мы сначала селом. Потом выходим на выгон, где коровы гуляют. Потом по тропиночке, мимо разных там огородов и зимних сараев идем. И все молчит этот Зыков, сукин сын. Только, знай, винтовкой потряхивает. И противно все время скрипят его бутцы...»

Сукин сын, конечно, очень скоро полетел к чертовой матери. Достойной замены ему я не нашел. В последующих изданиях рефрен этот звучал или так:

«И все молчит этот Зыков-подлец...»

Или когда редактором оказывалась особенно рьяная гувернантка — просто:

«И все молчит этот Зыков...»

Как ни смешно это звучит, а для автора исчезновение этого «сукина сына» было очень тяжелой утратой. Как я сейчас понимаю, понадобился он мне не только для ритма (и уж, конечно, не для того, чтобы «отвести душу», выругаться), а потому, что нагромождение «з-с-з-с-с-с-с-с-с» подчеркивало зловеший характер всей сцены и переживаний героя. Кроме того, и ботиночки как-то лучше поскрипывали...

В другом месте, в том же «Пакете», генерал Мамонтов подходит к пленному Трофимову и говорит:

«— Ага, — говорит, — сукин сын! Попался? Засыпался?!»

И ниже — Трофимов думает:

«Правильно! Засыпался, сукин сын».

«Эквивалент» я как будто нашел: на место «сукина сына» стал «ангел мой» (сделал я это, помню, с некоторой издевкой). Ритм здесь сохранился, даже как будто смешнее стало. Но и здесь зловежая, свистящая реплика генерала теряет что-то, смягчается, становится рыхлой и почти добродушной.

Сейчас я наткнулся — на предыдущей странице «Пакета» — еще на один пример (а их в «Пакете» ох как много) того, как подчинение гувернантским и пуританским требованиям не только ломает ритм, но и глушит фразу:

«И тут я нахально, назло откусил первый кусочек пакета. И начал тихонько жевать. Начал шамать».

И шамаю, знаете, почем зря. Даже причмокиваю».

Так было. В издании, которое лежит передо мной:

«И начал тихонько жевать. Начал есть».

И ем, знаете, почем зря...»

(Кажется, в одном из старых изданий было «кушать». Я поспешил вычеркнуть: фальшивое и глухое к тому же совсем уж слово.) Когда я писал «Пакет», я, конечно, меньше всего думал об инструментровке. Слова подбирались сами собой. Но они все-таки подбирались, рассказ этот я писал как стихи — иногда по 10—15 строчек в день. «Шамать» легло в рассказ Трофимова естественно, как характерное для героя и для времени слово. На нем был сделан акцент. И слова, которые оказались рядом, подбирались не только по смыслу, но и по звучанию.

К сожалению, даже хороший редактор не всегда понимает, что проза (особенно сказ) — это не только «живопись словом», но и «звукотпись».

Вот я проделал сейчас такой опыт. Представил, что речь идет не о «пакете», а о письме. И вставил в эту, процитированную выше фразу вместо слова «пакет» слово «письмо»:

«И тут я нахально, назло откусил первый кусочек письма. И начал тихонько жевать» и т. д.

Стало хуже. Не знаю, в чем дело, но фраза побледнела, потеряла мускулы.

Ведь *письмо* — слово никак не чужеродное для Трофимова. Дело тут, вероятно, вот в чем: если бы речь шла с самого начала о письме — фраза строилась бы из других слов, точнее — из других звуков. Во всем абзаце нет ни одного «м». А к *пакету* подводят и «тут», и «откусил», и «кусочек». Замените их, и пакет тоже не будет звучать:

«И вот я нахально, назло *отломил* первый (мягкий) *шматочек* пакета».

Один редактор ополчился на «почем зря»: грубо, говорит. Но я отстоял, хотя воевать пришлось несколько дней. Эти два слова нужны мне были не только потому, что они характерны, не только потому, что они держат ритм, но и потому, что стоят рядом с «причмокиваю».

Однако я залез куда-то в сторону. Но ведь все это не пустяки. За каждым таким «выправленным словом» — кровь и слезы автора, капельки крови на живой ткани рассказа...»

Третий отрывок:

«Не знаю, нужно ли записывать эту историю. Случай этот не просто анекдотический, но, пожалуй, и фантастический.

В 1933 (кажется) году я заключил договор с издательством «Художественная литература» на сборник, куда должны были войти «Часы», «Пакет», несколько рассказов и очерков. Рукопись я сдал в договорный срок. Через какое-то время меня пригласил редактор Гослитиздата Савельев (не Леонид Савельевич, разумеется [Л. С. Липавский, редактор той же редакции С. Я. Маршака, писал под псевдонимом Л. Савельев.— А. М.]). Без всяких обиняков он заявил мне, что рукопись произвела на него удручающее впечатление, что все, за исключением одного рассказа («Письмо к президенту»), — никуда не годится и что печататься мне, пожалуй, рано. Ошеломленный такой убийственной критикой, я не смог даже пролепетать, что многие рассказы, о которых идет речь, неоднократно переиздавались, переведены за границей. Савельев вручил мне листочки со своими замечаниями по рукописи. Листки эти у меня сохранились, и я целиком воспроизвожу их ниже:

«ПАНТЕЛЕЕВ

8. Молчит Петька, не отвечает. Очень ему интересно... — это же по Зоценко. У того бессмыслица, тавтология имеет совершенно определенную функцию, а у Вас?

10. До 10-й стр. — Плохо все-таки все это. Почему мильтон обязательно должен быть круглым болваном, глупее мальчишки — на этом строить не годится.

10. (в самом низу): опять тавтология: разозлился Петька, обиделся? Что это?

11. Опять тавтология — ведь от нее жизнь изображаемая кажется какой-то бессмыслицей. <...>

16. *в себя пришел*, да ведь с ним дурно и не было — а такие описки оттого, что все действие держится на внешних явлениях и на тавтологии.

Вообще «Часы» — рассказ плохой... <...>

19. *Такой человек Петька — неунывающий* — плохо. Или «храп веселый идет» — ну какой там веселый... <...>

23. До чего эта тавтология сильна. *Идет, а ноги танцуют. Ноги идут, вытанцовывают.* <...>

25. Неряшливость: Фекла то украинка, то москалиха. <...>

27. — *Не таков Петька парень, чтобы умереть* — до чего может дойти поверхностный, лакировочный подход и наивность. Ведь это же говорится от автора, а не диалог. <...>

Весь сюжет с часами — простой детектив — случайно украл, случайно нашел, случайно из ванны, случайно дрова навалили, случайно заболел. <...>

ПАКЕТ

142. ...Романтика наигранная, ложная. Показать это автору. В чем тут противоречие: эта наигранная храбрость и лихость граничит с легкомыслием, и тем самым все значение этих революционных поступков снижается до фарса. И сам комиссар, доверяющий пакет этому лихачу, — кажется неумным.

143. *Живой возвращайся...* — это нелепость. Ведь смерть за революцию нельзя отделить от высокого революционного сознания и преданности классу. <...>

149. Пакет в сапоге. Ерунда. Дешево все это. <...>

151. Ест пакет — опять ерунда, как часы.

158. и все раньше: ложь все это...».

Вручив мне эти симпатичные нотатки, редактор сказал, что известит меня о решении издательства недели через две-три. И вдруг — буквально через два дня — он

вызывает меня курьером в издательство. Прихожу, готовый услышать самое скверное, но редактор встречает меня приветливой улыбкой:

— Ну, вот. Пожалуй, рукопись можно сдавать в набор. Пришлось мне, бедному, поработать — две ночи из-за вас не спал...

И показывает мне результаты своих ночных бдений. Не помню, что он сделал со всей рукописью (вернее всего, я не успел ознакомиться со всеми плодами его работы), но хорошо помню, что «Часы» он переписал от первой до последней страницы. Ненавистный редактору сказ был стерт с лица земли. Повесть начиналась примерно так:

«Беспризорный мальчик Петя Валет бродил однажды по базару. Он был очень голоден. Долго боролся Петя с искушениями и наконец не выдержал — стянул пирожок с лотка зазевавшейся торговки...»

Тут уж я не выдержал, вскипел, взорвался, сказал редактору нечто, идущее от сердца, и хлопнул дверью.

Выручили меня (как и мою книжку) — высокие покровители: С. Я. Маршак и А. М. Горький. Если не ошибаюсь, А. М. был тогда в Питере. Или С. Я. ему написал — точно не помню...

Был шум. Редактора сняли с работы. Книга вышла. У автора прибавилось седин.

Случай, конечно, исключительный, анекдотический, но, если подумать, такой ли уж он из ряда вон выходящий? Мало ли таких савельевых сидит и сей день в издательских и журнальных редакциях?

Все это — подлинные «случаи из практики».

А вот еще.

Редактировал меня в Лендетгизе С. Шиллегодский, человек, который руководит (руководил, во всяком случае) кафедрой детской литературы в Герценовском институте.

В рассказе «Ночка» кто-то говорит:

— Ладно! Ты! Матрена Ивановна! Не фасонь...

Слово «ты» в рукописи было редактором подчеркнуто. Спрашиваю: в чем дело?

— Странное, вы знаете, предложение. Никогда не видел, чтобы фраза состояла из одного местоимения.

В таких случаях надо иметь острый язык и быстро соображающую голову. Растеряешься, и — готово, отредактировали тебя!

В рассказе «На ялике», в первом варианте, была фраза, — я уже ее не помню, — где говорилось о том, как ялик шел через Неву, падали осколки, поднимая фонтаны воды, и было похоже, что мы плывем сквозь лес, где деревья из воды. Что-то в этом роде, складнее, конечно, чем здесь. Редактор московского Детгиза Костромина сказала мне:

— Метафора очень удачная, но не кажется ли вам, А<лексей> И<ванович>, что лес — слишком гиперболично. Не лучше ли сказать: кустарник?

Я вычеркнул всю фразу, не пожалев «удачной метафоры»...

У детского писателя — особый счет к редактору. Я имею в виду ложно понятия «педагогические требования», предъявляемые автору, пишущему для детей. Особенно рьяно борется редактор за так называемую «чистоту языка». Я уже говорил, что издатель со спокойной совестью подписывает в печать Гоголя, Горького, Помяловского, Маяковского, пушкинские и народные сказки, но у советского автора, если он не причислен еще к лону классиков, — редактор вымарывает (или выторговывает) каждого «дурака», каждую «дрянь», любое слово, выходящее, по его мнению, из норм языка литературного. Там, где у автора сказано «тиснул пампушку», редактор пишет на полях: «Не лучше ли *стянул*?». У автора: «А Петька не смылся». Редактор, не задумываясь, пишет: «сник». В рукописи заведующий детдомом — плешивый. Слово «плешивый» редактор подчеркивает. «Эх, дурак я», — говорит про себя Петька Валет. Редактор предлагает заменить «дурака» «простофилей». Во дворе растет «лопух, крапива, всякая гадость». Слово «гадость» редактор подчеркивает.

За каждую такую «гадость», за каждого горбатого и плешивого, тронутого и недалекого приходится бороться, биться чуть ли не на кулаках.

Пуристический, чистоплюйский психоз этот в истории нашей детской литературы идет волнами. Эти маленькие волны, по-видимому, совпадают с другими, большими волнами, которые бьют и треплют уже немало лет утлый корабль нашего искусства.

Первая такая маленькая волна взмыла, если не ошибаюсь, в начале 30-х гг. В «Правде» появился фельетон Мих. Кольцова (назывался он, кажется, «Защитите Лидочку»). Совсем недавно появились признаки, свидетельствующие о том, что после недолгого штиля снова идет и бурлит волна: см., например, фельетон в «Комсомольской правде» о рассказах Нагибина.

А фельетон Кольцова наделал в свое время немало бед. Напечатанный в авторитетном органе, он был принят как сигнал к погрому. Мне (с моим «сказом») досталось больше, чем кому-либо: книжки мои были вычеркнуты из планов издательств.

В те дни мы с Маршаком были по какому-то делу у Горького, на Малой Никитской, и С<амуил> Я<ковлевич>, между прочим, рассказал Алексею Максимовичу о том, что натворил этот злополучный фельетон.

А. М. крякнул, нахмурился, подумал и взялся за телефонную трубку.

— Позвоню-ка я, знаете, Кольцову.

Мне запомнилась фраза, которой он закончил свой рассказ.

— Вот что наделали песни твои,— сказал он. Кольцов что-то ответил ему. Горький выслушал, засмеялся, повесил трубку.

— Говорит — дураков на две пятилетки хватит...

Остротой, конечно, отделаться легче всего.

Но в одних ли дураках дело?!

Между прочим, плоховато планировал Кольцов: стоим уже на пороге седьмой пятилетки, а дураков (как и подлецов) не убавилось как будто [ни]чуть...»

Замечательное приложение к книге Л. Чуковской.

«В лаборатории редактора» была первой в моей редакторской практике книгой, вышедшей за пределы того читательского круга, которому адресовались наши книги о редактировании. Она стала предметом повышенного интереса писателей и вызвала общественный резонанс. Кроме того, читали ее и просто любители литературы, для которых лаборатория редактора была тайной, которую хотелось познать. И если другие книги находили отклик только в профессиональной отраслевой прессе, то об этой отзывались журналы «Вопросы литературы» и «Новый мир».

Но до того как была опубликована рецензия Федора Левина в «Вопросах литературы», 19 октября 1960 года состоялось обсуждение книги в Центральном доме литераторов, причем Большой зал был полон. Я кратко записал главное в выступлениях писателей и критиков, а выступило почти двадцать человек.

Лев Кассиль очень хвалил книгу, во-первых, за то, что читается легко, с большим интересом (трудно оторваться, как от романа), во-вторых, за то, что полезна для любого литератора и будет настольной книгой. Недостаток — специально не рассматриваются вопросы идеологии.

Лев Конелев сказал, что, когда пишешь теперь, чувствуешь за спиной Чуковскую, пишешь с оглядкой на нее. По публицистической страстности книг, подобной этой, после Горького мы не знаем.

Елену Ильину книга убедила в том, что любой ценный редакторский опыт нуждается в обобщении и публикации (мысль, которая очень созвучна моим мыслям того времени).

Юлиан Григорьевич Оксман похвалил книгу за то, что у автора свой голос и даже сравнил Чуковскую с Горьким и Герценом, не в том смысле, что Чуковская стоит в одном ряду с ними, а по страстности, публицистичности разговора. К недостатку он отнес то, что глава «Маршак-редактор» больше интригует, чем удовлетворяет. Вывод: она должна быть revisita.

Виктор Шкловский выступил с критикой книги. Мы не на юбилее, сказал он. Нужно по-деловому разобраться в книге. Он высказался против нивелирования писательских манер, неизбежного, с его точки зрения, когда редактор со своими мер-

ками подходит к писателю. Главу «Маршак-редактор» он расценил как неудачную: не показана борьба, острота ее. Шкловский высказался об институте издательских редакторов как о ненужном и вредном. В качестве доказательства он привел случай с рукописью своей книги, сданной в «Советский писатель». На нее были написаны 22 рецензии, причем одни рецензенты требовали от него то, против чего выступали другие. В качестве положительного примера он привел практику Издательства писателей в Ленинграде, которое выпускало книги фактически без издательских редакторов быстро и хорошо.

Вл. Россельс оценил книгу как факт литературы. Противоречие, с его точки зрения, — в том, что мало существует произведений, не нуждающихся в редакторе, но неверно давать редактору-нелитератору право делать с автором то, что делали писатели-классики. Аналогия редактора с режиссером, по его мнению, неудачна. В книге не хватает фигуры автора.

А. Турков посчитал, что цитат все же излишне много, но в то же время сказал, что автор смело борется и точно попадает в цель.

А. Акимова сравнила издание книги без редактора с магазинами без продавцов или троллейбусами без кондукторов. Покритиковала книгу за то, что не показана работа над крупными произведениями и не указаны фамилии редакторов.

Ю. П. Тимофеев говорил о беде редакторов, оставшихся наедине с рукописью и не знающих, что с ней делать, и оттого заменяющих художественные критерии всякими другими. Этому он посвятил и свою статью, напечатанную позднее в сборнике «Редактор и книга» (М., 1963. Вып. 4).

Н. Роскина высказалась о необходимости семинара редакторов.

Л. Пеньковский оценил книгу как хорошую. Он привел пример плохой переводческой и редакторской работы, когда выражение в оригинале со значением «разбил сад» было переведено: «уничтожил сад».

Р. Орлова посчитала нужным переиздать книгу, которая, по ее мнению, поднимает уровень нашей литературы; подчеркнула важность мысли о редакционном оркестре и говорила о порочности многорукости прикосновений к рукописи в издательствах. Нужен трамвай не без кондуктора, а с кондуктором, но с одним, а не с двадцатью.

Б. Сарнов оценил книгу как в какой-то степени культуртрегерскую. Он процитировал М. Бреженера: с чем в первую очередь бороться — с агностицизмом или бандитизмом. Сказал о том, что плохо, когда нет изумления редактора перед автором. А оно должно быть. Писатель обогащает редактора, их совместная работа — процесс взаимного обогащения. Книга хороша потому, что учит редактора быть художником.

Сергей Львов говорил о важности соблюдения редакционной этики.

В. Черненко (Детгиз) критиковал главу «Маршак-редактор» за то, что Маршак как зачинатель советской детской литературы один, и за слишком, на его взгляд, возторженный тон.

Т. Трифонова отметила как положительное качество книги то, что она и для широкого читателя, и покритиковала за то, что в книге не хватает активного писателя, с которым редактор соглашается.

В заключительном слове Лидия Корнеевна, во-первых, возразила В. Шкловскому, считавшему, что об издательских редакторах не писать нужно, а уничтожить их как класс. Она сказала, что, нужны или не нужны редакторы, но они существуют и вряд ли в ближайшем обозримом будущем их устроят, а раз так, то надо говорить и писать об их работе. Одно из самых ярких мест ее выступления — пример редактирования: Маршак, прочитав рукопись Житкова, поцеловал его; поцелуй — это тоже форма редактирования.

Конечно, мои резюме выступлений слишком кратки, чтобы дать полное представление об их содержании, но все же основное, что в них звучало, мне, надеюсь, передать удалось.

Думаю, что одно важное обстоятельство объясняло повышенный интерес к книге «В лаборатории редактора» и ее одобрение большинством выступавших. Книга вышла в самом начале 60-х годов. И живое, страстное слово в защиту писателей от всяких пут и ремесленного диктата не могло не найти отклика в душах деятелей литературы, жаждавших духовного раскрепощения и поверивших в его быстроту осуществимость. Не случайно именно Лев Копелев так высоко оценивал работу Чу-

ковской. Более того, он стал пропагандистом этой книги — поместил в «Московском литераторе» заметку, посвященную обсуждению книги «В лаборатории редактора». Вряд ли эта заметка где-нибудь будет перепечатана, а потому приведу ее здесь целиком. В ней подробнее, чем в выступлении Л. Копелева на заседании, разбирается книга.

КНИГА ШИРЕ СВОЕЙ ТЕМЫ

(Лидия Чуковская. «В лаборатории редактора»)

Обсуждение книги Лидии Чуковской, проведенное 19 декабря секциями критики и детской литературы, стало настолько интересным и значительным творческим разговором, что его следовало бы продолжить и в других секциях, и на страницах печати.

Талантливые и страстные произведения любых жанров обычно выходят за пределы своей основной темы, оказываются значительнее первоначального замысла.

Книга Л. Чуковской скромно ограничивает свои задачи обобщениями конкретного творческого опыта редактора и некоторыми наблюдениями над языком и стилем современной художественной прозы, поэзии и публицистики.

Но глубокая, ревнивая и мудрая любовь к родному языку и литературе, щедрый и разносторонний талант автора определили значительно более широкий диапазон этой книги.

Мы часто говорим и пишем о единстве содержания и формы, о единстве языка и мышления, но нередко эти понятия остаются только риторическими украшениями. В книге Л. Чуковской они обретают живую плоть, становятся надежными критериями в определении действительных идейно-эстетических особенностей художественных произведений.

Приведено много конкретных литературных фактов, которые убедительно прокомментированы. Живая связь с творческим опытом классической русской литературы, от Пушкина до Горького, отразилась не только в ряде удачно отобранных высказываний, но и в нескольких ярких конкретных примерах редакторской деятельности великих мастеров слова. Вместе с тем все ссылки на прошлое неотделимы от злободневной полемической остроты, от воспитательной, пропагандистской целеустремленности каждой главы, каждого раздела.

Все это придает книге о творческой лаборатории редактора сокрушительную силу, перед которой не могут устоять ни эстетствующие снобы, разглагольствующие о мнимой независимости и «самодостаточности» художественной формы, ни те прилитературные бойкие деятели и унылые чиновники, которые, сознавая, что нельзя симулировать талант, пытаются прикрыться «масштабностью» избранных тем.

Обо всем этом и о многих других достоинствах книги Л. Чуковской говорили представители разных творческих «цехов» — писатели, критики, литературоведы, редакторы... Л. Кассиль, Ю. Оксман, А. Акимова, Е. Ильина, А. Турков, Б. Сарнов, Р. Орлова, Ю. Тимофеев, А. Воинов, Л. Пеньковский, С. Львов и другие давали высокие оценки книге в целом и отдельным ее частям. В. Шкловский и В. Россельс полемизировали с некоторыми из выступавших и основными положениями автора, предостерегая от опасности «переоценки роли редактора», которая, дескать, угрожает «сглаживанием разнообразия индивидуальных творческих стилей».

Председательствовавшая Т. Трифонова высказала одно из наиболее серьезных пожеланий, прозвучавших в этот вечер, — чтобы Л. Чуковская пополнила новое издание своей книги примерами того, как иногда и писатели оказывались правы в спорах с редакторами.

Все присутствовавшие на собрании горячо поддержали предложение, высказанное некоторыми из выступавших, ускорить второе издание книги «В лаборатории редактора», которую уже сейчас трудно приобрести и в Москве, и в Ленинграде.

Не могу не сказать и о невольном подслушанном мною разговоре. Когда обсуждение закончилось и все стали расходиться, две женщины оказались рядом со мною и одна из них сказала другой:

— Странно, что Чуковская не сказала ни слова о редакторе своей книги. Ведь она обязана ему тем, что ее написала.

За точность реплики не поручусь, но смысл был именно таким.

Не скрою, мне было приятно слышать это, но я видел, как волновалась Лидия Корнеевна, и понимал, что ей просто было не до благодарностей редактору.

Впоследствии Лидия Корнеевна сказала мне об угрызениях, которые испытывала, вспомнив, что забыла сказать о моей роли в выпуске книги. Ее вывело из равновесия выступление Виктора Шкловского, критичность которого была вызвана и неладными между ним и Лидией Корнеевной личного свойства. Я уже знал от нее, что однажды, будучи в гостях у Шкловских, она в порыве гнева от чего-то им сказанного запустила в него чашкой. Жертв не было, но и дружеские отношения прервались. Так что ожидать беспристрастной, объективной оценки книги от Шкловского было трудно. Но объяснять его точку зрения на редакторов только этим обстоятельством было бы тоже неверно. Она, эта точка зрения, как всегда у Шкловского, парадоксальная, доведенная почти до абсурда, явно опиралась на его жизненный и писательский опыт. Другое дело, что ничего в книге Чуковской не давало повода для того, чтобы зачеркивать ее пользу и положительные качества. Ведь во взгляде на то, каким должен быть редактор, Шкловский и Чуковская во многом были единомышленниками.

Напечатанная в «Вопросах литературы» рецензия критика и редактора с многолетним опытом Федора Левина, незадолго до этого заклеянного в качестве одного из главных «космополитов» и, вероятно, потому крайне осторожного в своих суждениях, вызвала полемику.

Лидия Корнеевна, познакомившись с этой рецензией, написала мне:

Дорогой Аркадий Эммануилович, я только теперь прочитала рецензию Левина и потому только теперь отвечаю на Ваше письмо. Да, Вы правы: рецензия вредная. Не для книги, для дела... Где же и когда я утверждала, что опыт ленинградской редакции надо переносить в современные редакции без изменений? И почему ему не приходит на ум, что в 30-е годы, когда было двое-трое профессиональных писателей, а остальных приходилось вербовать и обучать с азов — мы тратили по 1½ года на книгу; теперь же такие сроки исключение, ибо профессионалов — сотни. Да и редакторов — десятки, а не четверо, как было нас тогда... Да и пусть ленинградский опыт не годится; но ведь и то, что сейчас, тоже не годится; надо искать новые формы работы, которые дали бы возможность поднять качество литературы. И прежде всего для этого надо *иначе* готовить редакторов и *иначе* организовать редакции. Надо, чтобы они стали художественными учреждениями, сознающими, что они работают в искусстве. О направленных вопрос тоже он ставит не так. (Кстати: какая ерунда, будто Детгиз работает на основе принципов Горького и пр.) Ну, это большой разговор.

Как Вы думаете, стоит ли отвечать ему для выяснения вопроса? И где — в журнале или во 2-м издании книги?

А прочитали ли Вы, что пишет о Лаборатории «Новый мир» (статья Туркова «Заметки о критике»)?

За письмо Клавдии Васильевны — спасибо. Случай с директором очень интересен и характерен. Огорчило меня, что литераторам книга показалась сложной. Надеюсь, что это «не типично».

Я возвращаюсь 13-го. Буду, конечно, Вам звонить. <...>

10/IV 61.

Клавдия Васильевна — это К. В. Рождественская, редактор и писательница, работавшая некоторое время в редакции, руководимой Маршаком, а затем уехавшая из Ленинграда в Пермь. Там в Пермском книжном издательстве в 1960 году вышли ее записки редактора «За круглым столом». Это она откликнулась на книгу Чуковской письмом от 8 октября 1960 года, которое я переслал Лидии Корнеевне и которое теперь любезно предоставила мне для этой статьи Е. Ц. Чуков-

ская. Выражая в нем одобрение («Значение книги в практической работе редактора и писателя огромно»; «Надо бы добиться того, чтобы Главиздат рекомендовал Вашу книгу всем издательствам. Книга наносит крепкий удар по многому, что мешаает творческому расцвету нашей литературы»; «Язык книги великолепен»), Клавдия Васильевна в то же время замечала: «Кое с чем я не согласна, кое-что хотелось добавить в главу о 30-х годах». В постскриптуме она добавила, что «Пермское издательство по своему почину заказало 10 экз. “Лабораторий”. Здесь ее у нас нет и едва ли будет».

Что касается рецензии Федора Левина, то с некоторыми ее положениями очень точно и толково полемизировал в своем отзыве о книге Л. Чуковской молодой тогда литературовед и переводчик Владимир Муравьев. Отзыв был напечатан в 3-м выпуске сборника «Редактор и книга» (М., 1960) под выразительным заглавием «Именем литературы».

Статью Ф. Левина о редакторах и рецензентах и о том, как, по его мнению, лучше всего наладить подготовку редакторов произведений художественной литературы, мы напечатали в 4-м выпуске сборника «Редактор и книга» (М., 1963). В этой статье он полемизировал с В. Муравьевым и отстаивал свою точку зрения о неприменимости опыта редакции, которой руководил С. Я. Маршак, в современных условиях.

И книга Лидии Чуковской, и полемика по ее поводу были, на мой взгляд, очень важны для постановки редакторского дела, для того, чтобы привлечь общественное внимание к редакторским проблемам, существенным не только для издательского дела, но и для литературы в целом.

Тираж 1-го издания был быстро распродан, и возникла необходимость во 2-м издании, что было на руку Лидии Корнеевне, которую обсуждение книги и отклики на нее побудили расширить и дополнить разговор о редактировании вообще и особенно о работе редакции, которой руководил Маршак. По просьбе нашей редакции издательство «Искусство» приняло решение выпустить 2-е, дополненное и исправленное, издание книги «В лаборатории редактора».

Два года шла подготовка этого издания. В феврале 1963 года оригинал был сдан в производство, в мае подписан в печать, а в августе Лидия Корнеевна уже подарила мне экземпляр с утешающей меня дарственной надписью, поскольку я горевал из-за того, что не нашлось для книги коленкора иного цвета, чем черный, что придавало книге мрачный вид:

«Дорогому другу, Аркадию Эммануиловичу Мильчину, чтобы не был мрачным,— даже глядя на черный переплет этой книги и на многое другое — от автора признательного и не забывающего

Л. Ч.
9.VIII.63»

Такая надпись дорогого стоит: быть названным другом такого человека, как Лидия Корнеевна,— это дар, который я, по совести, все же не заслуживал. Да, в работе над этой книгой я изо всех сил старался соответствовать автору и быть действительным другом и помощником. Больше всего благодарила меня Лидия Корнеевна за то, что, когда некоторые места во 2-м издании книги вызвали недовольство цензора (особенно резво погулял красный карандаш по фрагментам рассказа о разгроме редакции Маршака в 1937 году, с арестами ее редакторов), я не опустил руки, не снял эти фрагменты, а камуфлирующими поправками сумел их отстоять. Но не такое уж это достижение.

За время подготовки 2-го издания продолжалась наша переписка, значение которой, как представляется мне, шире, чем документальные свидетельства творческой и издательской истории книги, что и побуждает меня привести письма Лидии Корнеевны почти целиком. Переписка приходилась на то время, в которое Лидия Корнеевна жила не в Москве.

В письме от 6 апреля 1961 года нашло отражение то, как трудно приходилось ей в писательстве из-за зрительного недуга:

«Глазам немного лучше. Над Герценом работать начала, то есть даже начала писать. От издательства пока вестей нет, и я стараюсь о нем не помнить и не думать. Ибо думать о нем — значит вспоминать о сроке».

В мае 1962 года я получил от Лидии Корнеевны открытку в ответ на присланную подборку воспоминаний писателей, в редактировании произведений которых принимал участие С. Я. Маршак. Подборка называлась «О редакторском искусстве Маршака» и предназначалась для 4-го выпуска сборника «Редактор и книга», где и была напечатана. Составил ее, проявив себя неутомимым организатором, В. И. Глоцер. Открытка интересна оценкой мемуаров писателей, которых Лидия Корнеевна великолепно знала, как и работу с ними С. Я. Маршака.

«3/V 62

Дорогой Аркадий Эммануилович. Спасибо за поздравление. И Вам желаю самого лучшего — и прежде всего толкового начальства. Спасибо и за посылку. Мы ее прочли с А<лександрой> И<осифовной> вместе и вразбивку. Шварц прекрасен. К моему удивлению, неплох Григорьев. Над остальными предстоит работать — Вам и авторам. У Ларри много неточностей; неясно, что Максимова — московский редактор, а не наш; язык С<амуила> Я<ковлевича> не тот: С<амуил> Я<ковлевич> не говорит «огрехи» и «предельно». Будогоская *не* написана; конец там, где как раз все должно начаться. У Золотовского много чепухи. Но вот что будет трудно: все написали неверно о Т<амаре> Г<ригорьевне>, а этого не допустим ни мы с А<лександрой> И<осифовной>, ни С<амуил> Я<ковлевич>. Он никогда не даст ни строки в сборник, где *так неверно* о ней пишут... Приеду я 11 мая и сразу Вам позвоню. Встретимся — поговорим. От Пантелеева ответа пока нет; письмо С<амуила> Я<ковлевича> я Вам дам, переписав и показав ему. Жму руку. Ваша Л. Чуковская».

Некоторые пояснения: толкового начальства Лидия Корнеевна пожелала мне потому, что в то время сняли заведующего нашей редакцией Г. А. Виноградова; Александра Иосифовна — фольклористка, редактор маршаковской редакции А. И. Любарская; Тамара Григорьевна — писательница, драматург Т. Г. Габбе, также редактор редакции Маршака, ей Лидия Корнеевна посвятила свою книгу «В лаборатории редактора», назвав в посвящении замечательным редактором, редактором-художником.

По каким-то местам в страницах дополнений у меня были вопросы. На них Лидия Корнеевна ответила запиской:

«Ну вот, дорогой Аркадий Эммануилович, кажется, я справилась с этими страницами.

Тот вопрос, ответ на который внушал сомнение вам и С<амуилу> Я<ковлевичу>, я убрала. Ибо отвечать на него в *этом* месте мне не с руки.

Мелочи сделала.

Получили ли Вы мое письмо со ссылками? <...>

Л. Ч.

Переделкино 27/XII 62»

Вообще о том, что мое редакторское чтение все же принесло некоторую пользу и помогло Лидии Корнеевне уточнить и улучшить текст книги в частности, можно судить и по другим ее ответам на мои вопросы и замечания. Записки эти, к сожалению, не датированы, но относятся, вероятнее всего, к работе над текстом 2-го издания.

«Посылаю Вам рукопись. Я поработала над ней сильно — и, кажется, к лучшему. <...>

Многие Ваши замечания, как Вы увидите, я приняла. Но не все. Главу 8 никуда нельзя сдвинуть. Она — естественное преддверие к разговору о повести. Но я совер-

шенно изменила ее начало. Изменила и начало девятой — которое есть, в сущности, замаскированное продолжение восьмой.

Из последней главы убрала несколько абзацев и кое-что в ней тронула.

Иногда то, что Вы считаете повторением, я повторением не считаю.

Все Ваши пометки на полях я сохранила, чтобы Вам удобнее было проследить Вашу и мою работу. С той же целью посылаю Вам вынутые (и замененные) страницы: на них Ваш карандаш.

Пожалуйста, когда прочтете — позвоните мне».

«Посылаю дополнения к примечаниям. Вероятно, и это не всё — но тут уж Вы мне должны будете подсказать, чего не хватает или что наврано. А у меня ведь нет перед глазами текста.

Страницы о разгроме редакции пришлю на днях. Меня, как всегда, режет машинистка.

Слушала Вл<адимира> Иос<ифовича>. Очень жалела, что слушаю, а не смотрю (нет 1-го экз.!) и что не сделала этого раньше. Фактически все это, как всегда у В<ладимира> И<осифовича> — правильно; ошибку я не заметила; но неуклюжести есть — словесные и тактические. Очень прошу снять об Ал<ександре> Иос<ифовне> Любарской — раз Будогоская не пишет о ней — сноска звучит нелепо. Да и сформулирована она неладно; что значит «вела»? и почему «интересно»?

Надо либо сказать *точно*, либо уж промолчать. А объяснять устройство редакции комментируемый материал не дает, пожалуй, повода.

Надо было (мне) просить Будогоскую написать об А<лександре> И<осифовне>! Тогда можно было бы и комментировать. А я вовремя не схватилась. Теперь выходит, что редактировали С<амуил> Я<ковлевич> и Т<амара> Г<ригорьевна>, а «вела» А<лександра> И<осифовна>. Неладно».

Для Лидии Корнеевны характерно было уважительное, внимательное отношение к читателям своей книги и к их письмам. У меня сохранилась одна ее записка — свидетельство такого рода:

«16/IX 63

Дорогой Аркадий Эммануилович! Возвращаю Вам письмо. Автору я ответила. Теперь подождем рукописей. Человек, по-видимому, умный и сердечный, но малокультурный».

К сожалению, письмо этого читателя утонуло в архиве редакции, и я не могу его привести здесь.

Другая записка — отклик на другое читательское письмо:

«Дорогой Аркадий Эммануилович.

Когда я вижу на конверте Ваш почерк, я всегда знаю, что получу подарок.

В самом деле, и Ваше письмоцо и Адриановой — это подарки. Когда-то Герцен писал о «религии понимания». В сущности, каждый литератор берется за перо со скрытой жаждой обрести братьев. Все наши книги — письма к неизвестному другу. И когда друг откликается — тогда, значит, я жива, мы живы.

Как Вам работается? Рада была бы увидеть Вас. Я сейчас много в городе, на дачу не езжу. Приходите! <...>

25/IV 65»

М. Е. Адрианова, читательница из Ленинграда, хваля книгу («Книга настолько хорошо и интересно написана, что я тут же позвонила Вам... чтобы сказать, что книга нужная, умная, хорошая»), выражала сожаление, «что название книги сужает круг читателей», и уверенность, что ее «должны прочитать и знать учителя русского языка и литературы». В связи с этим письмом я тогда написал Лидии Корнеевне, что

«меня оно очень порадовало и подтвердило то, в чем я был убежден: “В лаборатории редактора” учит искусству художественного слова, его восприятию, пониманию его тонкостей, восполняя пробелы в литературно-художественном образовании обыкновенных читателей. Эта черта, особенность Вашей книги, все время оставалась незамеченной, и вот автор письма первый сказал о ней».

Не могу не упомянуть здесь одно место в «Воспоминаниях» Э. Г. Бабаева (СПб., 2000), подтверждающее правоту М. Е. Адриановой:

«Не знаю, кто это придумал, что детям эвакуации не помешает филологическая прививка. Но руководительница Центрального дома художественного воспитания детей в Ташкенте устроила историко-литературный семинарий. <...>

Руководить семинаром поручили Лидии Корнеевне Чуковской. Теперь по справедливости надо было бы признаться в том, что если я стал доктором филологических наук и профессором МГУ, то, кажется, только потому, что посещал в те годы этот замечательный семинар».

В 1966 году я общался с Лидией Корнеевной главным образом по телефону. Она в то время постоянно болела. Плохо было с сердцем, с глазами. Говорила, что работать почти не может и что от заветной мечты — книги о Герцене в «ЖЗЛ» вынуждена отказаться. Пусть читатель сам оценит, чего стоило Лидии Корнеевне на этом фоне выступить с открытыми письмами в защиту Синявского и Даниэля, Сахарова, Солженицына.

Последнее письмо ко мне Лидия Корнеевна написала уже в 1969 году, когда у нее возникло желание и необходимость подготовить 3-е издание книги «В лаборатории редактора». У нас в издательской практике было принято, прежде чем принять решение о переиздании какой-либо книги, послать запрос в Союзкнигу о том, распродано ли предыдущее издание. При утверждении тематических планов в Госкомиздате это проверялось в присутствии представителей Союзкниги. К сожалению, ответ Союзкниги был неутешительным: в книготорговой сети книга еще была в наличии, хотя, думаю, в небольшом количестве экземпляров. Да и говорило это не столько об отсутствии спроса на книгу, сколько об ошибочном распределении книги по книготоргам и магазинам: туда, где мало ее потенциальных читателей, послано избыточное число экземпляров, а туда, где таких покупателей много, — считанные экземпляры. Но рассчитывать на переиздание при таком обстоятельстве было нечего. Да и в том случае, если бы книга была распродана, вряд ли она прошла бы через внутрииздательское и комитетское сито при обсуждении и утверждении планов: Лидия Корнеевна уже стала тогда для властей предержащих нежелательным автором.

Было очень горько отвечать отказом, но ничего другого сделать было нельзя. На мое письмо с отказом Лидия Корнеевна ответила так:

«8/XI 69.

Дорогой Аркадий Эммануилович.

Спасибо Вам за слова сочувствия и соболезнования. Знаю, что они искренни.

О книге моей — пусть так, ничего сейчас не поделаешь. Разумеется, то, что она не разошлась (хотя у меня кипа читательских писем с просьбой прислать ее) — построено или, как сейчас любят говорить, «неслучайно».

Пусть так. Это последнее из моих огорчений. Не огорчайтесь и Вы.

Крепко жму Вашу руку. Будьте здоровы.

Преданная Вам Лидия Чуковская».

И тут я не могу не покаяться, так как после этого я перестал посещать Лидию Корнеевну, сначала не желая ее беспокоить и совестясь за отказ, а затем из страха нажать неприятели и лишиться работы. Конечно, у нас уже не было деловых причин для общения, но ведь и раньше наши встречи и беседы были вызваны не только деловыми нуждами. Так, в угоду собственному благополучию я, в сущности, пренебрег, не скажу — дружкой, но добрыми отношениями с замечательным человеком, настоящей совестью нации. Потерял только я.

До сих пор с горечью и болью вспоминаю об этом. И когда в 1990 году вышел составленный мною сборник «Писатели советуют, негодуют, благодарят», который Лидию Корнеевну не мог не заинтересовать, я так и не решился послать ей этот сборник, как мне этого ни хотелось, как ни важно было услышать ее мнение об этой книге, итоге многолетнего труда, замысел которого был навеян также и книгой «В лаборатории редактора». Мне стыдно было напрашиваться на какое бы то ни было внимание к себе после более чем двух десятилетий молчания. Так и не послал. Пощитал, что не имею морального права.

В новое время книгу «В лаборатории редактора» вытеснили в литературном наследии Лидии Чуковской ее публицистические и художественные произведения, сделавшие ее всемирно известным человеком. Книга была насильно изъята из активной жизни, и новые поколения издателей и редакторов ее не знают, а им бы очень полезно было ее прочитать. Конечно, некоторые следы времени Лидия Корнеевна, будь она жива, постаралась бы убрать, но и в таком виде эта страстная книга в защиту искусства слова, писателя и читателя одновременно, ратующая за редактора-творца, редактора-художника, настоящего друга автора, остается современной и нужной.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

Каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 54 руб. 50 коп.,

для подписчиков стран СНГ — 71 руб. 50 коп.

Каталожная цена на год

для подписчиков Российской Федерации — 654 руб.

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на каждый очередной номер по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

Читайте в следующем номере:
АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ
«Дневник 1903 года»

«Папа́ сегодня получил письмо от Румынской королевы: письмо, по его словам, глупое и бессодержательное. По поводу этого поднялся вопрос о царях и о лжи, которая окружает их. Ложь, когда их перевозноят в церквях, ложь или фальшь, когда поют «Боже царя храни» и все обязаны слушать это стоя и без шапок, хотят ли они этого или нет, потом заставляют праздновать свои рожденья и именины. И люди так привыкли лгать и притворяться, что уже не понимают, как можно поступать иначе. Если человек лжет и притворяется, он соблюдает приличие, если он не лжет и не притворяется, он неприличен».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2002 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.
 Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Продолжение книги.
 Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
 Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**
 Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.
 Анатолий КИМ. **Роман.**
 Николай КЛИМОНТОВИЧ. Окончание книги «Далее везде».
 Павел КРУСАНОВ. **Роман.**
 Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**
 Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.
 Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман. Продолжение.
 Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
 Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**
 Стихи.
 Анатолий НАЙМАН. **Роман.**
 Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**
 Переписка с женой.
 Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.
 Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**
 Юрий ПЕТКЕВИЧ. **Повесть.**
 Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**
 Евгений ПОПОВ. **Повесть.**
 Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**
 Александр ПЯТИГОРСКИЙ. **Древний человек в городе.** Роман.
 Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Повесть.**
 Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
 Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
 Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**
 Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**
 Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, размышления о театре Виталия ВУЛЬФА.
- А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Татьяны АНДРОНОВОЙ, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.
- Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.